

И. В. Немировский

**Творчество Пушкина
и проблема
публичного поведения
поэта**

И. В. Немировский

*Творчество Пушкина
и проблема
публичного
поведения
поэта*

Санкт-Петербург
«Гиперион»
2003

ББК 83.3(2)5
Н50

Рецензенты
А. Л. Зорин, В. Д. Рак

Редактор
П. В. Дмитриев

ISBN 5-89332-085-9



9 785893 320855

© И. В. Немировский, 2003
© Ю. С. Александров, оформление, 2003
© Издательство «Гиперион», 2003

Автобиографизм лирики и «публичное поведение» поэта

Полуторастолетний опыт комментирования пушкинской лирики показал, что в творческой биографии поэта часто возникали ситуации, когда характер бытования (а подчас и история создания) отдельных стихотворений и публичное поведение Пушкина были подчинены некоей общей задаче. Мы не решились определить этот феномен единства творчества и поведения поэта как «жизнетворчество» и ограничились употреблением более нейтрального термина «автобиографизм». Ведь житнетворчество предполагает в сущности реализацию поэтом единой эстетической задачи на протяжении всей жизни, между тем мы выделили только локальные, ограниченные определенными временными рамками ситуации, причем реализуемые в них задачи далеко не всегда имели эстетический характер. Назовем хронологические границы рассмотренных нами периодов: от марта 1820 года до отъезда Пушкина из Петербурга в мае того же года; от отъезда из Петербурга до марта 1821 года; 1823 год; от сентября до ноября 1826 года; от начала 1827 года по 1828 год включительно.

Хотя эти периоды интенсивно сменяют друг друга, они локализируются в одном большом по временной протяженности отрезке, который мы вполне можем рассматривать как цельную эпоху в жизни Пушкина: с весны 1820 года (момента высылки поэта из Петербурга) до конца 1828 года, когда поведение поэта перестает носить ярко выраженный публичный характер.

Таким образом, под автобиографизмом мы понимаем подчинение творческой биографии некоторой общей задаче (в рамках определенного периода жизни поэта). Авторская репрезентация художественного произведения в этих условиях как бы приравнивается к некоторому публичному поступку. И, конечно, небольшие лирические стихотворения (идет ли речь о Пушкине или каком-либо другом поэте) легче соответствовали автобиографическим задачам, чем большие произ-

ведения, потому что их смысл было легче направить в русло желательной перцепции. Впрочем, реконструкция автобиографического сходства, или даже единства, может быть затруднена и потому, что оно, это единство, может и не эксплицироваться автором. В тех же случаях, когда оно все-таки находит себе выражение, эта манифестация представляет собой нуждающийся в комментировании артефакт.

Пресловутое «непонимание» современниками пушкинского творчества вызвано в том числе и этим обстоятельством. Однако помимо такой «объективной» затрудненности (а подчас и невозможности), следует отметить и нежелание современников воспринимать творчество Пушкина в автобиографическом ключе, обусловленное распространенным мнением о том, что масштаб личности поэта не соответствовал масштабу его творчества. А. С. Хомяков, знавший Пушкина хорошо, но не близко, выразил это в 1859 г. в письме И. С. Аксакову: «Вглядитесь во все это беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам недоставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения (Пушкин измелчался не в разврате, а в салоне). Оттого-то вы можете им восхищаться или лучше не можете не восхищаться, но не можете ему благоговейно кланяться»¹. Значительно менее корректно, чем Хомяков, личность Пушкина противопоставил его литературному таланту другой современник поэта, император Николай. После смерти поэта, отвечая на замечание И. Ф. Паскевича («Жаль Пушкина, как литератора, в то время когда его талант созрел; но человек он был дурной»²), император писал: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее»³.

Близкие друзья поэта, которые были лучше осведомлены о мотивах поведения Пушкина, считали, что они выполняют пушкинский завет, скрывая эти мотивы от широкой публики. Именно этой цели — обойти определенные обстоятельства жизни поэта — был посвящен первый посмертный биографический очерк о Пушкине П. А. Плетнева⁴. Тогда это было понятно и извинительно, учитывая, что Плетнев писал свой очерк в обстановке сплетен вокруг имени поэта. Однако и в дальнейшем, в начале пятидесятых годов, Плетнев, как отметил Л. Н. Майков, «не решался впоследствии взяться за перо, чтоб изложить

свои собственные воспоминания, как можно было бы ожидать от его дружбы»⁵. Нежелание Плетнева писать о Пушкине Майков объяснял никак не отсутствием уважения к личности поэта, подчеркивая, что «чувство, которое питал Плетнев к дорогому покойнику, нельзя назвать иначе, как обожанием. Казалось, все одинаково нравилось Плетневу в личности Пушкина»⁶. Нежелание близких друзей поэта делиться подробностями его жизни мотивировалось ими тем, что они, таким образом, выполняли волю покойного Пушкина (как им казалось). Это хорошо прочувствовал на себе первый биограф поэта П. В. Анненков, с трудом собирая материалы о жизни поэта. «Анненкова я тоже знаю, — писал М. П. Погодину С. А. Соболевский 15 января 1852 года, — но с сим последним мне следует быть осторожнее и скромнее, ибо ведаю, сколь неприятно было бы Пушкину, если бы кто сообщил современникам то, что писалось для немногих или что говорилось или не обдумавшись, или для острого словца, или в минуту негодования в кругу хороших приятелей»⁷. Впрочем, Анненкова не нужно было призывать к скромности, он сам считал нужным хранить биографию Пушкина в необходимой строгости, в чем и сознавался И. С. Тургеневу: «Нечего больно зариться на биографию. Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости»⁸. В специальной записке, адресованной министру народного просвещения А. С. Норову, Анненков писал, «что цель биографии также заключается и в том, чтоб указать примерное религиозное и нравственное направление Пушкина во второй половине его жизни»⁹. Усилия Анненкова даром не прошли и получили одобрение главного ревнителя памяти Пушкина, Николая I, вследствие чего и стала возможной публикация знаменитой биографии («Согласен, но в точности исполнить, не позволяя отнюдь неуместных замечаний или прибавок редактора» — таков был вердикт, вынесенный императором¹⁰). Значительно менее успешными в 1850-е годы были публикаторские усилия другого великого собирателя биографических материалов о Пушкине, П. И. Бартенева. В отличие от аристократически настроенного Анненкова, он не боялся записывать откровенные рассказы современников, но чем откровеннее были рассказы, тем позже они публиковались.

Бартенева был едва ли не первым, применившим в пушкиноведении «биографический» метод, за что век спустя ему изрядно досталось от исследовательницы-пушкинистки, обвинившей Бартенева в том, что его «историко-литературные толкования сводятся к стремлению уста-

новить биографический эквивалент»¹¹. Иными словами, Бартенева любил иллюстрировать свои биографические этюды о Пушкине строками его произведений, фактически уравнивая их с биографическими свидетельствами современников. Можно не соглашаться с тем, как это делал Бартенева, но нельзя не признать, что биографический метод Бартенева — шаг вперед по сравнению с позицией Анненкова, предпочитавшего сознательно обходить многое в биографии поэта. К тому же, подчас наивно ставя в один ряд произведения Пушкина и его поступки, Бартенева прозревал имевшую место в определенных ситуациях общность их эстетической природы. И в этом отношении позиция Бартенева отличалась от точки зрения многих современников поэта, поскольку множественность и частая сменяемость «поведенческих установок» Пушкина заставляла даже самых прозорливых и доброжелательных из них полагать, что единства между творчеством поэта и его жизнью нет, и что поступки поэта определены не жизненной и творческой сверхзадачей, какой бы она ни была, а стихийной волей обстоятельств.

Концентрированным выражением такой точки зрения явилось мнение Вяземского. П. А. Плетнев делился им с Я. К. Гротом: «Вяземский много, умно и откровенно говорил со мной о Пушкине-покойнике. Отдавая всю справедливость его уму и таланту, он находил, что ни первая молодость его, ни жизнь вообще не представляют того, что бы внушило ему истинное уважение и участие. Виною — обстоятельства, родители, знакомства и дух времени. Но Лермонтов, поэт, за дуэль с сыном Баранта сосланный из Гусарского полка на Кавказ, конечно, еще меньше Пушкина заслуживает соучастия к судьбе своей, потому что Пушкин действовал не в подражание кому-либо, а по несчастному стечению обстоятельств, соблаздивших его, Лермонтов же гонится за известностью в роли Пушкина, — и тем смешон»¹².

Из этого отзыва можно вывести следующее: во-первых, жизнь Пушкина вообще не представляет того, что может внушать «уважение и участие»; во-вторых, жизнь эта сама по себе не выражает никакой творческой интенции Пушкина, поскольку действовал поэт не в силу эстетических «сверхзадач», «а по стечению обстоятельств»; и в-третьих, парадоксальным образом Вяземский ощущает наличие некоторой «роли», которую Пушкину не удалось «сыграть», и которую так «смешно», по его мнению, играет Лермонтов.

Для Вяземского, так же, как для других современников поэта, было характерно желание вывести автобиографическую составляющую (т. е. все, что связано с поведением поэта) за рамки эстетического осмысления его художественного творчества. При всех оговорках, которые при этом делаются, такой подход не только существенно обедняет восприятие творчества Пушкина, но и снижает общественный статус его поэзии, поскольку социальная оценка «поведения» была важнейшей составляющей оценки «образа поэта».

* * *

В истории русской литературы говорить о значении поведения писателя стало возможным с середины XVIII века, когда туда пришло значительное число, так сказать, «независимых» дворян, прежде всего А. П. Сумароков и поэты его школы (и шире, составившие круг журнала «Полезное увеселение» и кружок М. М. Хераскова); позднее Г. Р. Державин и члены кружка Н. А. Львова, а в преддверии пушкинской эпохи — И. И. Дмитриев. Для всех них поэзия была не службой, а просвещенным досугом, «отдыхом». Этим они отличались от небольшого числа поэтов, таких как М. В. Ломоносов, В. Г. Рубан, В. П. Петров, для которых занятие литературой было «трудом», за который полагалось материальное вознаграждение, в том числе в виде государственного жалования. Литераторы «труда» получали дворянство по чину, или, как Рубан, происходили из малообеспеченных дворянских семей. Поэты «отдыха», напротив, принадлежали к родовитым богатым дворянским родам, хотя были и весьма показательные исключения, в первую очередь — Державин. Для поэтов-дворян важнейшей духовной ценностью была независимость их поэтического самовыражения, залогом чему было не только то, что они занимались поэзией исключительно как «досугом», как «отдыхом» от государственной службы, но и то, что занятия эти ограничивались рамками закрытого для посторонних дружеского круга. Здесь нам хотелось бы привести сравнение из совершенно другой эпохи (переклички с которой, тем не менее, явно или незримо присутствуют в культуре всего Нового времени). Мы имеем в виду эпоху Древнего Рима. Вот описание ситуации, сложившейся в римской литературе накануне Золотого века императора Августа, сде-

ланное М. Л. Гаспаровым, которое, на наш взгляд, можно целиком отнести к русской литературе допушкинской эпохи: «Решающим моментом в повышении статуса поэта в эпоху, предшествующую Золотому Веку Августа, стало освоение досуга (*otium*). До этого времени социальный статус поэта был еще низким, а сама поэзия не свободна от “клиентской комплиментарности” <...> В обществе положение поэта теперь означало положение человека, обладающего досугом, т. е. или политика в промежутке между делами, или в отставке после дел; или имущего человека, сознательно уклоняющегося от общественной деятельности; или молодого человека, по возрасту и социальному положению еще не приступившему к ней <...> Это противоположность той фигуре стихотворца-драмодела, зарабатывающего пером, которую мы знаем по предыдущему периоду; теперь, даже если поэт-всадник Лаберий развлекается, сочиняя мимы, то выйти на сцену, признав тем свою причастность к коллегии “писцов и лицедеев” <...> для него позор. Социальная ячейка, предпочитаемая поэзией нового типа, — дружеский кружок: *negotium* сводил людей в более широкие социальные объединения, *otium* сводит в более узкие»¹³.

Итак, выражаемая поэтами-дворянами XVIII века, поэтами «досуга», идеологическая позиция была не просто сословна, она позволяла себе быть субъективной и биографически обусловленной. Именно в закрытых дворянских кружках и салонах в постоянном литературном общении сложился особый тип автобиографизма, когда единство творчества и личности поэта могло быть понятно только для посвященных.

Среди поэтов недворянского круга особая автобиографическая составляющая была характерна только для Ломоносова, претендовавшего на профетическую роль и писавшего стихи (при всей барочной условности их библейской образности) для Вечности и делавшего исключение лишь для императриц (как наместницам Всевышнего на земле). Поэтому автобиографизм Ломоносова особого рода, он не кружковый, а вселенский, надсословный, отличающийся от «клиентской» позиции В. К. Тредиаковского и дворянской Сумарокова — других претендентов этой эпохи на профетическую роль.

Профетические наклонности Ломоносова сочувственно воспринимались современниками, и ему первому (и едва ли не единственному поэту XVIII века) удалось преодолеть дихотомию «труда» —

«отдыха». Сама установка на профетизм, конечно, сыграла в этом определенную роль, поскольку поэт-пророк, даже находясь на государственной службе, выполняет более высокий заказ, нежели государственный. Однако усилия других русских поэтов, активно обращавшихся к библейской теме, не заставили современников видеть в них «пророков». Происходило это потому, что они не смогли «подкрепить» свои профетические претензии соответствующим поведением, предполагающим независимость и соответствующую дистанцию по отношению к власти. В XVIII веке это удалось только Ломоносову. В ситуации, возникшей вокруг камер-юнкерства и перлюстрации его переписки с женой, Пушкин процитировал Ломоносова в письме графу И. И. Шувалову (которое, как предполагал поэт, должен был прочитать сам император) как пример такого поведения. Последнее обстоятельство указывало на то, что «ломоносовская» модель поведения была актуальна для Пушкина в 1830-е годы.

Весьма актуален был для Пушкина и опыт другого поэта, Г. Р. Державина, сделавшего неудачную попытку объединить в своих творческих установках сословно-дворянское с профетическим. Конечно, в главном он позиционировал себя как типичный поэт «отдыха», так, из его «Записок», написанных на закате жизни, можно понять, что их автор — высокого уровня чиновник, а не поэт. Однако занятию поэзией уделено мало места в жизнеописании Державина не вследствие недооценки им поэзии или собственной значимости как поэта; все дело в том, что писание стихов не относилось Державиным к числу служебных дел, несмотря на то, отметим мы про себя, что без них его карьера была бы невозможна. Поэзия относилась им к сфере высокого досуга, к области «частного», и как поэт Державин выступал только в кругу близких друзей, а в обществе утверждал себя как чиновник государственного уровня.

В то же время в начале 90-х годов Державин выступил как автор произведений профетического характера, из которых ода «Властителям и судиям» имела значительный общественный резонанс и даже вызвала недовольство императрицы к большому ужасу самого поэта, поспешившего дезавуировать негативное впечатление, произведенное этим стихотворением. Последнее обстоятельство, конечно, не способствовало его утверждению в роли пророка-псалмопевца в общественном мнении. Современники без сочувствия восприняли профетиче-

ские притязания Державина. И это определялось тем, что поведение поэта не представлялось им достаточно независимым. Распространено было мнение о сервиллизме Державина, что, по всей видимости, и дало пищу чудовищной инсинуации о том, что именно Державин, получивший «Путешествие» от самого Радищева, прочитал повесть, пришел в ужас и донес о сочинении императрице. Пушкин был не единственным, кто в это поверил.

Именно после неудачной попытки выступить в роли пророка, пришедшейся на начало 90-х годов, Державин еще более резко, чем раньше, стал утверждать принципиальную двойственность своего поведения, разделяя, как в послании «Храповицкому», свои «слова» («творчество») и «дела» (биографию). Формула Державина «За слова — меня пусть гложет, / За дела — сатирик чтит» вызвала возражение Пушкина, утверждавшего, что «слова поэта суть уже дела его». Но конечно, и это была попытка взглянуть на предшественника с точки зрения актуальной для Пушкина творческой практики; косвенное свидетельство в пользу того, что и державинская позиция, как и позиция Ломоносова, для Пушкина не отошла в область «истории литературы».

В конце жизни Державин стал работать над созданием себе образа поэта в духе требуемой новой эпохой цельности. Но и эту задачу ему решить не удалось, в том числе потому, что постаревший поэт захотел придать своей угасающей литературной деятельности статус возвышенного «труда» в жестких рамках «Беседы любителей русского слова», где поведение участников заседаний не носило спонтанного и, следовательно, творческого характера, тогда как синтез жизни и творчества оказывался возможен, только если сферой его реализации была сфера частной жизни и «досуга».

Начало Александровского царствования стало временем, когда литература вышла из границ закрытых кружков и перешла в более открытые сферы дворянской, а затем и общенациональной жизни. Занятие поэзией само по себе из средства проведения досуга рафинированного дворянства стало обычным делом для широкого круга дворян.

Всеобщий интерес к поэзии, и вообще словесности, значительно укрепил и расширил книжный рынок. Занятие литературой стало приносить доход, социальный статус писателя повысился; дворяне стали заниматься литературным и издательским трудом, хотя для большинства из них он не заменил государственную службу, а сосуществовал

с нею. Пример Карамзина, нигде не служившего, но бывшего личным другом императора и отказавшегося от поста товарища министра просвещения, чтобы сохранить независимость, еще более укрепил статус писателя в общественном сознании. Стало возможным быть профессиональным писателем, сохраняя при этом независимость. Залогом этой независимости и ее источником начинал становиться книжный рынок. Появилось много примеров тому, как высокого рождения дворянин профессионально занимается писательским трудом; наиболее яркий пример тому — литературная деятельность князя Вяземского. Противопоставление «труда» и «отдыха», характерное для литературы XVIII века, стало отходить в прошлое, поэзия сосредоточилась не в салонах, а в журналах. Соответственно *меняется тип писательского автобиографизма, единство поведения и личности, открытое ранее для узкого круга, стало важнейшим слагаемым «образа поэта», сознательно ориентированного на массовое читательское сознание.*

Поведение в обществе и весь образ жизни Карамзина, первого дворянского профессионального писателя, в первую очередь определили тот инвариант «образа поэта», который сложился в русской литературе в конце первой четверти XIX века. Карамзин сам дал и теоретическое обоснование тому, какие качества необходимы человеку, собирающемуся посвятить свою жизнь литературе. Заключительная строка из статьи Карамзина «Что нужно автору» — «Плохой человек не может быть хорошим писателем»¹⁴ — стала лозунгом русского романтического жизнестроительства.

Именно в первой четверти XIX века, когда до начала 1820-х годов власть не вмешивалась в литературу, а ситуация на книжном рынке была благоприятна для читателей и издателей, противопоставление «труда» и «отдыха», характерное для предыдущей эпохи, стало отходить в прошлое. Более того, возникло представление, что произведения хороших писателей должны раскупаться. И тогда издатели стали бороться за тиражи, а поэты работать над созданием своих образов, которые должны были быть одновременно индивидуальны и легко узнаваемы. В виду же особого интереса массового читателя к личной жизни популярных литераторов продуцируемые последними образы поэтов обязательно включали в себя элементы их собственной биографии, что, как правило, закреплялось портретами и поэтическими формулами.

В обществе поведение поэта должно было соответствовать образу, который закреплялся за ним в читательском сознании, отступления не прощались. Так, например, В. А. Жуковский стал объектом злой эпитафии А. А. Бестужева «Из савана оделся он в ливрею» за то, что, по мнению последнего, образ жизни Жуковского-придворного перестал соответствовать образу Жуковского-«поэта-христианина» и «штабс-капитана, Гете, Грея». В 1831 году за стихи, посвященные взятию Варшавы, Вяземский назвал Жуковского «шинельным» поэтом («стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами»¹⁵).

Реакция Бестужева и Вяземского указывает на «конец прекрасной эпохи», когда цельность образа поэта определялась исключительно творческими усилиями самого поэта. В условиях все возрастающего вмешательства власти в литературу соблюсти эту цельность оказалось невозможно.

Парадоксальность творческого пути Пушкина состояла в том, что, воспитанный в кружковой поэзии 1810-х годов, он вошел в литературу в начале 1820-х как поэт с резко означенным «автобиографизмом», ориентированным на действительно широкий круг читателей (который можно уподобить «массовому читателю» нашей эпохи), а во второй половине 1820-х годов, в условиях острого конфликта одновременно с читательской публикой и властью, попытался вернуться к моделям авторского поведения, характерным для XVIII века, когда лицо литературы определял не книжный рынок, а власть с ее «государственным заказом». Причем осуществить этот возврат Пушкин пытался способом также традиционным для русской литературы XVIII века — обращением к пророческой теме. Правду сказать, и «образ поэта», утверждаемый Пушкиным в первой половине 1820-х годов, многократно менялся. В условиях, когда в литературе торжествовал критерий цельности и неповторимости образа поэта, Пушкин как никто другой позволял себе нарушать императив этой цельности. Так, между образами «гуляки вечно праздного, / Потомка негров безобразного» (1820) и образом «поэта-пророка» (1826) лежит всего шесть лет творческого развития.

Не приходится удивляться тому, что читающая публика не успевала за развитием пушкинского автобиографизма. Привыкнув к образу поэта-изгнанника и бунтаря, в творчестве проявившего себя «юж-

ными» поэмами и вольнолюбивой лирикой, а в поведении — выражением нонконформизма, поклонник пушкинского гения с разочарованием наблюдал за тем, как возвращенный из Михайловской ссылки поэт пытался строить свои отношения с властью совсем на иных основаниях, чем в 1820 году. Пик читательского недоумения по этому поводу пришелся на лето 1827 года, но именно тогда из печати вышли «Цыганы», по степени социального отрицания самая откровенная из всех «южных» поэм. Полиция, также не успевавшая уследить за развитием пушкинского поведения, усмотрела в виньетке к «Цыганам» про-декабристские аллюзии (несмотря на попытки поэта «примириться с правительством»).

Публикация «Пророка», предпринятая Пушкиным в 1828 году на страницах «Московского вестника», вместо того, чтобы утвердить читающую публику в представлении о независимости поэта, только усилила возникшую двойственность, поскольку в том же году и в том же журнале были напечатаны «Стансы». Когда же, отказавшись от попыток установить взаимопонимание с широкой публикой, Пушкин стал избегать публичных поступков и стал отгораживать свою частную жизнь от посторонних, его стали обвинять в наносном «аристократизме».

С конца 1820-х годов поэт стал культивировать новый тип автобиографизма, который подразумевал возрождение старых моделей независимого дворянского поведения. Однако занятие литературой не стало для Пушкина тем высоким «досугом», каким оно было для его предшественников, поскольку поэт оставался материально зависим от власти. Попытка пойти по пути Карамзина и сделать службой только занятие историей, отделив беллетристику, успеха не принесла. Оказалось невозможным выделить работу историографа во что-то отдельное от другого творчества, и главное — не удалось сохранить ту дистанцию в отношениях с властью, которую мог поддерживать Карамзин.

Противоречие между творчеством Пушкина и его положением и поведением в обществе озадачивало не только современников, но и исследователей, сделав вечным вопрос, что же перед нами, особого рода эстетика, для которой требуется эпохой единство творчества и поведения необязательно, или единство творчества и поведения все-таки существовало на непостижимом пока уровне?

Автор этой книги также пытался приблизиться к решению этой задачи, работая над статьями, составившими предлагаемую читателю книгу; притом цельность настоящего сборника не раз была под вопросом. То же, что она все-таки увидела свет, результат настойчивости моего отца, В. Л. Немировского, терпения моей жены, К. Я. Немировской, и советов моих учителей и коллег, А. Е. Барзаха, В. Э. Вацура, Б. М. Гаспарова, В. Д. Рака, А. Л. Зорина. Спасибо им всем.

1. *Хомяков А. С.* Полное собрание сочинений. Т. 8. Письма. М., 1904. С. 366.
2. Русский архив. 1897. Кн. I. С. 19.
3. Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 485.
4. *Плетнев П. А.* Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) // Современник, 1838, Т. 10. С. 21—52.
5. *Майков Л. Н.* Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899. С. 321.
6. Там же.
7. *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. С. 315.
8. Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Работы П. В. Анненкова о Пушкине // Модзалевский Б. Л. Пушкин. М., 1999. С. 234.
9. Там же. С. 242.
10. Там же. С. 243.
11. *Левкович Я. Л.* Биография // Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 266.
12. П. А. Плетнев — Я. К. Гроту. 8 ноября 1841 г. // Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 112—114.
13. *Гаспаров М. Л.* Поэт и поэзия в римской культуре // Культура древнего Рима. М., 1985. Т. 1. С. 324—325.
14. *Карамзин Н. М.* Что нужно автору? // Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 39.
15. *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 96.

I.

Лирика изгнания

Смывая «печальные строки»

Общеизвестно, что событием, во многом определившим восприятие личности Пушкина современниками, стала высылка поэта из Петербурга в мае 1820 г. — так называемая «южная» ссылка. Значительно реже отмечалось, что в пушкинском творчестве это, бесспорно, ключевое событие получает две различные интерпретации: первая рассматривает расставание с Петербургом как добровольный отъезд, вторая — как изгнание. Первая интерпретация находит свое подтверждение в стихотворениях «Погасло дневное светило...» («Искатель новых впечатлений, / Я вас бежал, отечески края; / Я вас бежал, питомцы наслаждений...» — II, 147)* и «Я видел Азии бесплодные пределы...», в начальной главе «Кавказского пленника», в «Эпиплоге» «Руслана и Людмилы», очень определенно в письме Дельвигу от 23 марта 1821 г. Вторая — в стихотворениях: «В стране, где Юлией венчанный...» (Из письма Н. И. Гнедичу от 24 марта 1821 г.), «К Овидию», «Чедаеву», «Ф. Н. Глинке». Первая точка зрения определяется установкой Пушкина, как в поведении, так и в творчестве, на образ Байрона; вторая ассоциируется с образом Овидия.

Ю. М. Лотман объяснил это различие разнообразием культурных интересов Пушкина, определившим многообразие сосуществующих биографических масок, которые поэт произвольно приме-

* Здесь и далее цитаты из произведений Пушкина, если цитируемое издание не оговаривается особо, даются по изданию: *Пушкин*. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. Т. I–XVI; 1959. Справочный том: Дополнения и исправления. Указатели (обозначается как том XVII), с указанием тома и страниц. Ссылки на автографы Пушкина, хранящиеся в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Ф. 244. Оп. 1), даются сокращенно: ПД, с указанием единицы хранения и, в случае необходимости, листа рукописи.

рля исходя из внутренних эстетических интенций: «В известном смысле «беглец», добровольно покинувший родину, и «изгнанник», принужденный ее оставить насильственно, в этой системе идей выглядели как синонимы»¹. Красивое построение Ю. М. Лотмана получило некоторое распространение среди пушкинистов². Однако приведенная точка зрения не объясняет, а вернее, не замечает многого из того, что предполагает объяснение, например, что пушкинские установки, о которых шла речь, не синонимически сосуществуют, а хронологически следуют одна за другой. Так, тема «добровольного отъезда» из Петербурга возникает летом 1820 г. и сменяется в творчестве Пушкина темой «изгнания» только весной 1821 г., на рубеже марта — апреля. Это происходит резко и не может объясняться простым стремлением Пушкина снять одну поэтическую маску и надеть другую. В самом деле, еще в письме А. А. Дельвигу от 23 марта 1821 г. из Кишинева поэт пишет другу в Петербург: «Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая — твой истинный удел — умертви в себе ветхого человека — не убивай вдохновенного поэта <...> Недавно приехал в Кишениев и скоро оставляю благословенную Бессарабию — есть страны благословеннее» (XIII, 26). Письмо указывает на то, что еще в конце марта 1821 г. Пушкин воспринимает себя добровольно и свободно путешествующим человеком; упоминание здесь поэзии «байронической» находится в полном соответствии с тем семантическим ключом, в котором написано стихотворение «Погасло дневное светило...», имевшее в публикации 1826 г. подзаголовок «Подражание Байрону».

Но уже на следующий день, 24 марта, в письме Н. И. Пнедичу пушкинская оценка собственного положения изменяется, а в его творчество входит «овидиева» тема:

«В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный
Овидий мрачны дни влачил;
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил;
Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман...

Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгой разлукой! молю Феба и казанскую богоматерь, чтоб возвратился я к вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой» (XIII, 28). В этом письме пребывание в Кишиневе еще напрямую не оценивается как изгнание, и «разлука» подразумевает не просто безвыездное сидение в Кишиневе, но какие-то дальние поездки; однако параллель между собственной судьбой и судьбой Овидия, «изгнанного» «хитрым Августом», уже просматривается определенно; хотя строка «Забыл я вечный ваш туман» еще реминисцирует «туманную родину» из стихотворения «Погасло дневное светило...», то есть «байроновская» тема плавно сменяется здесь «овидиевой».

О том, что свое пребывание в Кишиневе до конца весны 1821 г. Пушкин не считал изгнанием, свидетельствует также признание, которое поэт сделал случайному кишиневскому собеседнику, Ф. Н. Лугинину, в конце июня 1820 г. Ф. Н. Лугинин вспоминает: «Его <Пушкина> хотели послать в Сибирь или Соловецкий монастырь, но государь простил его, и как он прежде просился еще в южную Россию, то и послали его в Кишинев <...> Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем»³. Сообщенное Лугининым полностью подтверждается тем, что позднее писал сам Пушкин в письме П. А. Вяземскому: «Ты упрекаешь меня в том, что из Кишенева, под эгидою ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве (Ф. И. Толстого-Американца. — И. Н.). Но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было <е>хать в Москву, где только и могу совершен<но> очиститься» (XIII, 43). Заметим, что и имя Толстого, и связанный с ним мотив «мщения» сопряжены с темой добровольного отъезда. К этому же тематическому комплексу следует отнести мотив «неверных друзей» («минутной младости минутные друзья», «неверные друзья»). И в этом отношении здесь есть противопоставление теме «изгнания»; мотив мщения уходит и заменяется мотивом терпения, а мотив «неверных друзей» — мотивом «парнасского братства», «Дружбы» с прописной буквы. Подспудно присутствующий в первом тематическом комплексе мотив «толпы» сменяется мотивом «неправедной власти»

(«хитрый Август»). Объяснить эти различия простой сменой культурных ориентаций не представляется возможным. Наша работа посвящена поискам биографического обоснования обоих тематических комплексов.

В январе 1820 г. в жизни Пушкина произошло событие, которое, по счастью, не стало слагаемым его публичной биографии, но которое по своему реальному драматизму превзошло почти все из того, что поэт до той поры пережил: по Петербургу разнеслись слухи о том, что Пушкин был привезен в полицию и там высечен. Источником слухов было письмо Ф. И. Толстого-Американца А. А. Шаховскому, написанное в ноябре 1819 г.⁴

Впечатление, произведенное на него этим известием, Пушкин описал в черновике неотправленного письма Александру I, написанном между июлем и концом сентября 1825 г.:

«Необдуманные речи, сатирические стихи [обратили на меня внимание в обществе], распространились сплетни, будто я был отведен в тайную канцелярию и высечен.

До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием <...> я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — В<аше величество(?)>. <...>

Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной. — Он посоветовал мне предпринять шаги перед властями в целях реабилитации — я чувствовал бесполезность этого.

Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость как на средство к восстановлению чести» (XIII, 227–228; перев. с франц. на с. 548–549, конъектура ПСС). Перед нами тот автобиографический контекст, который Пушкин создает уже в михайловской ссылке, чтобы объяснить свои стихотворения и поступки весны 1820 г. Вариативность и избирательность этого контекста становятся очевидны, если сравнить содержание данного

черновика с содержанием более беллетризованного текста, так называемого «<Воображаемого разговора с Александром I>», написанного примерно полугодом ранее, ориентировочно в конце 1824 г. Здесь рассказ о сплетне и о стремлении попасть в «Сибирь или крепость», чтобы восстановить честь, отсутствует. Зато содержится утверждение, что «всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы к<нязю> Ц<ицианову>. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться» (XI, 23). «Воображаемый разговор...» фактически подтверждает основательность политических претензий правительства по отношению к Пушкину и закрепляет за ним роль поэта оппозиции. В дальнейшем, как мы видели (имеется в виду более позднее неотправленное письмо императору), этот мотив уходит, и свое поведение Пушкин объясняет исключительно личными мотивами и трагическими обстоятельствами. Это последнее обращение поэта к императору Александру носит почти исповедальный характер, что отчасти может свидетельствовать в пользу его большей истинности. (Естественно, не следует упускать из виду и существенную жанровую разницу между письмом и художественным произведением: «Воображаемый разговор...», конечно, не предназначался Пушкиным для отсылки императору.) И действительно, восстановление личной чести стало главной жизненной задачей Пушкина весной 1820 г., ибо как ни был гнусен слух сам по себе, но еще страшнее было то, что часть публики поверила сплетне; так, В. Н. Каразин прямо писал об этом управляющему Министерством внутренних дел графу В. Кочубею: «Говорят, что один из них <лицеистов>, Пушкин, по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин»⁵.

Историка литературы, занимающегося проблемами литературной репутации Пушкина, не может не волновать вопрос о том, почему часть общества поверила этому чудовищному слуху, — ведь в 1819 г. нужно было иметь чрезвычайно богатое воображение, чтобы представить себе выпоротым дворянина, к тому же состоящего на государственной службе.

Возможно ли, что свое распространение сплетня получила потому, что, как утверждал сам Пушкин, «всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное» приписывали в это время ему? Иными словами, имел ли Пушкин к весне 1820 г. репутацию человека, известного оппозиционными сочинениями и/или образом действий? Анализ высказываний даже самых близких и расположенных к нему современников не позволяет сделать подобный вывод. Скорее наоборот; так, даже такой благожелательный мемуарист, как И. И. Пущин, передавал свое впечатление от поведения Пушкина конца 1810-х гг. следующим образом: «Между тем <...> Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других; они с покровительственной улыбкой выслушивали его шуточки, остроты»⁶. Опубликованное в 1819 г. стихотворение «Ответ на вызов написать стихи в честь Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны в “Соревнователе Просвещения и Благотворения”» также не было воспринято современниками как излишне оппозиционное. Правда, существует остроумная точка зрения А. Н. Шебунина на то, что околodeкабристское «Общество Елизаветы», куда входили некоторые члены Союза Благоденствия, рассматривало Пушкина как своего потенциального члена, а его творчество — как возможное средство мягкой оппозиционной агитации⁷. Даже если Пушкин и был членом «Общества Елизаветы», этот факт все равно не был широко известен и, стало быть, не много менял в его общественной репутации 1819 — начала 1820 г.

Несколько поверхностной представляется нам сейчас точка зрения М. В. Нечкиной, нашедшей в мемуарах декабриста Горсткіна подтверждение участия Пушкина в работе тайных обществ⁸. Они свидетельствуют об этом не в большей степени, чем строки самого Пушкина: «Читал свои нозли...».

Не способствовал утверждению мнения об оппозиционности поэта и эпизод с подношением стихотворения «Деревня» императору Александру I. И дело было не только в том, что Пушкин видел

«рабство падшим по манию царя». Само обращение к теме крепостного рабства в контексте общественного движения второй половины 1810-х гг. считалось антидворянским, а не оппозиционным по отношению к правительству¹⁰. В стремлении Александра I ограничить крепостное право видели (и справедливо!) желание нанести удар по дворянству, а не просто освободить крестьян. А. И. Тургенев нашел в «Деревне» «преувеличения насчет псковского хамства»¹¹. Тургенев был не просто благожелательным к Пушкину корреспондентом, но придерживался близких Пушкину взглядов на крепостное право, определенных (как и в случае с Пушкиным) вполне антидворянской позицией его младшего брата, Николая Ивановича Тургенева¹².

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что стихотворение «Деревня» было представлено императору. Несмотря на это оно не публиковалось, но бытовало в списках, что также не свидетельствовало об оппозиционности поэта. Ко времени создания стихотворения (1819) существовал запрет печатно обсуждать что бы то ни было относительно крепостного права, при том что именно девятнадцатый и последующие годы были весьма богаты различного рода записками антикрепостнического содержания; их писали люди из ближайшего к императору окружения: А. А. Аракчеев, П. Д. Киселев, А. С. Меншиков, М. Ф. Орлов (до опалы)¹³. Именно в контексте этих не слишком конфиденциальных и проправительственных сочинений и следует рассматривать стихотворение «Деревня».

Итак, то, что «Деревня» не была напечатана, не проходила цензуру, но расходилась в списках, находилось в полном соответствии с желаниями императора. Не случайно последний выразил благодарность Пушкину «за чувства, которые внушают его стихи»¹⁴. Заметим также, что литературные конфиденты императора столкнулись с определенными трудностями, когда в 1819 г. искали ему свежие пушкинские произведения. Так, в 1819 г. в печати появилось всего одно стихотворение, а именно «Ответ на вызов...» (ср. с предыдущими годами: в 1818 г. — пять, в 1817 г. — шесть, в 1816 г. — три, в 1815 г. — семнадцать стихотворений¹⁵). Как видно из приводимой «статистики», начиная с 1817 г. творческая продуктивность Пушкина неуклонно падала, и к 1820 г. он был известен как поэт

лишь в относительно узком кругу «арзамасцев». Правда, в «Воображаемом разговоре...» Пушкин утверждает, что все возмутительные сочинения ходили под его именем, имея в виду, конечно, не печатные издания, а списки. Возможно, это означает, что отсутствие его произведений в печати не означало реального падения творческой продуктивности, а подразумевало хождение большого числа стихотворений в списках?

Определение подлинного числа пушкинских стихотворений и эпиграмм, ходивших в списках накануне его высылки из Петербурга, — сложная исследовательская проблема. Можно привести всего лишь несколько неподцензурных пушкинских произведений 1817–1819 гг., публичная известность которых определенно приходится именно на этот период. Во-первых, это «Вольность», затем эпиграмма на А. С. Стурдзу; кроме того, Пушкин фактически сам сознается в том, что ему не без основания приписывали эпиграмму на Карамзина, разошедшуюся после выхода первых томов «Истории государства Российского». Некоторое распространение в списках получила, видимо, и «Деревня». Более всех в творчестве Пушкина конца 1810-х гг. был осведомлен А. И. Тургенев; в своих письмах 1817–1820 гг. он упоминает следующие произведения Пушкина, не прошедшие цензуру: «Тургенев, верный покровитель...» (1817)¹⁶; «Бессмертной рукой раздавленный Зоил...» (1818)¹⁷; «В себе все блага заключаая...» (1819)¹⁸; послания А. Ф. Орлову и В. В. Энгельгардту (1819)¹⁹; «Ода на [свободу]» («Вольность»)²⁰; «Деревня» (1819)²¹; «Стансы на Стурдзу» (1819)²²; «Платоническая любовь» («Платонизм», 1819)²³. Эти, и, как можно утверждать с весьма большой вероятностью, *только эти* стихотворения составляли круг произведений поэта, ходивших в списках, по крайней мере в «арзамасском» кругу до южной ссылки.

Следует особо поставить вопрос о самом остром политическом произведении Пушкина петербургского периода — об эпиграмме на Аракчеева («Всей России притеснитель...»). Нет никаких данных о том, что она была известна публике ранее марта 1820 г. «Большое» академическое собрание сочинений осторожно датирует ее создание 1817-м — мартом 1820 г. Осторожность не лишняя, если учесть, что только в марте 1820 г. эпиграмма становится достоянием обще-

ства, тогда как это совсем не то произведение, которое молодой Пушкин написал бы «в стол». Скорее всего, оно и было написано весной 1820 г. и как бы инспирировано всей ситуацией той весны.

Итак, можно почти наверняка утверждать, что публика не восприняла инсинуацию о «порке Пушкина» исключительно как сплетню о наказании за оппозиционное поведение и/или вольнолюбивые стихи. Более того, только самые близкие друзья в конце 1819 г. видели в Пушкине исключительно поэта, да и то в значительной степени потому, что возлагали большие надежды на работу над «Русланом и Людмилой», о чем публика не знала. А. И. Тургенев выражал общее мнение «арзамасцев», когда писал Вяземскому в феврале 1820 г.: «Племянник <В. Л. Пушкина> почти кончил свою поэму. <...>Пора в печать. Я надеюсь от печати и другой пользы, личной для него: увидев себя в числе напечатанных и, следовательно, уважаемых авторов, он и сам станет уважать себя и несколько остепенится. *Теперь его знают только по мелким стихам и по крупным шалостям* (курсив мой. — И. Н.)»²⁴.

В трагическую для себя пору жизни, действительно находясь на грани самоубийства, Пушкин обдумывал линию поведения, которая позволила бы ему восстановить общественную репутацию. Он давно планировал отъезд из Петербурга — сложившаяся ситуация укрепила его в этих намерениях. Как нельзя более кстати пришлось предложение от семьи Раевских провести лето с ними; предложение это Пушкин получил весной 1820 г.²⁵ В дальнейшем поэт не раз вспоминал о той благородной роли, которую сыграл в его жизни Н. Н. Раевский-младший.

Но просто отъезд не смог бы перечеркнуть грязную сплетню, и Пушкин решает поступить иначе: он начинает вести себя действительно вызывающе. О (возможных) планах царевубийства мы узнаем только из глубоко личного письма Александру (см. выше), однако о вызывающем поведении Пушкина в театре и обществе вообще, поведении, которое «дядька» Пушкина и самый добросовестный протоколист его петербургской жизни А. Тургенев назвал «площадным вольнодумством», существует множество свидетельств. Почти все они относят отчаянные поступки Пушкина к весне 1820 г.²⁵ В это же время Пушкин, возможно, первый раз в

жизни ощутил потребность предстать в общественном сознании именно поэтом (роль, в которой широкая публика его еще не воспринимала; между прочим, даже в кругу «арзамасцев» муссировался вопрос о возможной военной службе Пушкина²⁷), причем поэтом оппозиционным.

В этот момент он сам стал активно распространять антиправительственные стихотворения собственного сочинения. Так, между 2 и 11 марта Пушкин собирает у себя на квартире общество (в котором оказывается и Н. И. Греч) и там, как нам представляется, впервые читает две самые острые политические эпиграммы петербургского периода — «На Стурдзу» и, возможно, на Аракчеева²⁸. Как уже говорилось, последняя эпиграмма едва ли написана до этого срока. Греч не входил в число друзей молодого Пушкина, возможно, что это была первая встреча поэта с издателем «Сына отечества». Читая ему, совершенно постороннему человеку, столь опасные произведения, Пушкин, без сомнения, хотел сделать их известными как можно более широкому кругу лиц.

Между 16 и 19 марта Пушкин читает стихи (какие именно, неизвестно) дома у А. И. Тургенева, где кроме старых знакомых, Жуковского и С. С. Уварова, присутствует и новый для Пушкина человек, К. Я. Булгаков²⁹, который, это все хорошо знали, влиял на общественное мнение не только в Петербурге, но и в Москве.

Несомненно, что за счет подобных публичных чтений Пушкин хотел сделаться более известным широкой публике как оппозиционный поэт. И это ему удалось, возможно, даже в большей степени, чем он сам предполагал: от Греча об эпиграммах узнал В. Н. Каразин, а тот, в свою очередь, доложил об этом управляющему Министерством внутренних дел графу В. Кочубею³⁰. Хотелось бы особенно подчеркнуть то обстоятельство, что это был первый случай, когда оппозиционные стихи Пушкина дошли до сведения правительства. Вернее, даже не сами стихи, а слухи о них, потому что тексты эпиграмм Каразин Кочубею не передал и во время личного свидания с министром с удивлением и негодованием обнаружил, что их текст правительству неизвестен. Сам Каразин, который отнюдь не был заурядным доносчиком, отказался предоставить искомые тексты.

Кочубей доложил императору Александру, которого более всего заинтересовала эпиграмма на Аракчеева, и, поскольку текста ее у Кочубея не было, 4 апреля петербургский генерал-губернатор Милорадович получает распоряжение достать тексты пушкинских стихотворений³¹. Пушкин еще не знает о новой грозе над своей головой и демонстрирует в театре портрет убийцы герцога Беррийского, Лувеля, с подписью: «Урок царям»³².

Через несколько дней розыском его произведений (между прочим, безрезультатным) стала заниматься тайная полиция, созданная Милорадовичем, а именно Фогель. Последний безуспешно пробует подкупить дядьку Пушкина Никиту Козлова. При этом отрицательное отношение Милорадовича к Аракчееву широко известно, кроме того, фактически Фогелем управляет Ф. Н. Глинка, Пушкину весьма симпатизирующий. Несомненно, именно он посоветовал Пушкину самому прийти к Милорадовичу и записать те стихотворения, признание в авторстве которых не могло бы привести к чрезмерным неприятностям. Так, в воспоминаниях Глинки появляется эпизод о его «случайной» встрече с поэтом, когда тот жалуется, что «слух о моих *и не моих* (под моим именем) пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства»³³. В тетради, которую Пушкин заполняет для Милорадовича, эпиграмма на Аракчеева отсутствует, тем самым Пушкин фактически отвел от себя ее авторство, — обстоятельство, которое необходимо иметь в виду, говоря о причинах того относительно легкого наказания (формально — прощения), которое понес Пушкин за свое оппозиционное поведение. В тот момент, когда на различных уровнях, от Милорадовича до императора Александра, решалась судьба Пушкина, текст эпиграммы на Аракчеева известен правительству не был. Однако слухи о том, что она существует, разошлись настолько широко, что среди современников распространилось мнение (не подкрепленное известными нам фактами), что инициатором высылки Пушкина был именно Аракчеев: «Дело о ссылке Пушкина началось особенно по настоянию Аракчеева и было рассматриваемо в Госуд<арственном> совете, как говорят. Милорадович призывал Пушкина и велел ему объявить, которые стихи ему принадлежат, а которые нет. Он отказался от многих

своих стихов тогда и между прочим от эпиграммы на Аракчеева, зная, откуда идет удар»³⁴.

Все последующее достаточно известно: сначала Пушкина прощает Милорадович (смеясь и предлагая поэту написать что-нибудь про Государственный совет); потом и сам император. Затем (или в то же время) условия прощения обговаривает с императором Н. М. Карамзин (последний стал фактическим гарантом Пушкина³⁵). Главное условие прощения состоит в том, что Пушкин обязуется не писать ничего против правительства в течение двух лет³⁶.

Итак, Пушкин не высылается из Петербурга, а отправляется в служебную командировку и чуть позже получает разрешение следовать в Крым с семьей Раевских. Определяется срок его отлучки, от полугода (речь идет, по-видимому, о пребывании в Крыму) до года (в этот срок включается служба под началом генерала Инзова в Управлении делами колонистов Южного края; Управление было подразделением Министерства иностранных дел, в котором Пушкин служил). Кроме того, Пушкин получает тысячу рублей на дорогу (сумма, значительно превышающая его жалованье); иначе как милостью этот жест скуповатого Александра нельзя было назвать. Все близкие люди, хлопотавшие за поэта, оценивают ситуацию как чрезвычайно благоприятную: «Пушкина дело кончилось очень хорошо. У него требовали его оды и стихов. Он написал их в кабинете графа Милорадовича. Как сей последний, так и сам государь сказали, что он ничего не должен опасаться и что это ему не повредит и по службе. Он теперь собирается ехать с молодым Раевским в Киев и в Крым»³⁷.

Заслуживает быть специально отмеченным число значительных лиц, хлопотавших за Пушкина: Н. М. Карамзин (его, кроме самого Пушкина, просил Чаадаев; собственные отношения Пушкина со знаменитым историком к этому времени были испорчены); вдовствующая императрица Мария Федоровна (ее просит об этом Карамзин); царствующая императрица Елизавета Алексеевна (ее просят об этом Карамзин и Ф. Глинка); начальник Гвардейского корпуса И. В. Васильчиков (к нему обращался также Чаадаев); Е. А. Энгельгардт (Александр сам вызвал его в связи с тем, что в доносе Карамзина говорилось об антиправительственном настроении многих

лицеистов); Милорадович (его в пользу Пушкина настроил Ф. Глинка); Каподистрия (несмотря на то, что объектом одной из эпиграмм был его близкий родственник, А. Стурдза; Каподистрию просили об этом, во-первых, Карамзин и, во-вторых, А. И. Тургенев, сам тоже хлопотавший за поэта), Оленин (его просил Н. И. Гнедич). Складывается впечатление, что друзья поэта, прежде всего А. Тургенев, Чаадаев и Ф. Глинка, воспользовались ситуацией, чтобы настроить общественное мнение в пользу Пушкина. Я подчеркиваю: воспользовались ситуацией, потому что сама по себе она, по-видимому, не требовала таких активных действий. Последнее видно из двух ее оценок, данных такими разными людьми, как Карамзин и Н. Тургенев, почти в один и тот же день. Так, еще 19 апреля 1820 г. историк писал И. И. Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служба под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч. и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться»³⁸. Уже 20 апреля Н. И. Тургенев делится с младшим братом, Сергеем: «О помещении Пушкина (в военную службу. — И. Н.) теперь, кажется, нельзя думать. Некоторые из его стихов дошли до Милорадовича, и он на него в претензии. Надеяться должно, *однако же, что это ничем не кончится* (курсив мой. — И. Н.)»³⁹. Оба эти суждения высказаны в то время, когда судьба Пушкина была еще неизвестна. В письме Карамзина обращает на себя внимание то обстоятельство, что он инкриминирует Пушкину не только написание, но и собственное распространение антиправительственных сочинений («написал и распустил»).

Скандал вокруг Пушкина сопровождается значительным повышением творческой активности поэта; работа над «Русланом и Людмилой» идет быстрее, чем когда бы то ни было раньше. За несколько месяцев он делает в этом отношении больше, чем за два предыдущих года. Одновременно в печати появляются его стихотворения и отрывки из «Руслана», всего девять публикаций, цен-

зурные разрешения на восемь из них получены именно в тот период, когда Пушкин борется за общественное мнение, — с января по май 1820 г.⁴⁰

Таким образом, из Петербурга он уезжает поэтом; вскоре после отъезда (не позднее августа) выходит «Руслан и Людмила».

Именно летом — осенью 1820 г. в элегии «Погасло дневное светило...», в незаконченном стихотворении «Я видел Азии бесплодные пределы...» и в первых строфах «Кавказского пленника» оформился образ поэта, путешественника и добровольного изгнанника. Но как этот образ стал соотноситься с образом Байрона и только ли Пушкин этому способствовал? Мы задаемся этим вопросом и потому, что только летом, а именно с августа по сентябрь 1820 г., произошло первое серьезное знакомство поэта с творчеством Байрона.

Последнее утверждение не является общепризнанным⁴¹. Действительно, переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским 1819 г. содержит в себе много отсылок к произведениям Байрона, Вяземский даже интересуется у Тургенева, «племянник читает ли по-англински»⁴². На вопрос о знакомстве Пушкина с английским языком в этот период можно определенно ответить отрицательно. Более сложным представляется вопрос о том, мог ли Пушкин познакомиться с творчеством Байрона косвенным путем. Так, существует гипотеза И. Д. Гликмана (весьма не бесспорная), что в 1819 г. Пушкин мог познакомиться с «Абидосской невестой» во французском переводе, сделанном И. И. Козловым⁴³. Но и в этом случае речь идет о произведении, выходящем за тематические рамки рассматриваемых стихотворений Пушкина. К сожалению, к настоящему времени единственным достоверным свидетельством самого раннего знакомства Пушкина с творчеством Байрона являются воспоминания Е. Н. Орловой и М. Н. Раевской, которые относят это знаменательное событие к августу 1820 г. («Байрон был почти ежедневным его чтением»)⁴⁴. Отсюда следует, что в момент написания элегии «Погасло дневное светило...», ставшей поэтическим манифестом русского байронизма и в значительной степени определившей восприятие пушкинской личности в байроническом ключе, Пушкин не был знаком с произве-

дением Байрона, действительно, текстуально близким элегии, — «Стансам» Чайльд-Гарольда из первой песни «Паломничества»⁴⁵. Последнее обстоятельство — замечательное свидетельство общности романтической поэтической фразеологии, типологически сближающей Пушкина не только с Байроном, но и, шире, — с европейским романтизмом своего времени; что и было отмечено В. М. Жирмунским и Б. В. Томашевским, не увидевшими в элегии следов прямого воздействия Байрона⁴⁶.

Существовала и противоположная точка зрения, представленная в работах Н. Л. Бродского и Д. Д. Благого. Эти исследователи не ограничивались констатацией типологической близости пушкинской элегии «Погасло дневное светило...» с творчеством Байрона, но настаивали на их генетическом родстве. Среди современных ученых эту позицию разделяют В. С. Баевский и С. А. Кибальник: определенное знание биографии и творчества Байрона, действительно характерное для «арзамасского» круга в 1819 г., приписывается и молодому Пушкину⁴⁷. Впрочем, у В. С. Баевского позиция более сложная: он соглашается считать «Тень друга» Батюшкова источником пушкинской элегии, но при этом настаивает на том, что сам Батюшков испытал могучее воздействие Байрона во время пребывания в Англии в 1814 г., а не в Неаполе в 1819-м, как это традиционно считалось. Вот почему, полагает современный исследователь, «Тень друга», написанная по пути из Англии в Швецию, содержит в себе так много текстуальных переключек со «Стансами» Чайльд-Гарольда. Таким образом, утверждает В. С. Баевский, Пушкин во время написания элегии «Погасло дневное светило...» испытывал влияние Байрона с двух сторон: во-первых, через посредство переписки Вяземского с А. И. Тургеневым, во-вторых, через стихотворение Батюшкова⁴⁸.

В отношении того, что сведения о Байроне, содержащиеся в письмах Вяземского и Тургенева, доходили до Пушкина, мы уже высказывали свои сомнения. Не меньшие сомнения вызывает факт текстуального знакомства Батюшкова со «Стансами» Чайльд-Гарольда в 1814 г., во время двухнедельного пребывания русского поэта в Англии. Дело в том, и об этом пишет В. С. Баевский, что Батюшков не знал английского языка и вряд ли был знаком с

творчеством Байрона ранее. Источников знакомства Батюшкова со «Стансами» Чайльд-Гарольда Баевский не приводит, правда, подразумевается, что бывший в Англии с Батюшковым С. Д. Северин знал английский хорошо. Однако характер текстуальных параллелей между стихотворением Батюшкова «Тень друга» и «Стансами» подразумевает, что либо Северин сделал для Батюшкова очень подробный подстрочник, либо опять-таки речь идет не о генетической зависимости «Тени друга» от Байрона, а о типологическом родстве обоих произведений, определенном в том числе и общей темой — прощанием с Англией. Близость «Тени друга» к «Стансам» Чайльд-Гарольда Байрона — хороший пример того, насколько похожими могут оказаться поэтические произведения, созданные в рамках родственных структурно-тематических систем⁴⁹.

Первым, кто сознательно и целенаправленно соотнес творчество Пушкина с байроновским, был П. А. Вяземский, который на вопрос А. Тургенева, читал ли он «Погасло дневное светило...», отвечал (декабрь 1820 г.):

«Не только читал Пушкина, но с ума сошел от его стихов. Что за шельма! Не я ли наговорил ему эту Байронщизну:

Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей»⁵⁰.

Немногим позднее (31 декабря 1820 г.) Вяземский приводит строки из пушкинской элегии как цитату из Байрона: «Никто более его <Александра I. — И. Н.> не придерживается слов Байрона: “Но только не к брегам печальным / Туманной родины моей”»^{50а}. Вскоре после этого и биография Пушкина начинает осмысляться в байроническом ключе А. И. Тургеневым; так, в апреле 1821 г. последний пишет Вяземскому: «Он <Пушкин> непременно хочет иметь не один талант Байрона, но и бурные качества его и огорчает отца язвительным от него отступничеством»⁵¹. О плохих отношениях Пушкина с отцом А. Тургенев знал, конечно, задолго до того, как первые сведения о Байроне дошли до «арзамасского» круга⁵², однако теперь они осмысляются как слагаемое «байронической» биографии Пушкина. Тяжелый характер отца Байрона, Джона Бай-

рона, был описан во вступительном очерке А. Пишо к изданию сочинений поэта на французском языке. Это было именно то издание, по которому Байрона читали Вяземский и А. Тургенев.

Налицо своего рода мифологизация пушкинского образа в байроновском ключе. Весьма спорно, что это произошло в результате творческих усилий исключительно Пушкина. Подзаголовок «Подражание Байрону» появился у стихотворения «Погасло дневное светило...» только при повторной его публикации в 1826 г.

Именно усилия многих людей, принявших участие в драматических событиях весны 1820 г., привели к тому, что Пушкин получил публичную биографию как поэт. Основными слагаемыми ее стали, таким образом, занятие поэзией, резко манифестируемая оппозиционность, доходящая до скандальной дерзости («площадное вольнодумство»), и отъезд из Петербурга в экзотические страны русского Востока как следствие разлада не столько с правительством, сколько с обществом. Возможно, в августе 1820 г. (когда писалось «Погасло дневное светило...»), Пушкину казалось, что его план по восстановлению общественной репутации, придуманный в январе 1820 г., блестяще удался: вместо беспутного шалопая, которого, по слухам, высекли в полиции, в России появился новый поэт, независимый и путешествующий, — одним словом, второй Байрон.

Увы, многие не разделяли уверенность Пушкина и его близких друзей в том, что отъезд имел добровольный характер и будет недолгим. Так, случайно встреченный поэтом на водах в Кисловодске в июле 1820 г. Д. М. Волконский выражал не только свое мнение, когда записал в «Дневнике»: «...он <Пушкин> за вольнодумство и ругательные стихи выслан из Петербурга в Екатеринославль»⁵³. Точно так же думал В. К. Кюхельбекер, чье мнение о Пушкине передает другой не слишком близкий знакомый поэта, В. Д. Олсуфьев, в октябре того же года: «Заходил к Кюхельбекеру, который мне рассказывал про историю Пушкина, которого выслали из Петербурга»⁵⁴. И уж совсем никогда лично не знавший Пушкина некий польский студент, Франтишек Пельчинский, в письме другу в ноябре 1820 г. сообщал, что «так как муза его <Пушкина> плохо знала законы, его выслали за это на границу Персии»⁵⁵.

Итак, вопреки вышеизложенным фактам, публика не воспринимает отъезд Пушкина из Петербурга как свободный выбор поэта. Тем самым образ свободного путешественника, «изгнанника самовольного», приобретает совершенно условный характер, углубляя наметившийся помимо творческой интенции самого Пушкина литературный параллелизм с судьбой Байрона. Что с того, что сам Пушкин, Н. М. Карамзин и А. И. Тургенев, то есть самые осведомленные люди, убеждены, что с поэтом поступили «по-царски», что речь идет не о ссылке, а о путешествии сроком от полугода до года; общество думает иначе, оно сразу видит ссылку там, где о ссылке как будто бы нет и речи. Таким образом, утверждения поэта, что «он бежал ... отеческих краев» должно было восприниматься культурным, но не очень осведомленным в пушкинской биографии читателем значительно более условно, чем хотелось бы поэту, который сам-то знает, что он *хотел* уехать из Петербурга.

В первый раз Пушкин назвал свой отъезд «изгнанием» только после года пребывания в Кишиневе, в августе 1821 г. Прозвучало это в письме С. И. Тургеневу, где Пушкин жалуется на его старшего брата, не отвечавшего на письма поэта с просьбами о возвращении в Петербург, «дело шло об моем изгнании» (XIII, 32). Действительно, до этого Пушкин обращается к А. И. Тургеневу с этой просьбой, поскольку отведенный на его «командировку» год истек в мае 1821 г. Весной 1821 г. Пушкин посылает Карамзину свое стихотворение «Кинжал»⁵⁶. Это был поступок, безусловно, символический: поскольку правительство не выполнило своего обещания вернуть Пушкина в Петербург, то и поэт считает себя свободным от обязательства «держат свое перо на привязи» и «два года ничего не писать против правительства»⁵⁷. Поведение Александра весной 1821 г., то есть спустя год после высылки из Петербурга, представляется Пушкину двоедушным. И поэт подозревает императора в том, что как будто бы ни для кого не было тайной: «командировка» Пушкина с самого начала мыслилась Александром как бессрочная и «приличная» ссылка. Как сказано в «Воображаемом разговоре с Александром»: «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие» — Это не было бы оскорб<ительно>

ваше<му> в<еличеству>, но вы видите, что я бы ошибся в своих расчетах» (XI, 24). Так в пушкинское творчество входит образ «хитрого Августа»⁵⁸.

Между тем никто из участников событий мая 1820 г., в том числе император, не действовал двоедушно. Вопрос о том, почему пушкинский отъезд из Петербурга на год стал действительно ссылкой, насколько нам известно, никогда не ставился пушкинистами. Очевидно, что были серьезные причины, не позволившие Пушкину вернуться в столицу. И прежде всего то, что эпиграмма на Аракчеева, а также, возможно, и другие стихотворения, скрытые Пушкиным во время свидания с Милорадовичем в апреле 1820 г., стали известны правительству после его отъезда и, главное, широко разошлись в обществе далеко за пределами «арзамасского» круга. Об этом есть важное свидетельство И. Д. Якушкина, с которым Пушкин общался в декабре 1820 г. в Каменке⁵⁹. И возможно, не так уж не правы были те современники поэта, которые утверждали, что ссылку Пушкина инспирировал Аракчеев; во всяком случае, известна жалоба последнего на Пушкина императору уже после отъезда поэта из Петербурга, 28 октября 1820 г.: «Известного вам Пушкина стихи печатают в журналах, с означением из Кавказа, видно, для того, чтобы известить об нем подобных его сотоварищей и друзей»⁶⁰. Очевидно, что граф имел в виду публикацию «Эпилога» к «Руслану и Людмиле» в сентябре 1820 г. в «Сыне отечества» с пометой «26 июня 1820 г. Кавказ».

В октябре 1820 г. в Петербурге произошло восстание Семеновского полка. Одним из главных подозреваемых по этому делу проходил директор солдатских школ взаимного обучения, редактор «Сына отечества» и публикатор произведения, обратившего на себя неблагосклонное внимание Аракчеева, — Н. И. Греч⁶¹. Тогда же, в октябре — ноябре 1820 г., полиция проявляет повышенный интерес к деятельности петербургских непубличных обществ, в том числе «Зеленой лампы»⁶². В январе 1821 г. Александр получает донос Грибовского о деятельности Союза Благоденствия, где содержится предупреждение о том, что роспуск Союза на деле означает уход движения в подполье. Легенда гласит о том, что Александр отказался преследовать членов Союза, сказав Васильчикову: «Не

мне их судить», на деле же из гвардии и армии были удалены все, «кто не действует по смыслу правительства»⁶³. Историк С. Н. Чернов точно назвал этот процесс, пришедшийся на 1821–1823 гг., «борьбой за армию»⁶⁴. Несомненно, весна 1821 г., с точки зрения правительства, была наихудшим временем для возвращения Пушкина в Петербург, тем более что сюда доходят не только доброжелательные отзывы о Пушкине. Так, в ноябре 1820 г. Е. А. Энгельгардт сообщает А. М. Горчакову: «Пушкин в Бессарабии и творит там то, что творил всегда: прелестные стихи, и глупости, и непростительные безумства»⁶⁵.

Весною 1821 г. о каких-то антиправительственных высказываниях Пушкина доносит агент тайной полиции⁶⁶.

В то же время нет никаких данных о том, что именно император инспирировал пролонгацию пушкинской ссылки; более того — на официальный запрос Каподистрии Инзову из Лайбаха в Кишинев в апреле 1821 г., просмотренный и отредактированный императором («Повинуется ли он <Пушкин> теперь внушению от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения»⁶⁷), следовал вполне благожелательный отзыв о Пушкине⁶⁸.

Поэтому, скорее всего, решение о том, что Пушкину не следует возвращаться в Петербург, приняли его друзья. В первую очередь А. Тургенев, который не стал обращаться с соответствующей просьбой к императору. В письме И. И. Дмитриеву (13 мая 1821 г.) это мотивируется следующим образом: «...но в поведении не исправился: хочет непременно не одним талантом походить на Байрона»⁶⁹.

Представляется, что нежелание правительства «при сих смутных обстоятельствах» возвращать Пушкина в Петербург полностью совпадает с подобным же нежеланием его друзей, в первую очередь А. И. Тургенева.

Определенную роль в этом прискорбном для него нежелании сыграл сам Пушкин, вернее, так блестяще сложившийся в течение 1820 г. образ его, который совпадал с байроновским «не одним талантом». Байронизм не предполагал скорого возвращения поэта в метрополию. Заметим, что пушкинское наполнение байроновского образа не совпадало с тем, что вкладывали впоследствии в

понятие байронизма (как то: изгнание, странствия и т. п.) его читатели. Таким образом, желание Пушкина придать своему отъезду характер добровольного и полностью свободного не нашло у них поддержки.

Осознание своего пребывания в Бессарабии как «изгнания» и «ссылки» для Пушкина выходило за рамки байронизма и вызвало необходимость привлечения для метафоризации этого состояния нового образа, каковым и стал образ Овидия.

При этом если публичная констатация творческой и биографической близости Пушкина с Байроном, произошедшая первоначально в результате не только и даже не столько творческих усилий самого поэта, в дальнейшем получила развитие в его поэзии и поведении, то сознательное обращение Пушкина к образу Овидия не получило никакого публичного подкрепления. Произошло это потому, что для самого Пушкина превращение его добровольного отъезда в ссылку стало своего рода неожиданностью, тогда как для всех остальных это было как бы очевидно с самого начала. Отсутствии столь важной для Пушкина добровольной мотивировки отъезда из Петербурга не помешало публике воспринимать пушкинскую судьбу на «байроновском фоне». И «Овидиева» тема, казалось бы, ситуативно более близкая пушкинской судьбе, чем байроновская, уходит из пушкинской лирики.

Между тем внимание самого Пушкина продолжали занимать личности писателей, родство с которыми воспринималось им не менее глубоко, чем параллели (отчасти привнесенные извне) между его судьбой и биографией Байрона. Так, известно, что на 1821 г. приходится пик его интереса к судьбе другого, не только сосланного, но и, как он полагал, «высеченного» поэта — А. Н. Радищева⁷⁰. Но и этот интерес, не найдя выражения в лирике, остался неизвестен широкой публике и сохранился лишь в «<Заметках по русской истории XVIII века>». Заметим, что 1821 г. был к тому же и годом окончательного разрыва отношений Пушкина с Карамзиным, так и не восстановленных до самой смерти историка. Мы обратили внимание на это обстоятельство, чтобы подчеркнуть, что в творческом сознании Пушкина Радищев и Карамзин составляли жесткую идеологическую пару, и период симпатии к одному всегда под-

разумевал резкую антипатию к другому⁷¹. Между прочим, как показал Б. В. Томашевский, пушкинские «Заметки» резко полемизировали с «Похвальным словом Екатерине II» Карамзина⁷². Таким образом, в этот период Пушкин занят активным моделированием своей биографии, поисками возможных образцов и параллелей.

Пушкин был не первым русским писателем, еще при жизни получившим публичную биографию. Несколько более редким является то обстоятельство, что он сам был причастен к ее созданию. Однако степень этой причастности не стоит преувеличивать, особенно в практическом пушкиноведении, исходящем из потребностей комментирования пушкинских текстов, составления справочников и — в перспективе — создания «научной» биографии поэта, то есть из постоянной необходимости постоянно сопрягать биографию и творчество. Да, поэт пытался «строить» свою биографию, но получалось это далеко не всегда и всегда не так, как хотелось бы поэту. Писателю, претендующему на публичную биографию, всегда трудно, он постоянно рискует попасть в герои анекдотического рассказа. Именно этой опасности удалось избежать Пушкину весной 1820 г., после того как по Петербургу разошлись порочащие его слухи. Однако при этом он стал героем романтической легенды о поэте-протестанте, в свою очередь трагически и жестко определившей его жизнь.

1. Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 65.

2. См.: Кибальник С. А. Тема изгнания в поэзии Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т. XIV. С. 35; Вольперт Л. И. Игровой мир Пушкина // Он же. Пушкин в роли Пушкина. М., 1998. С. 50 («С той же легкостью, с какой он некогда менял маску унылого элгика на байроновский “гарольдов плащ”, Протей-Пушкин облекается теперь в наряд Вальмона»).

3. Литературное наследство. М., 1934. Т. 16–18. С. 674.

4. См.: Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. 1799–1826. СПб., 1874. С. 142–144; Оксман Ю. Г. Пушкин в ссылке // Литературное наследство. Т. 16–18. С. 674.

5. Цит. по Базанов В. Г. Ученая республика М.; Л., 1964. С. 139.

6. *Пуцун И. И.* Записки о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Изд. 3-е, доп. СПб., 1998. Т. 1. С. 85–86. (Далее при ссылках на это издание: Пушкин в воспоминаниях современников, с указанием тома и страницы).

7. См.: *Шебунин А. Н.* Пушкин и «Общество Елизаветы» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 1. С. 53–90.

8. Более того, это мнение было оспорено: *Тамашевский Б. В.* Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1 (1813–1824). С. 180–181.

9. *Нечкина М. В.* Новое о Пушкине и декабристах // Она же. Функция художественного образа в историческом процессе: Сб. работ. М., 1982. С. 76–77.

10. См.: *Ланда С. С.* О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816–1821 гг. // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 122–123.

11. Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым: 1812–1819. СПб., 1899. С. 296.

12. См.: *Пугачев В. В.* Декабрист Н. И. Тургенев и пушкинская «Деревня» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. Т. 34. № 6. С. 496–506.

13. См.: *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб., 1888. Т. 1. С. 248–251.

14. См.: *Бартенев П. И.* Александр Сергеевич Пушкин: Материалы для его биографии. Гл. 3. М., 1855. С. 4 (отд. отт.). По предположению М. А. Цявловского, Бартенев записал это со слов П. Я. Чаадаева (Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С. 189).

15. Пушкин в печати. 1814–1837 / Сост. Н. Синявский и М. Цявловский. 2-е изд. М., 1938. С. 11–17.

16. Пушкин. Письма: В 3 т. / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 191.

17. Остафьевский архив... Т. 1. С. 122.

18. Там же. С. 210.

19. Там же. С. 267.

20. Там же. С. 280.

21. Там же. С. 296.

22. Там же. С. 335.

23. Там же. С. 371.

24. Там же. СПб., 1989. Т. 2. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым: 1820–1823. С. 23.

25. Об этом см.: *Гершензон М. О.* История молодой России // Он же. Избранное. Т. 2. М.; Иерусалим, 2000. С. 25.

26. О вызывающем поведении Пушкина весной 1820 г. см.: *Бартенев П. И.* Александр Сергеевич Пушкин: Материалы для его биографии. М., 1954. С. 194; *Вацуро В. Э.* Пушкин и Аркадий Родзянка: (Из истории гражданской поэзии 1820-х годов) // Он же. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 57, 74–75.

Г. Лирика изгнания

27. «Пушкин» не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною. <...> Он уже слышать не хочет о мирной службе» (А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому от 12 марта 1819 года // Остафьевский архив... Т. 1. С. 202).

28. См.: *Базанов В. Г.* Ученая республика... С. 137.

29. См.: Из писем Константина Яковлевича Булгакова к брату его Александру Яковлевичу // Русский архив. 1902. № 11. С. 356.

30. См.: *Базанов В. Г.* Ученая республика... С. 135–137; а также: *Бычков А. Ф.* Мнения современников об А. С. Пушкине и его произведениях: I. В. Н. Карзин и А. С. Пушкин // Русская старина. 1899. Май. С. 277–279.

31. См.: *Анненков П. В.* Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. С. 139.

32. См.: *Вацуро В. Э.* Пушкин и Аркадий Родзянка. С. 77.

33. *Глинка Ф. Н.* Письмо к П. И. Бартеневу с воспоминаниями о высылке А. С. Пушкина из Петербурга в 1820 году // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 201. Курсив мой. — *И. Н.*

34. *Модзалевский Б. Л.* Работы П. В. Анненкова о Пушкине // Он же. Пушкин и его современники. СПб., 1999. С. 481.

35. См.: *Карамзин Н. М.* Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 286–287; Карамзин в письме к П. А. Вяземскому от 17 мая 1820 г. писал: «Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием Государя, действительно трогательным. <...> Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэжке!» (Старина и новизна. СПб., 1897. Кн. 1. С. 101).

36. «<...> два года ничего не писать противу правительства» (XIII, 167); «...на два года положено хранение либеральным устам его <Пушкина>» (А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому // Остафьевский архив... Т. 2. С. 35).

37. Н. И. Тургенев — С. И. Тургеневу // Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 299; «...с которым поступлено по-царски в хорошем смысле этого слова.» (А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому // Остафьевский архив... Т. 2. С. 36).

38. *Карамзин Н. М.* Письма к И. И. Дмитриеву. С. 286–287.

39. Декабрист Н. И. Тургенев. С. 299.

40. См.: Пушкин в печати. 1814–1837. С. 14–15.

41. См.: *Бродский Н. Л.* Байрон в русской литературе // Литературный критик. 1938. № 4. С. 114–119; *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813–1826). М.; Л., 1950. С. 251; *Кибальник С. А.* Тема изгнания в поэзии Пушкина; *Баевский В. С.* Из предыстории пушкинской элегии «Погасло дневное светило...» // Проблемы современного пушкиноведения. Псков, 1994. С. 83–84.

42. Остафьевский архив... Т. 1. С. 327.

43. См.: *Гликман И. Д.* И. И. Козлов // Козлов И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1960. С. 12.

44. См.: *Бартенев П. И.* Пушкин в Южной России: материалы для его биографии. М., 1862. С. 32; *Грот К. Я.* К лицейским стихотворениям А. С. Пушкина // Журнал Министерства народного просвещения. 1905. Октябрь. С. 373–374 (отд. отт.) (со слов Е. Н. Орловой).

45. В. В. Набоков предполагал, что Пушкин впервые познакомился с творчеством Байрона по французским прозаическим переводам А. Пишо и де Сталь летом 1820 г. во время путешествия в Пятигорск и в самом Пятигорске (*Eugene Onegin... with a Commentary by Vladimir Nabokov.* Princeton University Press, 1981. Vol. 2. P. 159).

46. См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 388–389; *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 227–228.

47. См.: *Баевский В. С.* Из предыстории пушкинской элегии «Погасло дневное светило...». С. 84–86; *Кибальник С. А.* Тема изгнания в поэзии Пушкина. С. 35.

48. См.: *Баевский В. С.* Из предыстории пушкинской элегии «Погасло дневное светило...». С. 84–86.

49. См. об этом: *Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 66–67.

50. Остафьевский архив... Т. 2. С. 107.

50а. Там же. С. 133.

51. Там же. С. 187.

52. См. об этом: *Рак В. Д.* Раннее знакомство Пушкина с произведениями Байрона // Он же. Пушкин, Достоевский и другие: (Вопросы текстологии, материалы к комментариям): Сб. статей. СПб., 2003. С. 75–76.

53. *Волконский Д. М.* Дневник / Комм. А. Г. Тартаковского // Знамя: 1987. № 8. С. 151.

54. *Цвяловский М. А.* Заметки о Пушкине. 2. Из дневника В. Д. Олсуфьева // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 38–39. Л., 1930. С. 217.

55. См.: *Державин К.* Пушкин у славян // Звезда. 1949. № 6. С. 171.

56. *Бартенев П. И.* Пушкин в Южной России: материалы для его биографии // Он же. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992. С. 136. (Далее при ссылках на это издание: О Пушкине).

57. Подробнее о стихотворении «Кинжал» в связи с изменениями в политическом мировоззрении Пушкина см. далее в гл. «Идейная проблематика стихотворения Пушкина “Кинжал”...».

58. Иначе оценивает характер взаимоотношений Пушкина с императором Александром I в 1820–1821 гг. В. А. Кошелев. См.: *Кошелев В. А.* Первая книга Пушкина. Томск, 1997. С. 144–149.

59. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 40–43.

60. *Богданович М. И.* История царствования имп. Александра I. СПб., 1871. Т. 6. С. 101 (прилож.).

61. См. подробнее далее в гл. «“Дело” В. Ф. Раевского и правительственная реакция 1820-х годов».

I. Лирика изгнания

62. *Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 437.

63. См.: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1. С. 159 (из переписки П. Д. Киселева и А. А. Закревского).

64. *Чернов С. Н.* Из истории борьбы за армию в начале 20-х годов XIX века // Он же. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 179–260.

65. Цит. по: *Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 57 (перев. с франц.).

66. Русская старина. 1883. Т. 40. С. 657.

67. Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1862. Кн. 2. С. 245 (5-й паг.).

68. См.: *Поливанов Лев.* Александр Сергеевич Пушкин: Материалы для его биографии: 1817–1825 // Русская старина. 1887. Январь. С. 243–244.

69. Письма Александра Ивановича Тургенева к И. И. Дмитриеву // Русский Архив. 1867. Кн. 2. Стлб. 664.

70. См.: *Лотман Ю. М.* Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819–1822) // Он же. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 765–785.

71. См. подробнее далее в главе «Статья Пушкина “Александр Радищев” и общественная борьба 1801–1802 годов».

72. *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 581–583.

Исторический фон послания Пушкина В. Л. Давыдову (1821)

Стихотворное послание, озаглавленное в ПСС как «<В. Л. Давыдову>» (II, 178), не обижено вниманием ученых¹. Однако, как это иногда бывает в пушкиноведении, наиболее проблемная работа, затрагивающая послание, написана за пределами науки о Пушкине. Мы имеем в виду известную статью В. М. Живова «Кошунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века», где стихотворное послание Давыдову упомянуто как пример произведения «кошунственной» литературы². По мысли В. М. Живова, это должно означать следующее: антиклерикального содержания стихотворение не имеет, а, так же, как и вся русская кошунственная поэзия, остается явлением внутрилитературным, пародирующим высокую оду и соответствующий ей образ поэта-одописца. Последнее сделалось возможным потому, что высокая ода в русской культуре была ориентирована на церковную проповедь, а образ «высокого» поэта — на священника или пророка³.

Статья вызвала возражения Ю. М. Лотмана, оспорившего утверждение Живова о том, что кошунственная поэзия не имеет антиклерикального характера. Основываясь на исследованиях Б. В. Томашевского, Лотман указывает на направленность «Гавриилиады» против «придворной мистики»⁴; а ведь именно в контексте работы Пушкина над «Гавриилиадой» принято рассматривать послание Давыдову.

Возражения Лотмана, при всей их остроте, не опровергли главного положения Живова о том, что кошунственная поэзия и объект ее пародирования — поэзия высокая одическая и сакральная — составляют одну и при том исключительно литературную систему, и что только в рамках этой системы целесообразно рассматривать

отдельные произведения «кощунственной» литературы. При этом подразумевается, что идеологически «кощунственная» поэзия принадлежит к системе православного христианства.

С этим положением Живова полемизирует В. Паперный: он считает, что «в тех случаях, очень характерных для Пушкина начала 20-х годов, когда дискурс поэтического кощунства совмещался у него с дискурсом политического радикализма, соответствующие тексты Пушкина приобретали совершенно определенную антихристианскую направленность», корни которой уходят в «антихристианство радикальной фазы Революции»⁵. Замечание Паперного представляет особое значение для изучения поэтического послания Давыдову, потому что именно в этом произведении Пушкина политический радикализм соединяется с религиозным вольномыслием как нигде более тесно.

Правомерен ли такой подход? Действительно ли идеологические корни стихотворения уходят во французскую антиклерикальную культуру XVIII века, или перед нами образец «пасхального» смеха⁶ или чего-то похожего, пародирующего православную традицию, но существующего в ее границах? Такова проблематика нашего исследования. И конечно, не как средство, а как постоянная самоцель, нас будет интересовать восстановление историко-биографического фона поэтического послания Пушкина Давыдову.

1

Высокий теоретический уровень, на который перешло сейчас изучение послания Давыдову, может создать ложное впечатление о том, что уровень эмпирического исследования стихотворения исчерпан, т. е. вопросы реального комментирования и творческой истории послания решены. Так, адресация послания В. Л. Давыдову, не выделенная самим Пушкиным в качестве заглавия стихотворения, однозначно следует из текста произведения, поскольку последнее содержит в себе обращение: «А всё невольню вспоминаю, / Давыдов, о твоём вине...» (II, 179). При этом нет сомнений, что речь идет

именно о В. Л. Давыдове, члене Южного общества, руководителе Каменецкой управы, а не об А. Л. Давыдове, его старшем брате, также упомянутом в стихотворении.

Положение стихотворения в рабочей тетради ПД 831 определенно привязывает его создание к апрелю 1821 года⁷.

Некоторые вопросы вызывает соотнесенность послания с письмом Пушкина неизвестному о греческом восстании, датированном по содержанию весной 1821 года (XIII, 22–24), однако большинство исследователей, и мы присоединяемся к их числу, считают, что адресат послания и письма — одно и то же лицо, В. Л. Давыдов⁸; так стихотворение получает дополнительный, весьма много объясняющий контекст. В общем, может показаться, что проблемы изучения послания в самом деле имеют характер исключительно теоретический, но это не так.

Проблемным, с точки зрения биографов Пушкина, можно назвать интимный характер обращения поэта к человеку, которого не принято относить к числу его близких друзей, к Василию Львовичу Давыдову (1792—1855). Общение Пушкина с Давыдовым было интенсивным, но кратким (октябрь 1820 года — февраль 1821 года), тогда как понимание послания требует от его адресата значительного объема общей с автором памяти.

Стихотворение начинается с упоминания о грядущей женитьбе генерала Орлова на дочери Н. Н. Раевского-старшего, Е. Н. Раевской:

Меж тем как генерал Орлов —
Обритый рекрут Гименя —
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов... (II, 178).

Указание на то, что генерал «обрит», можно рассматривать как не слишком туманный эвфемизм плешивости генерала — тема, получившая продолжение в переписке Пушкина. Так, в письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года — женитьба Орлова к этому времени уже состоялась — выражается комическое недоумение по поводу того, как это стало возможно: «Орлов женился; вы спросите каким образом? Не понимаю. Разве он ошибся плешью и проломал жену⁹ головою. Голова его тверда; душа прекрасная; но чорт ли в них?

Он женился; наденет халат и скажет: *Beatus qui procul...*» (XIII, 29). Пушкинское «вы спросите, каким образом» подразумевало, что и у А. И. Тургенева должны были быть определенные сомнения в мужской состоятельности генерала. Нам представляется, что литературным «продуктом» таких сомнений стала пушкинская эпиграмма:

Орлов с Истоминой в постеле
В убогой нагоде лежал.
Не отличился в жарком деле
Непостоянный генерал.
Не думав милого обидеть,
Взял Лаиса микроскоп
И говорит: «Позволь увидеть,
Чем ты меня, мой милый, <-->» (II, 37).

ПСС (текстологическую справку делал М. А. Цявловский. — II, 1024) не называет, какого именно из Орловых, Михаила Федоровича или его брата, Алексея, задел поэт в этой эпиграмме, но традиционно считается, что Алексея¹⁰. Представляется, что эта адресация требует пересмотра — по крайней мере, если считать, что эпиграмма была написана между 11 июня и первыми числами июля 1817 года, как его датирует ПСС (II, 1024), основываясь на утверждении С. А. Соболевского о том, что стихотворение «написано только что по выходу из лица» (II, 1024). А. Ф. Орлов стал генералом только в конце 1817 года¹¹, тогда как его брат, М. Ф. Орлов, был генералом (самым молодым в русской армии) с 1814 года¹². Поэтому «непостоянным генералом» из пушкинской эпиграммы мог быть только М. Орлов; чем и мотивируется комическая обеспокоенность поэта по поводу того, каким же образом генерал собирается исполнять свой супружеский долг.

В публикуемых в новом академическом ПСС комментариях к стихотворению «Орлов с Истоминой в постеле...» В. Э. Вацуро также пришел к выводу о том, что адресатом эпиграммы был не Алексей, а Михаил Орлов. Однако ход доказательств исследователя отличается от того, который изложен в настоящей статье. Так, время написания стихотворения Вацуро переносит с 1817 года на 1818 год на том основании, что до конца 1817 года Е. И. Истомина

жила «совершенно по-супружески» с В. В. Шереметевым, и, следовательно, по мысли ученого, близость между ней и кем-либо из братьев Орловых возникнуть не могла¹³.

Нам представляется, что нет никаких оснований утверждать (и на этом основании передатировать эпиграмму), что между Истоминой и Михаилом Орловым на самом деле имела место любовная связь, так или иначе затронутая в пушкинском стихотворении. Истомина упоминается здесь как пример женщины нестрогого поведения; поэтому в тексте эпиграммы она называется не своим именем Евдокия (Авдотья), а собирательным именем жриц любви, «Лайсой». Никаких свидетельств об отношениях Истоминой с кем-либо из братьев Орловых в 1817 году или позже, не существует. Что же касается взаимоотношений Истоминой с Шереметевым, то они не были настолько супружескими, чтобы сделать невозможной дуэль последнего с Завадовским. Скорее всего, стихотворение было рождено общей атмосферой «Арзамаса», в которой и произошло знакомство поэта с М. Орловым и где, по воспоминаниям М. Н. Лонгинова, существовало мнение о том, что «некоторая часть Орлова не соответствует его гигантскому сложению»¹⁴. В этой связи важно, что, как отметил В. Э. Вацуро, именно в мае — июле 1817 имело место знакомство Пушкина с М. Орловым. Это обстоятельство и следует считать решающим при датировке стихотворения. Отметим, что как раз концом мая — началом июня 1817 года датирует создание стихотворения С. А. Соболевский. Сомневаться в датировке, предложенной Соболевским, означает ставить под вопрос и авторство Пушкина, поскольку других свидетельств, кроме Соболевского, в его пользу нет.

Возможно, не только борьбу М. Орлова с телесными наказаниями имел в виду Пушкин в письме Вяземскому от 2 января 1822 года, рассказывая о том, что «он <Орлов> делает палки сургучные, а палки в дивизии своей уничтожил» (XIII, 35). Упоминание о «палках», уничтоженных в дивизии, так же, как размышления поэта о плешивой голове Орлова, которую почтенный генерал употребляет вместо микроскопического мужского члена, поскольку она «тверда», образуют контекст, в который Пушкин помещает известия о женитьбе М. Орлова.

В пушкинской поэзии весны 1821 года, в пору работы над «Гавриилиадой», образ «обритого рекрута Гименя», «пламенеющего священной страстью», ассоциативно связан с образом эрегированного члена. А то, что он готов «подойти под меру», вызывает дополнительные ассоциации с процедурой обрезания. Мотив «обрезания» встречается в стихотворении «Христос воскрес, моя Ревека», работа над которым велась буквально в те же дни, что и работа над посланием Давыдову: «А завтра к вере Моисея / За поцалуй я не робея / Готов, еврейка, приступить — / И даже то тебе вручить, / Чем можно верного еврея / От православных отличить» (II, 186). (Датировка ПСС — 12 апреля — II, 1095).

Возможно, что за аффектированной заботой Пушкина о семейном благополучии генерала скрывалась ревность, поскольку существует точка зрения о том, что поэт был влюблен в Е. Н. Раевскую¹⁵.

Женитьба М. Орлова активно и всерьез обсуждалась в декабристской среде. И. Д. Якушкин, специально приехавший в ноябре 1820 года в Каменку, чтобы уговорить генерала принять участие в Московском съезде Союза Благоденствия, считал, что именно женитьба Орлова на дочери генерала Раевского и стала основной причиной того, что генерал вышел из Тайного общества. При этом, утверждал Якушкин, у Орлова не хватило решительности прямо сказать об этом, и он нарочито резко выступил на Московском съезде. Его «решительные меры», включавшие в себя печатание фальшивых ассигнаций, заведомо не могли быть приняты другими заговорщиками. После недоуменной реакции сочленов Орлов объявил о своем выходе из Союза. В своих воспоминаниях Якушкин рассказывал, что добродушный генерал не смог до конца выдержать свою роль радикала перед делегатами и в последний день съезда косвенным образом извинился перед некоторыми из них¹⁶.

Возможно, что, выступая перед членами Союза Благоденствия, Орлов на самом деле хотел оживить их действия и сделать их более оппозиционными, тем более, что «ликвидаторов» на съезде хватало и помимо него; тем не менее, даже близкие друзья оценили его поведение как двойственное, продиктованное не столько интересами дела, сколько желанием порвать с Тайным обществом накануне женитьбы. Так считал свойственник М. Орлова, С. Г. Волконский, ко-

торый в дни работы съезда находился в Москве и общался со многими делегатами. Именно от С. Г. Волконского информацию о съезде и о сложной роли Орлова в нем получил В. Л. Давыдов: «К<нязь> Сергей Волконской, который ехал в Москву вместе с Генералом Орловым, но в собрании сем не находился, говорил мне по возвращении, что он заметил из речей Г-ла Орлова намерение его отдалиться от общества, даже способствовать к его уничтожению, что и было сделано. Каким именно способом, не знаю; но, как сказывал К. Волконской, Г-л Орлов нарочно делал такие нелепые предложения, что никто их не принял: а что он сам сим воспользовавшись, отказался от участия в обществе и увлек за собою большую часть тут находящихся. После же сего Г-л Орлов более никакого участия в обществе не брал и не хотел брать, то есть с 1821-го года, как мне кажется»¹⁷.

В. Л. Давыдов и С. Г. Волконский не признали ликвидаторских решений Московского съезда, как не признали их многие офицеры штаба 2-й армии, находившейся в Тульчине. На их бурных собраниях рождалось Южное Общество, и следующим важнейшим этапом его создания явились совещания Давыдова, Волконского и Пестеля на Киевской контрактной ярмарке в начале февраля 1821 года.

С ноября 1820 года по конец февраля 1821 года Пушкин почти неразлучно находился при В. Л. Давыдове. В Каменке поэт присутствовал при обсуждении вопроса о том, было ли бы полезно учреждение в России тайного общества. Поэт с восторгом поддержал эту идею и очень расстроился, когда было объявлено, что это только шутка. Однако есть основания относиться к казенной дискуссии серьезно, поскольку споры в Москве на съезде были прямым ее продолжением с участием примерно того же круга лиц (Орлов, Якушкин, Охотников)¹⁸.

На Киевских контрактах Пушкин также находился в постоянном общении с будущими заговорщиками, и в конце февраля 1821 года проехал через Тульчин, где в это время бушевали полемические страсти.

Конечно, определить, что конкретно было известно поэту о реорганизации Союза Благоденствия и о роли в этом Давыдова, невозможно. Но никогда в своей жизни Пушкин не находился от заговора на таком близком расстоянии. Закономерно, что именно

в это время в декабристских кругах родилась, к счастью, не воплощенная, мысль о принятии Пушкина в Тайное общество, что можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что кое-что о заговоре Пушкин знал. Закономерно, что поручение принять Пушкина получил и, к счастью, не исполнил С. Г. Волконский¹⁹, друг и родственник В. Л. Давыдова, вместе с последним руководивший Каменецкой Управой.

Поэтическое послание декабристу дополняется также не отправленным адресату письмом Пушкина (см. выше), предположительно, к Давыдову же. Письмо содержит в себе подробное описание начала греческого восстания и анализ структуры тайного общества Гетерии. Рассказывая об иерархическом разделении общества, Пушкин обращает внимание адресата своего письма на то, что его, общества «основатели еще не известны...» (XIII, 24). Это обстоятельство указывало на глубоко конспиративный характер действий Гетерии. Именно таким образом, как конспиративную, разделенную на иерархические срезы, где «младшие» не знают «старших», хотело бы строить свою деятельность Южное общество, в отличие от деятельности Союза Благоденствия, организации просветительской и, по существу, не конспиративной. Пушкинское «мы» послания означало претензию на обладание некоторым «истинным», скрытым от профанов знанием, противопоставленным миру ложных ценностей не только «народов, желающих тишины», но и выбравшего «тишину» М. Орлова.

2

Первые строки послания определяют его важнейшую тему, которую можно охарактеризовать как несоответствие явно декларируемого действительным намерениям или возможностям декларирующего (лицемерие). Все упоминаемые в послании лица не соответствуют взятым на себя ролям: имеющий микроскопический член М. Орлов — женится, «бунтующий с горя» князь (А. Ипсиланти) — «безрук»; митрополит, «седой обжора», в страстную неделю умирает «перед обедом».

Стихотворение включает в себя упоминание еще о двух персонажах, о государе и о Всевышнем: «...и твердо верю, / Что бог простит мои грехи, / Как государь мои стихи». Весной 1821 года, когда писалось послание, у Пушкина были большие сомнения в отношении «милосердия» государя: год с момента высылки поэта из Петербурга истекал, но никто не собирался возвращать его в столицу, вопреки обещанию императора. У Пушкина создалось впечатление, что в мае 1820 года, отправляя его из столицы под благовидным предлогом служебной командировки сроком не более года, император сознательно вводил в заблуждение и самого поэта, и общественное мнение; отсюда появившаяся весной 1821 года в пушкинском творчестве тема «хитрого Августа» и глубоко укорененное в сознании поэта с тех пор представление о «двоедушии» императора Александра. Письмо Н. И. Гнедичу, содержащее в себе эту поэтическую оценку императора и мотив «изгнания», было написано 24 марта 1821 года, т. е. за две–три недели до создания послания Давыдову.

Итак, милосердие государя мнимое, лицемерное, поскольку последний не исполнил своего обещания и не вернул поэта в Петербург. Мнимой, следовательно, является вера в Пушкина и в Высшее милосердие, поскольку в него поэт верит *так же, как* в милосердие государя, то есть никак.

Возможно, что это двойное неверие, в Высшее милосердие и в милосердие царя, и определило характерное для послания совпадение политического и антиконфессионального дискурсов, отмеченное В. Паперным. Однако только ли обстоятельства жизни поэта весны 1821 года обеспечили это совпадение или прав был исследователь, увидевший здесь влияние идеологии Великой Французской революции?

К ложному и лицемерному относится поведение самого автора: «Я стал умен, [я] лицемерю — / Пощусь, молюсь и твердо верю, / Что бог простит мои грехи, / Как государь мои стихи» (II, 178–179). Любопытно, что лицемерие фигурирует в стихах Пушкина как проявление ума. Трудно сказать, как много иронии в этом определении. Примерно в те же дни, когда писалось послание, 9 апреля 1821 года, Пушкин встречался с Пестелем, после чего записал

в «Дневнике»: «умный человек во всем смысле этого слова» (XII, 303). Следовательно, значение слова «ум» «во всем смысле» именно весной 1821 года стало предметом размышлений Пушкина.

Можно предположить, что эти размышления были связаны с осмыслением трактата Гельвеция «Об уме». Страстная характеристика этого сочинения содержится в поздней статье поэта «Александр Радищев»: «Гримм, странствующий агент французской философии, в Лейпциге застал русских студентов за книгою *о Разуме* и привез Гельвецию известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии. Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастю, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями» (XII, 31).

Среди исследователей статьи сложилось отношение к ней как к автобиографическому произведению; как об этом написал В. Э. Вацуру: «Некоторые ключевые эпизоды биографии Радищева проецированы Пушкиным на его собственную судьбу»²⁰.

Увлечение Гельвечицем, по мысли Пушкина, безусловно, относится к числу ключевых эпизодов биографии Радищева. А о том, что увлечение Гельвечицем имело место и в пушкинской биографии, свидетельствует то, что слова, которые Пушкин отнес к Радищеву: «в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма» — совпадали со словами из его собственного письма, предположительно, П. А. Вяземскому: «пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма» (XIII, 92). Именно за это изложение доводов в пользу «чистого афеизма» в перлюстрированном письме он был сослан в Михайловское. Правда, произошло это тремя годами позже, но именно на 1821 год приходится пик интереса Пушкина к творчеству и личности Радищева²¹, которого Вяземский назвал «маленьким Гельвечицем»²².

В России Гельвеций воспринимался как создатель этической системы, основанной не на религии, а на представлении о том, что человеку «выгодно» быть нравственным²³. Не случайно Ю. М. Лотман называет гелльвеццианскую мораль этикой «разумного эгоиз-

ма»²⁴. Цель человеческой жизни, считал Гельвеций, состоит в достижении удовольствий, в том числе чувственных. При этом этические построения Гельвеция можно назвать теорией разумного не только эгоизма, но и оптимизма, поскольку они предполагали возможность достижения личного счастья, совмещаемого с общественной пользой.

Своей этикой философ привлекал старших современников поэта, чье идейное формирование закончилось до начала Революции, и которые, как И. П. Пнин, например, полагали, что в основе общечеловеческой морали должны лежать отнюдь не только страх перед Всевышним: «Я хочу, чтоб ты <человек> был <...> добрым человеком потому, что так велит природа, разум и бог, что порядок, общее благоустройство света, которого ты часть составляешь, того от тебя требуют»²⁵. Для тех же, чье мировоззрение сложилось под влиянием войн и революций начала 19 века, Гельвеций был чужд. К последним определенно относился К. Н. Батюшков: «Признаемся, — писал он в статье “Нечто о морали, основанной на философии и религии” (1815), — что смертному нужна мораль, основанная на небесном откровении, ибо она единственно может быть полезна во все времена и при всех случаях: она есть щит и копье доброго человека, которые не ржавеют от времени <...> Другие светские моралисты повторяли одни и те же мысли, или (например, Гельвеций) давали им обширнейшее распространение, но вечно ложное»²⁶.

На раннем, просветительском, этапе дворянского освободительного движения, хронологически совпадающем с периодом деятельности Союза Благоденствия (1818–1821), Гельвеций привлекал молодых радикалов своим утверждением возможности совмещения борьбы за свободу общества с достижением личного счастья. Можно утверждать, что эти воззрения ушли из общества вместе с оптимизмом Просвещения, но в самом начале двадцатых годов интерес к Гельвецию сохранялся, хотя и доживал последние дни. Об этом вспоминал И. В. Киреевский в письме А. И. Кошелеву, датированном 1832 годом: «О Гельвеции, я думаю, я был бы такого же мнения, как и ты, если бы прочел его теперь. Но лет десять назад он произвел на меня совсем другое действие. Признаюсь тебе,

что тогда он казался мне не только отчетливым, ясным, простонародно-убедительным, но даже нравственным, несмотря на проповедование эгоизма. Эгоизм этот казался мне только неточным словом, потому что под ним могли разумеяться и патриотизм, и любовь к человечеству, и все добродетели. К тому же мысль, что добродетель для нас не только долг, но еще счастье, казалась мне отменно убедительною в пользу Гельвеция. К тому же пример его собственной жизни противоречил упрекам в безнравственности»²⁷.

Среди тех, с кем Пушкин активно общался в 1821 году и чье влияние на поэта было значительно, особенным пристрастием к Гельвецию отличался «первый декабрист» В. Ф. Раевский. В своем полемическом «Рассуждении о рабстве крестьян», написанном не позднее февраля 1822 года, он ссылается на Гельвеция: «Весьма справедливо сказал Гельвеций, что дворяне есть класс народа, присвоивший себе право на праздность, но дворяне наши, позволяющие себе все <...> есть класс самый невежествующий и развращеннейший в народах Европы»²⁸. При том, что комментаторы этого сочинения, Е. П. Федосеева и А. А. Брегман, считают высказывание Раевского о Гельвеции прямой цитатой из трактата последнего «Об уме»²⁹, это не совсем так. Раевский не цитирует Гельвеция, а перефразирует его рассуждения «о праздности», придавая им оттенок политического радикализма, которого они были лишены в оригинале.

Раевский был постоянным собеседником Пушкина в 1821 году. Можно определенно утверждать, что антидворянский пафос пушкинских высказываний этого времени, в целом не свойственный ни Пушкину, ни другим его собеседникам этого времени из числа радикалов, был определен Раевским.

Пестель не был сторонником гельвецианской морали; во-первых и в главных, ему был чужд ее демократический пафос. Ему был ближе Руссо, считавший, что выразителем «общей воли» является не арифметическое большинство граждан, а некое мудрое и авторитетное меньшинство. Специальный раздел «Русской Правды» посвящен «Разделению членов общества на повелевающих и повинующихся»³⁰. Кроме того, оставляя в стороне сложный вопрос о том, был или не был атеистом сам Пестель, отметим, что в «Русской правде» определено «Обязанности, на человека от Бога

посредством веры наложенные, суть первейшие и неперменной-
шие»³¹. Если добавить к этому убеждение Пестеля в том, что борь-
ба, которой он посвятил свою жизнь, потребует аскезы и жертв
как от него самого, так и от тех, кто доверился ему, станет понят-
но, что чувственный оптимизм Гельвеция был противоположен
его мировоззрению. При этом, поскольку основанием своей ма-
териалистической этики Гельвеций считал «знание ума», а источ-
ником страстей и заблуждений — «знание сердца», можно предпо-
ложить, что отдающее парадоксом высказывание Пестеля, так
поразившее Пушкина во время беседы с ним, что он записал его в
«Дневник»: «сердцем я материалист, но мой разум этому проти-
вится» (XII, 303, ориг. по франц., пер. на с. 486), — полемически
направлено против Гельвеция.

Комментаторы нового академического собрания сочинения
Пушкина усмотрели связь между приведенным выше пестелевским
афоризмом и строкой из стихотворения Пушкина «Безверие»: «Ум
ищет божества, а сердце не находит» (I, 243). К сожалению, ком-
ментаторы не привели источников этого знаменательного для Пуш-
кина — оно было прочитано им на выпускном экзамене в Лицее —
стихотворении. Между тем один весьма вероятный источник пуш-
кинских размышлений о вере и бессмертии души и о том противоречии,
которое возникает при осмыслении этих проблем между
разумом и сердцем, нам бы хотелось назвать: это трактат А. Н. Ра-
дищева «О человеке, о его смертности и бессмертии». Именно здесь
Радищев последовательно проводит мысль о том, что полная вера
в Бога и в бессмертие души возможна только в том случае, если
разум человеческий согласен в этом отношении с сердцем: «Итак,
для убеждения о бессмертии человека нужны чувственные и, так
сказать, сердечные доводы, и тогда, уверив в истине сей разум и
сердце, уверение в ней тем будет сильнее»³². Именно в последова-
тельном разделении «знания ума» (рациональное постижение) от
«знания сердца» (интуитивное постижение) Радищев более всего
проявляет себя как ученик Гельвеция. Последний не только реши-
тельно противопоставляет «ум» и «сердце», но и утверждает, что
«если <...> некоторые из моих принципов не будут соответство-
вать общему благу, то это будет ошибка моего ума, а не сердца»³³.

Трактат «О человеке» был напечатан во второй и третьей частях «Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» (М., 1807–1811). О том, что в лицейские годы Пушкин был знаком с этим изданием, можно судить по тому, что пушкинское поэтическое подражание Радищеву — поэма «Бова» — было написано в 1814 году. Одноименное стихотворение Радищева было опубликовано в первой части (М., 1809) упомянутого собрания сочинений. В каталоге библиотеки Пушкина издание значится под № 309³⁴.

Конечно, в лицейские годы разделение «ума» и «сердца», характерное для стихотворения «Безверие», не обязательно было связано с философской системой Гельвеция, однако в апреле 1821 года отдающее парадоксом высказывание Пестеля «сердцем я материалист, но мой разум этому противится», весьма вероятно, было воспринято Пушкиным в рамках философской системы Гельвеция, воспринимаемой через призму трактата Радищева «О человеке».

В послании Давыдову пародийно присутствует разделение рационального и чувственного восприятий. При этом роль «сердца» играет «ненабожный желудок» автора.

Кроме того, послание характерно выражением того оптимизма в возможности сочетания личного счастья («Мы счастьем насладимся») с общим благом, которое отличало французского философа, и который скоро перестанет быть характерным для Пушкина.

Гельвеций определял ум как «результат способности мыслить (и в этом смысле ум есть лишь совокупность мыслей человека), или <...> как самая способность мыслить»³⁵. Это определение не слишком специфично само по себе, если не принимать во внимание того, что особенностью философской системы Гельвеция является феноменологическое отождествление «суждения» с «ощущением»: «Но, скажут мне, каким образом до сих пор предполагалась в нас способность суждения, отличная от способности ощущения? Это предположение, отвечу я, основывалось на воображаемой невозможности объяснить иным путем некоторые заблуждения ума <...> нет такого ложного суждения, которое не было бы следствием или наших страстей или нашего невежества»³⁶. Таким образом, ум «во всем смысле» или, по определению Гельвеция, «пра-

вильный ум», это ум, свободный от «всех страстей, которые искажают нашу способность к суждению»³⁷. По мысли Гельвеция, людей, в полной степени обладающих «правильным умом», почти нет, потому что для этого «нужно было бы всегда иметь в памяти идеи, знание которых давало бы нам знание всех человеческих истин, а для этого нужно было бы знать все»³⁸. И, возможно, потому, что Пестель поразил Пушкина всеобъемлющим характером своих знаний («мы имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч.»), поэт определил ум декабриста не только как полный «во всем смысле», но и как «один из самых оригинальных».

Природа ума, которым стал умен Пушкин, сказав о себе «я стал умен, я лицемерю», очевидно, другая. После слова «лицемерю» Пушкин поставил дефис, что в пушкинской оригинальной пунктуации часто функционально соответствует современному двоеточию, если не запятой. Следовательно, пост, молитва и твердая вера в милость Всевышнего и государя, по мысли Пушкина, и являются выражением лицемерия и «ума» одновременно. По классификации Гельвеция различных типов ума, умом, сочетающимся с лицемерием, считается «практический ум», одной из особенностей которого «есть умение пользоваться тщеславием ближнего для достижения своих целей»³⁹.

«Практичное» поведение автора входит в противоречие с ощущениями просветительского дуэта из «гордого рассудка» и «ненабожного желудка». Они отказываются следовать лицемерной набожности автора. Чудо евхаристии представляется невозможным, потому что плохое вино («с водой молдавское вино») никак не может претвориться в «кровь Христову».

Гельвеций, безусловно, один из самых антиклерикальных авторов Старого Режима, но степень его атеизма не следует преувеличивать (о чем ниже), как и степень влияния на идеологические представления Великой Французской революции эпохи Террора. Не случайно с резким осуждением памяти Гельвеция 5 декабря 1792 года выступил Робеспьер: «Лишь двое, на мой взгляд, достойны нашего признания — Брут и Ж.-Ж. Руссо. Мирабо должен пасть. Гельвеций также должен пасть. Гельвеций был интриганом, презренным остроумцем, человеком безнравственным. Он был

одним из самых жестоких гонителей славного Ж.-Ж. Руссо, того, кто более всех достоин наших почестей. Если бы Гельвеций жил в наши дни, не думайте, что он бы примкнул к тем, кто защищает свободу. Он пополнил бы собой толпу интриганов-остроумцев, от которых страдает ныне наше отечество»⁴⁰. Пестель вполне мог бы подписаться под этими словами.

Здесь мы подходим к вопросу о границах распространения гельвецийской морали; революционные эпохи с их культом самопожертвования и утверждением приоритета общественного над личным были ей противопоказаны.

Важно отметить также, что антиклерикализм философа — это вовсе не безбожие. Как он сам писал, отводя от себя подобные упреки, «нигде в предлагаемой книге я не отрицал троицы, божественности Иисуса, бессмертия души, воскресения мертвых»⁴¹. Конечно, религиозность Гельвеция почти не подразумевает вмешательство Всевышнего в земные дела, поэтому всякое личное отношение к Нему бессмысленно и алогично. Пушкинское отношение к Всевышнему более пристрастно, он подвергает сомнению его милосердие, но не отрицает его вмешательства в собственную жизнь.

Послание Давыдову, при всей насыщенности стихотворения конфессиональной тематикой, не дает достаточного основания для исследовательской реконструкции религиозного кредо поэта. Больше для этого подходит роковое письмо Пушкина Вяземскому (?) приблизительно датируемое апрелем — маем 1824 года; отрывок из него мы уже приводили. Приведем еще один: «Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu' il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur <что не может быть существа разумного творца и регулятора (*франц.*)>, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная» (XIII, 92).

Итак, только весной 1824 году вера в отсутствие Творца и регулятора, а также неверие в бессмертие души будут представляться Пушкину «более всего правдоподобными». Весной 1821 года это

было еще не так, и вера в Творца и регулятора еще сохранялась. В послании Давыдову она выражалась в религиозном либертинаже, характерном для предреволюционной идеологии, и резко отвергаемом Революцией.

3

В третьей, заключительной строфе послания, Пушкин формулирует свое представление о позитивных ценностях.

Пассивному и аморфному «общему кругу» первой строфы здесь противопоставлено некое деятельное и сплоченное «мы»:

Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чаш<ей> причастимся» (III, 179).

Наиболее дистанцированно и резко оно противостоит «народам», которые «тишины хотят» (III, 179). Помимо самого автора и адресата послания, «мы» включает и «его милого брата», Александра Львовича Давыдова. Последнее обстоятельство лишает вышеупомянутое противопоставление чрезмерной политической остроты и придает ему черты поэтической условности, мягко говоря, поскольку А. Л. Давыдов был фигурой комической и его отношения с Пушкиным не имели того дружеского характера, который соответствовал отношениям Пушкина с его младшим братом.

Наблюдательный современник вспоминал: «Тут же я познакомился с двумя Давыдовыми, родными братьями по матери генерала 12-го года, Н. Н. Раевского. Судя по наружным приемам, эти два брата Давыдовы ничего не имели между собою общего: Александр Львович отличался изысканностью маркиза, Василий щеголял каким-то особым приемом простолюдина; но каждый обошелся со мною приветливо. Давыдовы, как и Орлов <Федор>, ожидая возвращения Михаила Федоровича, жили в его доме... Все они дружески общались с Пушкиным; но выражение приязни Александра Львовича сбивалось на покровительство, что, как мне казалось, весьма не нравилось Пушкину»⁴². Отметим, между тем, что «изыск-

канность маркиза», как называл современник А. Л. Давыдова, делала собрания с его участием похожими не на заседания Конвента, а на салоны эпохи Старого Режима. В недалеком будущем жена А. Л. Давыдова станет адресатом двух весьма злых эпиграмм, а сам Давыдов будет ассоциироваться в пушкинском сознании с Фальстафом, образом трагестийным.

Травестийна вся сцена «[другой] евхаристии», когда «милый брат» надевает «демократический халат» и наполняет чашу «Беспенной мерзлою струей». Конечно, халат появляется в послании не случайно, а как реминисценция из стихотворения П. А. Вяземского «Прощание с халатом» (1817), на что указано Б. М. Гаспаровым⁴³. При том, что облачение в халат у Вяземского имеет несколько иное значение, чем в пушкинском послании Давыдову (у Вяземского это облачение, в котором он пишет стихи), есть много общего в понимании того, что есть халат сам по себе. И у Вяземского, и у Пушкина — это одежда, отличная от модной, носимой в свете, одежда освобождения от условностей и лжи. «На поприще обычаев и мод, / Где прихоть — царь тиранит свой народ, / Кто не вилял? <...>»⁴⁴. Это признание сродни признанию Пушкина в лицемерии. Таким образом, и у Вяземского, и у Пушкина надевание халата означает переход от лицемерия к истинным чувствам.

Переодевание — чрезвычайно важный мотив пушкинского поведения весны 1821 года. Как вспоминали кишиневские старожилы: «Пушкин ... очень часто стал появляться в самых разнообразных и оригинальных костюмах. То, бывало, появляется он в костюме турка, в широчайших шароварах, в сандалиях и с феской на голове, важно покуривая трубку, то появится греком, евреем, цыганом»⁴⁵; или: «Бывало Пушкин часто гулял в городском саду. Но всякий раз он переодевался в разные костюмы... Серб или молдаван. В другой раз смотришь — уже Пушкин турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает как жид...»⁴⁶. Переодевание в национальный костюм — это для Пушкина средство своеобразного вживания в природу того народа, костюм которого он надевал, своего рода культурное путешествие. Это также проявление «байронизма», поскольку Байрон был известен в Европе не только своим

интересом к Востоку, но и своим портретом в албанском национальном костюме. В начале греческого восстания вся Европа обождала шлем в древнегреческом стиле, который заказал себе английский поэт. Явление «Байрона» вообще ассоциировалось у Пушкина со своеобразным маскарадом, как Пушкин писал в своей статье «О драмах Байрона» в 1827 году: «Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею...» (XI, 51).

И если об августе — сентябре 1820 года, когда создавалось стихотворение «Погасло дневное светило...», в позднейшей публикации определенное Пушкиным как «подражание Байрону», еще нельзя было говорить о серьезном знакомстве Пушкина с творчеством Байрона, то в марте 1821 года это можно было определенно утверждать. Как показало исследование В. Д. Рака, к этому времени, а именно между серединой октября 1820 года и февралем 1821 года, до Пушкина дошли сочинения английского поэта во французских переводах, изданные А. Пишо и Э. де Салем⁴⁷. В конце марта 1821 года в письме А. А. Дельвигу Пушкин пишет другу: «Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая — твой истинный удел», — и добавляет: «умертви в себе ветхого человека» (XIII, 26). Переодевание и стало своего рода «умертвлением ветхого человека».

Интерес к восточным культурам определил интерес Пушкина к восточным религиям, исламу и иудаизму. Это тоже своего рода байронизм, но не менее того результат первого непосредственного знакомства Пушкина с евреями и мусульманами, поскольку Кишинев и Крым, соответственно, были местами их компактного проживания.

При этом, утверждение определенного равноправия мировых монотеистических религий — важнейший тезис произведения, которое было весьма актуально для Пушкина весной 1821 года; мы имеем в виду «Войну богов» Парни. Именно поэма Парни включает в себя историю о том, как шесть праведников разных конфессий — магометанин, иудей, лютеранин, квакер, католик и деист — оказываются перед воротами рая, в котором каждый из них находит себе «уголок»⁴⁸. Примечательна исповедь деиста:

— Mais cependant quelle fut ta croyance?
— L'âme immortelle, un Dieu qui recompense
Et qui punit; rien de plus

(— И все же, какова была твоя вера?
— Бессмертная душа, Бог, что воздает
И карает, а более — ничего)⁴⁹.

В 1824 году в известном письме, в котором поэт признавался в том, что «берет уроки чистого афеизма», Пушкин определил афеизм как систему, не признающую Творца и бессмертие души (XIII, 92). Но это то, от чего поэт был, возможно, готов отказаться только в 1824 году. Весной 1821 года вера в бессмертие души и в Творца сомнению не подвергалась, но черты конфессионального безразличия, в соответствии с исповедью деиста из «Войны богов», имели место.

О «Войне богов» как об источнике «Гавриилиады», писавшейся одновременно с посланием Давыдову, известно давно⁵⁰. Между тем, стихотворение также содержит не отмеченную цитату из Парни; так, строка послания «сын птички и Марии» есть автоцитата из «Гавриилиады» и одновременно реминисценция из «Войны богов»: «Fils d'un pigeon, nourri dans une étable...» (Сын голубя, вскормленный в яслях...)⁵¹.

Поэма Парни включает в себя и описание таинства евхаристии в пародийном ключе:

Bois maintenant; et n'en crois pas tes yeux,
Car ce vin-là... — Le Falerne vaut mieux.
— C'est cependant un Dieu que tu digères...

(Пей теперь и не верь своим глазам,
Ибо это вино... — Фалернское получше.
— Однако, ты Бога поглощаешь...)⁵².

Отличительная особенность евхаристии, по Парни, как и у Пушкина, — плохое вино.

В «Войне богов» есть и явно выраженный политический аспект, и к этому произведению может восходить образ «народов» из послания Давыдову, любящих тишину и ярмо больше, чем свободу:

Mais ces valets, bénissant l'esclavage,
Vexés, battus, ne regiment jamais...

(Но эти слуги, благославляя рабство,
Притесняемые, битые, никогда не противятся...)⁵³.

Актуальность поэмы Парни для Пушкина весной 1821 года очевидна. При этом, вопреки отмеченному сходству, идеологически позиции Пушкина и Парни не тождественны, и отношение Пушкина к Всевышнему значительно более личное, чем дистанцированный от Творца деизм Парни.

Об этом, как нам представляется, свидетельствуют случаи «скандального» поведения Пушкина в страстную неделю 1821 года. Так, И. П. Липранди вспоминал: «Попугая в стоявшей клетке на балконе <Инзова> Пушкин выучил одному бранному молдаванскому слову. <...> В день Пасхи 1821 года преосвященный Димитрий (Сулима) был у генерала <...> Димитрий подошел к клетке и что-то произнес попугаю, а тот встретил его помянутым словом, повторяя его и хохоча. Когда Инзов проводил преосвященного, то <...> с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим сказал Пушкину: “Какой ты шалун! преосвященный догадался, что это твой урок”. Тем все и кончилось»⁵⁴. А вот свидетельство о поведении Пушкина в церкви: «Митрополит часто приезжал с Инзовым на богослужение. Инзов стоит впереди, возле клироса, а Пушкин сзади, чтобы Инзов не видел его. А он станет, бывало, на колени, бьет поклоны, — а между тем делает гримасы знакомым дамам, улыбается или машет пальцем возле носа, как будто за что-нибудь журит и предостерегает»⁵⁵. К Страстной неделе 1821 года относится и такой эпизод: «Раз, в страстную пятницу, входит дядя (арх. Ириней) в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. — Чем это вы занимаетесь? — Читаю, говорит, историю одной статуи. Дядя посмотрел на книгу, а это было евангелие... Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам»⁵⁶.

Случаи, которые мы привели выше, конечно, не свидетельствуют о том, что весной 1821 года конфессиональное сознание Пушкина находилось за пределами веры или тяготело к спокойному и

отстраненному отношению к Творцу, характерному для деизма. Отношение Пушкина к Всевышнему — это личная обида, определенная тем, что Творец оставил его, тем более страстная, что поэт претендует на личные взаимоотношения с Творцом. Поэтому выражение неверия в милосердие Божие, выраженное в послании Давыдову, не столько кощунство, сколько богоборчество, сродни поведению ребенка, стремящегося привлечь внимание взрослого плохим поведением.

4

Послание Давыдову необходимо воспринимать и комментировать в контексте пушкинского публичного поведения весны 1821 года; отмеченная выше особенность стихотворения — сочетание религиозного и политического вольномыслия — сильнее и прежде всего проявилась именно в поведении.

В марте — мае 1821 года Пушкин посылает в Петербург Карамзину свое стихотворение «Кинжал». Историк был гарантом договоренности, в соответствии с которой император обязывался вернуть поэта в Петербург в течение года, а поэт обещал не писать ничего против правительства не менее двух лет. И вот, на исходе года, когда уже становилось ясным, что император не выполнил своего обещания, поэт совершает поступок, который символизирует то, что и он считает себя свободным от своего обязательства. В 1825 году, добиваясь прекращения Михайловской ссылки, Пушкин писал Жуковскому: «Я обещал Н.<иколаю> М.<ихайловичу> <Карамзину> два года ничего не писать противу правительства и не писал. *Кинжал* не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно» (XIII, 167). Конечно, у Пушкина были серьезные основания утверждать, что смысл стихотворения, определяемый творческим «намерением» автора, не сводится к выражению политического радикализма, но правда и то, что в контексте пушкинского публичного поведения весны 1821 года стихотворение выглядело как вызывающе революционное⁵⁷.

Если до конца марта 1821 года оппозиция Пушкина по отношению к «порядку вещей» не имела ярко выраженного публичного характера, то с конца марта 1821 года она этот характер приобрела, напоминая то «площадное вольнодумство», в котором А. И. Тургенев винил поэта в последние месяцы его петербургской жизни.

Именно к весне 1821 года относится донесение секретных агентов о том, что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство»⁵⁸. Кишиневский собеседник поэта, П. И. Долгоруков, оставил свидетельство о, пожалуй, самом радикальном выражении «площадного вольнодумства» Пушкина, сделанном поэтом среди кишиневских чиновников, за столом у И. Н. Инзова: «На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»⁵⁹. Несомненно, такого рода высказывания (хотя мы и не утверждаем, что именно это) заставили современников приписать Пушкину авторство следующего четверостишия: «Мы добрых граждан позабавим / И у позорного столпа / Кишкой последнего попа / Последнего царя удавим» (II, 488), которое, как определенно доказал В. Д. Рак⁶⁰, Пушкину не принадлежало.

Поступки поэта публика приравнивала к его творчеству. Более того, весной 1821 года реакция на поступки поэта опережала реакцию публики на его произведения, поскольку широкий круг русских читателей начала двадцатых годов мог судить об оппозиционном настроении поэта (особенно в конфессиональной сфере) исключительно по его поступкам. Дело в том, что вольнолюбивые его произведения («Кинжал», «Вольность», «Деревня», эпиграммы, дружеские послания) были известны относительно узкому кругу лиц, тогда как экстравагантные поступки поэта сразу становились достоянием самой широкой публики. Пав. П. Вяземский вспоминал: «Сведения о каждом его <Пушкина> шаге сообщались во все концы России. Пушкин так умел обставить все свои выходки, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолоду впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходки много

содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное»⁶¹. Важнейшим средством самовыражения Пушкина этого периода стала переписка, своеобразный синтез творчества и поведения. Именно здесь тема изгнания получила наиболее «кощунственное» выражение. Так, в письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года, в котором содержится просьба вернуть его из ссылки, поэт называет Кишинев островом Пафмосом, а себя самого — пишущим «сочинение во вкусе Апокалипсиса», имея в виду «Гавриилиаду». При этом поэту важно подчеркнуть и то, что он, подобно Иоанну, сослан, и то, что и на него, как на Иоанна, снизошел святой дух.

А о том, что его при написании «Гавриилиады» «Всевышний осенил Своей небесной благодатью» (2, 203), поэт говорит в стихотворном наброске «Вот Муза, резвая болтунья...», который, по атрибуции С. М. Бонди, есть черновик послания Вяземскому при посылке «Гавриилиады» и также датируется маем 1821 года (II, 1099).

Именно весной 1821 года в ту пору, когда поведение поэта носит характер шокирующего современников кощунства, поэтическое вдохновение сравнивается с «огнем небесным» (2, 183). Нам представляется, что это не просто кощунство; протест, выражаемый поведением Пушкина, далеко выходил за политические рамки и носил богоборческий характер, не случайно временем для него были выбраны Страстная неделя и Пасха. Осознание того, что он обманут и обречен жить в Кишиневе вместо того, чтобы быть возвращенным в Петербург, заставили Пушкина вести себя столь вызывающим образом. Весной 1820 года тактика вызова привела к тому, что Пушкин сумел защитить свое доброе имя от инсинуаций. Но тогда объектом его действий были только «земные власти». Теперь же, весной 1821 года, недовольство судьбой было столь велико, что Пушкин бросает вызов и «небесному царю». И это мало похоже на афеизм или на ритуальное пасхальное кощунство, это поведение человека, ощущавшего с Всевышним свою связь и осмелившегося напомнить Ему о Его неправоте. Если не генетически, то типологически такое поведение сродни поведению Иова.

Публичное поведение поэта во многих случаях стало важнейшим контекстом, определившим восприятие его произведений читающей публикой. Что же касается внелитературной среды, то здесь публичное поведение поэта приобрело самостоятельное эстетическое значение. Возможно, что таким образом оказывались задействованными представления о профетической роли поэта, сложившиеся в русском обществе⁶². Так провинциальный, военный, в силу своего пограничного положения, лишенный всякой литературной жизни Кишинев признал за Пушкиным право вести себя так, как он себя вел, потому что, с точки зрения провинциальной публики, так и должен был себя вести настоящий поэт: «Обритый после болезни, Пушкин носил ермолку. Славный стихами, страшный дерзостью и эпиграммами, своевольный непослушный, и еще в ермолке — он производил фурор. Пушкин был предметом любопытства и рассказов на юге и по всей России»⁶³.

Что же касается самого Пушкина, то он, формируя доступными ему средствами биографический контекст своих произведений, пытался определять их восприятие.

Это и есть в чистом виде интересующий нас автобиографизм.

5

В творческой истории послания В. Л. Давыдову одним из нерешенных вопросов является вопрос о том, почему стихотворение не было отправлено адресату. Это невозможно объяснить незаконченным характером послания, оно вполне закончено.

Вероятно, что-то развело или даже поссорило поэта с В. Л. Давыдовым, по крайней мере, биография поэта не содержит в себе следов дружбы с декабристом после марта 1821 года.

Можно констатировать, что поводов к возможному охлаждению могло быть несколько, и прежде всего злые эпиграммы, которые Пушкин написал на брата Давыдова, А. Л., и на жену последнего, А. А. Давыдову. Но могли быть и другие причины; о том, что в отношениях поэта с декабристом имели место серьезные разногласия, свидетельствовал И. И. Горбачевский: «Его <Пуш-

кина> прогнал от себя Давыдов»⁶⁴. С Пушкиным Горбачевский знаком не был, но В. Л. Давыдова по сибирской каторге и жизни на поселении знал хорошо.

Добавим от себя еще одну вероятную причину расхождений Пушкина с В. Л. Давыдовым. Радикализм Пушкина 1821 года мог восприниматься им не как патриотическое чувство, а как выражение личной обиды на императора за ссылку. И конечно, экстравагантное поведение кощунствующего поэта никак не вписывалось в рамки коллективного поведения декабристов, в особенности тогда, когда просветительские установки сменились конспиративными.

Отметим, что стихотворение писалось уже в то время, когда благодушные дискуссии Союза Благоденствия отходили в прошлое. В. Л. Давыдов был исключительной фигурой в пушкинском окружении именно потому, что он был деятельным сторонником конспирации. Как конспиратор, он противостоял другим радикалам, знакомым Пушкина, составившим Кишиневский кружок Союза Благоденствия — М. Орлову, В. Раевскому, К. Охотникову. Кишиневские декабристы и в 1821–1822 годах продолжали действовать в рамках принципов Союза Благоденствия, сохранив в своем поведении просветительский и относительно открытый характер политического самовыражения. Но для конспираторов из Южного общества экстравагантный либертинаж Пушкина был опасен и чужд.

1. См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 554–556; *Якобсон Р. О.* Раскованный Пушкин // Он же. Работы по поэтике. М., 1987. С. 235–240; *Кибальник С. А.* Об автобиографизме пушкинской лирики Южного периода // Русская литература. 1987. № 1. С. 89–99; *Лотман Ю. М.* К проблеме «Данте и Пушкин» // Он же. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 332–333; *Гаспаров Б. М.* Причастие «нового Завета» (Послание «В. Л. Давыдову») // Он же. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999. С. 205–212; *Березкина С. В.* Пушкин в Михайловском. О духовном надзоре над поэтом (1824–1826) // Русская литература. 2000. № 1. С. 3–20.

2. *Живов В. М.* Кошунственная поэзия в системе русской культуры XVIII — начала XX веков // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 646.

3. *Живов В. М.* Кошунственная поэзия... С. 644, 656–671.

4. *Лотман Ю. М.* Несколько слов о статье В. М. Живова... // Он же. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 1996. С. 761, 763.

5. *Паперный В. М.* «Свободы сеятель пустынный...» // Коран и Библия в творчестве Пушкина. Иерусалим, 2000. С. 141–143.

6. См. об этом: *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 91.

7. Рабочая тетрадь 1820–1833 гг. (Первая кишиневская). ПД 831 // А. С. Пушкин. Рабочие тетради. СПб.; Лондон. Т. 1. С. 67.

8. См.: *Левичева Т. И.* Письма А. С. Пушкина Южного периода (1820–1824). Симферополь, 1999. С. 61–65.

9. Купюра трех последних слов в письме Пушкина А. И. Тургеневу восстановлена по оригиналу письма, хранящемуся в Рукописном отделе Пушкинского Дома (РО ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. ПД 429).

10. См.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Изд. 2-е, доп. и перераб. Л., 1988. С. 310. В то же время Малое академическое собрание сочинений поэта считает, что эпиграмма адресована все-таки М. Ф. Орлову (*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. М., 1957. Т. 1. С. 503).

11. См.: *Шилов Д. Н.* Государственные деятели Российской империи. Библиографический справочник. СПб., 2001. С. 483.

12. См.: *Боровой С. Я.* М. Ф. Орлов и его литературное наследие // Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 271.

13. *В. Э. Вацуро.* <Комментарий к стихотворению «Орлов с Истоминой в постеле»> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 2. Кн. 1 (в печати).

14. *Лонгинов М. Н.* <Замечания к тексту стихотворения «Орлов с Истоминой в постеле»> // РГБ. Ф. 233. К. 162. Ед. хр. 1. Л. 16. (Тетрадь Лонгинова-Полторацкого). Указано Е. О. Ларионовой, ей же автор настоящей статьи обязан знакомством с не опубликованным пока комментарием В. Э. Вацуро (см. выше).

15. См.: *Томашевский Б. В.* «Таврида» Пушкина // Утаенная любовь Пушкина. СПб., 1997. С. 213–224.

16. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 43–44.

17. Восстание декабристов. Т. 10. М., 1953. С. 199.

18. См. наст. изд., второй раздел, гл. «Кишиневский кружок декабристов (1820–1821)» — С. 141–147.

19. См.: *Валконский С. М.* О декабристах (по семейным воспоминаниям) // Рус. Мысль. 1922. Май. С. 71.

20. *Вацуро В. Э.* «Александр Радищев» (статья для Пушкинской энциклопедии) // НЛО. 2000. № 2 (42). С. 175.

21. *Лотман Ю. М.* Источники сведений Пушкина о Радищеве // Он же. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 782, 783.

22. *Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 228.

23. О восприятии Гельвеция в России см.: *Радлов Э. Л.* Гельвеций и его влияние в России. Пг., 1917; *Серман И. З. И. Ф.* Богданович — журналист и критик // XVIII век. Сб. 4. М.; Л., 1959. С. 89–90; *Лотман Ю. М.* Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // Он же. Избранные статьи. В 3 т. Т. 2. Таллинн. С. 129–133; *Кучеренко Г. С.* Сочинение Гельвеция «Об уме» в переводе Е. Р. Дашковой // XVIII век. Сб. 21. СПб., 1999. С. 215–227.

24. *Лотман Ю. М.* Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века // Он же. Русская литература и культура Просвещения. М., 1998. С. 21.

25. Цит. по: *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 15.

26. *Батюшков К. Н.* Опыт в стихах и прозе. М., 1978. С. 185.

27. *Киреевский И. В.* Собр. Соч. Т. 2. С. 225.

28. *Раевский В. Ф.* Рассуждение о рабстве крестьян // Он же. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. Иркутск, 1980. С. 95. Далее при ссылках на это издание — Раевский. Материалы (с указанием тома римской цифрой и страниц — арабскими).

29. Там же. С. 376. Примеч. 20.

30. *Пестель П. И.* Русская Правда // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 2. С. 76.

31. Там же. С. 78.

32. *Радищев А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 2. М.; Л., 1941. С. 110

33. *Гельвеций К. А.* Об уме // Он же. Сочинения. М., 1974. Т. 1. С. 145.

34. *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910. С. 83.

35. Гельвеций К. А. Указ. соч. С. 148.

36. Там же. С. 154.

37. Там же. С. 534.

38. Там же.

39. Там же. С. 562

40. *Робестьер М.* Избранные произведения: В 3 т. М., 1965. Т. 2. С. 141–142.

41. *Гельвеций К. А.* Об обвинениях в материализме и в безбожии и об абсурдности этих обвинений // Он же. Сочинения. Т. 2. М., 1974. С. 556.

42. *Горчаков В. П.* Выдержки из дневника об А. С. Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 231.

43. *Гаспаров Б. М.* Указ. соч. С. 210.

44. *Вяземский П. А.* Прощание с халатом // Он же. Стихотворения. (Библиотека поэта. Большая серия). Л., 1986. С. 108–109.

45. Со слов кишиневских старожилов // Русский архив. 1899. Т. 2. С. 344.

46. *Дыдицкая П. В.* (По записи Льва Мацеевича) // Русская старина. 1878. Т. 22. С. 499.
47. *Рак В. Д.* Раннее знакомство Пушкина с произведениями Байрона // Он же. Пушкин, Достоевский и другие. СПб., 2003. С. 86–87.
48. *Raynу E.* «La guerre des dieux». Paris, 1807. P. 47–49. (См. также русский перевод В. Г. Дмитриева: *Парни Э.* Война богов. Л., 1970).
49. *Ibid.* P. 49.
50. *Тамашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 434.
51. *Raynу E.* Op. cit. P. 8.
52. *Ibid.* P. 111.
53. *Ibid.* P. 148.
54. *Литранди И. П.* Из дневника и воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. СПб., 1998. С. 302–303.
55. *Дыдицкая П. В.* Указ. соч. С. 499.
56. Там же.
57. См. наст. изд., раздел 1, гл. «Идейная проблематика стихотворения Пушкина “Кинжал”» (с. 85–86).
58. Из донесений секретных агентов // Русская старина. 1883. Т. 40. С. 657.
59. *Долгоруков П. И.* 35-й год моей жизни или два дни ведра на 363 ненастья // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 354.
60. *Рак В. Д.* О четверостишии, приписанном Пушкину // Он же. Пушкин, Достоевский и другие: (Вопросы текстологии, материалы к комментариям): Сб. статей. СПб., 2003. С. 42–63.
61. *Вяземский П. А.* Собр. соч. СПб., 1893. С. 504.
62. См.: *Живов В. М.* Указ. соч. С. 662.
63. [*Попов М. М.*] Александр Сергеевич Пушкин // Русская старина. 1874. № 8. С. 687.
64. Цит. по: *Эйдельман Н. Я.* Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979. С. 148. В издание «Записок» и писем И. И. Горбачевского (*Горбачевский И. И.* Записки. Письма. М., 1963) эта фраза не вошла.

Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина периода южной ссылки

Дружеское послание — самый продуктивный жанр пушкинского поэтического творчества периода южной ссылки: из ста двадцати трех написанных в это время стихотворений сорок восемь — дружеские послания¹. Столь сильное пристрастие к этому жанру характерно для всех поэтов, связанных установками на сотворчество, на различные формы литературной игры². Так, в начале 1820-х годов относительно много посланий в поэзии Дельвига и Боратынского и гораздо меньше в творчестве Жуковского, хотя в 1810-е годы, в пору активной работы «Арзамаса», их удельный вес был значительным и у него. Менее свойственны дружеские послания Рылееву и Кюхельбекеру. В декабристской поэзии, пожалуй, только у В. Ф. Раевского этот жанр занимает заметное место.

Наибольшее распространение послание получило в «кружковой поэзии», причем в таких кружках, где занятие литературой сливалось с литературным бытом. Может быть, поэтому для Вольного общества любителей российской словесности, где строго разделялась «жизнь» и «литература», дружеское послание в целом нехарактерно, тогда как у поэтов «Арзамаса» это любимейший жанр.

Стилистические особенности дружеского послания как камерного жанра, позволяющего вводить в ткань стихотворения всевозможные реалии, известные только автору послания и его адресату, давали возможность создавать его второй план. Таким образом, поэтические формулы дружеского послания могли приобретать характер отсылок к реальным событиям. Различное соотношение условно-литературного и реально-биографического планов во многом определяло жанровое богатство дружеского послания.

Биографический план явно превалирует над литературным в тех, весьма характерных для пушкинского творчества южного пе-

Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина периода южной ссылки периода, дружеских посланиях, которые возникают в письмах (или так или иначе связаны с письмами) и вплетены в прозаический «разговор». Таковы послания А. А. Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»), Н. И. Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный...»), В. Л. Давыдову.

При этом биографическая ситуация, описанная Пушкиным в посланиях такого рода, может быть достаточно условной. Так, упорно называя места своей бессарабской ссылки «страной, где <...> Овидий мрачны дни влачил» и даже совершая своеобразное паломничество в Аккерман, где, по местному преданию, жил Овидий, Пушкин знает определенно, что Овидия никогда не было ни в Аккермане, ни вообще в Бессарабии³. Так примат биографического над литературным оказывается возможным не в результате ослабления условности литературного плана, а вследствие усиления условности (литературности) плана биографического.

Послание Пушкина «Генералу Пущину» (1821), посвященное одному из близких кишиневских знакомых поэта, члену Союза Благоденствия, организатору масонской ложи «Овидий» Павлу Сергеевичу Пущину (1785–1865) носит, казалось бы, целиком иллюстративный характер.

Первые строки послания: «В дыму, в крови, сквозь тучи стрел / Теперь твоя дорога...» — переносят нас в дни лета 1821 года, когда военные друзья Пушкина с нетерпением ожидали выступления русской армии в защиту восставшей Греции (стихотворение датируется началом июня 1821 года).

Уподобление Пущина Квируге («Грядущий наш Квируга») определяется принадлежностью генерала к кишиневскому кружку Союза Благоденствия. Квируга — видный деятель правого крыла испанской революции 1820 года и масон.

Последнее обстоятельство, видимо, и определило переход к масонской теме, завершившей стихотворение: «И скоро, скоро смолкнет брань / Средь рабского народа, / Ты молоток возьмешь во длань / И воззовешь: свобода!» (II, 204).

Таким образом, послание так хорошо вписывается в известный нам исторический контекст, что дает право, например, на такое толкование: «Кишиневской управе, как, впрочем, вероятно, и Туль-

чинской, переворот никак не представлялся “мирным”, торжественным шествием войск по улицам и площадям столицы среди каскада цветов и ликующей толпы собравшихся зрителей. “В дыму, в крови, сквозь тучи стрел теперь твоя дорога”, — обращались пушкинские строки к “будущему Квириге”...»⁴.

Конечно, можно спорить с некоторой прямолинейностью подобной оценки, но, в сущности, она справедлива, и перед нами еще одно, на этот раз поэтическое, доказательство радикальности и готовности к действию кишиневских декабристов, ярчайшим представителем которых являлся П. С. Пущин.

Однако уверенность в подобной интерпретации серьезно подрывается коротеньким замечанием первого публикатора послания, П. В. Анненкова, который указал на иронический характер стихотворения⁵.

В чем же усмотрел иронию «первый пушкинист»? Может быть, в оксюморонном сочетании «дыма» и «туч стрел», содержащемся в первой строке, сочетании — об этом прекрасно знали и Пушкин, и генерал Пущин — совершенно невозможном и сразу переводящем ситуацию из реальной в условную.

Заметим также, что приведенная строка — перифраза из «Певца во стане русских воинов» В. А. Жуковского: «И мчит грозу ударов Сквозь дым и огонь, по грудам тел, В среду врагов Кайсаров». Да и «оформлено» послание как строфа из «Певца» Жуковского: имитирует ее основные признаки — 12 строк, чередование четырех- и трехстопного ямба. И сама ситуация — поэт обращается к генералу, который должен идти в бой — буквально повторяет ситуацию, воспроизведенную Жуковским⁶.

Если предположить, что восприятие стихотворения возможно только в этом условном ключе, то останется непонятным, в чем же все-таки П. В. Анненков усмотрел иронию пушкинских строк. Ведь соотнесение ситуации, воспроизведенной в стихотворении, с реальной, сложившейся в июне 1821 года, казалось бы, не дает повода к иронии. Но это только на первый взгляд. На самом деле поводом к написанию послания, несомненно, послужили курьезные обстоятельства приема в масонскую ложу «Овидий» болгарского архимандрита Ефрема. И. П. Липранди вспоминал, что во время

Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина периода южной ссылки

обрядя приема телохранители Ефрема вообразили, «что архимандриту их угрожает опасность. Подстрекнутые к сему арнауками <...> болгары бросились толпой к двери подвала (дома, где находилась ложа. — *И. Н.*) <...> выломали дверь и через четверть часа с триумфом вывели, по мнению их, спасенного архимандрита, у которого наперерыв тут же каждый просил благословения. Это было до захода солнца, и вечером весь город знал о том. Рассказывалось много сказок, повредивших Пущину. Излишне говорить о подробностях. Пушкин знал из первых, ибо он случился дома, когда Инзову донесли об этом»⁷.

Событие, о котором рассказывает мемуарист, произошло в начале июня⁸; привязка послания «Генералу Пущину» к этому событию позволяет точнее его датировать.

Таким образом, ирония возникает при соотнесении «высокой» ситуации, воссозданной в стихотворении, с реальной анекдотической.

Чистая случайность, что обстоятельства творческого генезиса послания Пущину реконструируются с относительной полнотой и точностью. В большинстве случаев биографическая и ситуативная обусловленность пушкинских стихотворений выпадает из поля зрения.

Послание Пушкина Ф. Н. Глинке (1822) традиционно не относится к числу проблемных стихотворений поэта. В тех немногих специальных работах, которые посвящены этому произведению, анализируются прежде всего стилистические особенности послания⁹. Вопрос же о соотношении условной поэтической ситуации с реальной биографической, насколько нам известно, не ставился никем¹⁰. Между тем, он, несомненно, нуждается в постановке, так как высылка Пушкина из Петербурга — основная тема послания Глинке — изображается здесь несколько иначе, чем в ряде других пушкинских стихотворений 1820—1822 годов.

Эта важнейшая тема встречается по крайней мере в десяти пушкинских стихотворениях южного периода¹¹. Мотив добровольного отъезда сменяется в них темой гонений верховной власти, чему соответствует оценка своего пребывания на Юге как «изгнания»¹². И только в послании Глинке в качестве причины

вынужденного отъезда Пушкина из «Афин» (Петербурга) называется «остракизм» («Когда среди оргий жизни шумной / Меня постигнул остракизм...»).

Остракизм обозначает здесь изгнание не столько по воле верховной власти, сколько изгнание по желанию демократического большинства («толпы безумной»). Именно таким образом был изгнан из Афин греческий полководец Аристид, упоминаемый Пушкиным в стихотворении¹³.

Итак, не столкновение с властью, что традиционно, а конфликт с «безумной» толпой называет Пушкин в качестве причины своего отъезда из Петербурга. Это сближает послание Глинке с посланием к Чаадаеву, написанным в декабре 1821 года. Заметим, однако, что в последнем стихотворении рассказывается не столько о самой высылке, сколько о тяжелой ситуации, хронологически немного опередившей изгнание, сложившейся вследствие клеветнических слухов, пущенных в обществе Ф. Толстым («Американцем»).

Роль Чаадаева в послании к нему и роль Глинки в разбираемом стихотворении оцениваются Пушкиным сходным образом (Ср.: «Мне ль было сетовать о толках шалунов, / О лепетаньи дам, зоилов и глупцов / И сплетней разбирать игривую затею, / Когда гордиться мог я дружбою твоею?» (Чаадаеву — II, 188–189) и «Без слез оставил я с досадой / Венки пиров и блеск Афин, / Но голос твой мне был отрадой, / Великодушный Гражданин!» (Ф. Н. Глинке — II, 273)). И это при том, что реальная роль, которую сыграл Глинка в пушкинской жизни весной 1820 года, несопоставима по значимости с той поддержкой, которую оказал поэту Чаадаев.

Остается непонятным, чем ситуативно обусловлено желание Пушкина в середине 1822 года обратиться с посланием к человеку, с которым его не связывали ни близкие дружеские связи, ни общность творческих установок. Более того, и раньше, и позже отношение Пушкина к Глинке было весьма ироническим, достаточно вспомнить эпиграмму «Наш друг *Фита*, Кутейкин в эполетах...» (1825; XIII, 137). Зачем, наконец, Пушкину было нужно в середине 1822 года описать ситуацию изгнания как конфликт не с властью по преимуществу, а с «толпой безумной»?

Комментаторы пушкинского послания Глинке определяют стихотворение как ответ на послание Глинки поэту¹⁴, опубликованное в сентябре 1820 года в журнале «Сын отечества». Однако стихотворение Глинки было написано еще в 1819 году, и автор не упустил это обозначить в специальном примечании: «Стихи сии написаны за год перед сим, по прочтении двух первых песней Руслана и Людмилы»¹⁵.

И если считать, что послание Пушкина — это не более как ответ поэта на обращение к нему Глинки, то не может не вызвать удивления тот факт, что пушкинское стихотворение не только не содержит в себе никаких переключек с посланием Глинки, но и отправлено последнему только в первой декаде января 1823 года, т. е. спустя почти четыре года после обращения Глинки к Пушкину и три года после публикации этого обращения, причем не прямо, а через Льва Сергеевича Пушкина, отнюдь не отличавшегося чрезмерной скромностью.

Затем следует обратить внимание на то обстоятельство, что стихотворение датируется приблизительно. Черновик послания (ПД, № 833. Л. 16–16 об.) содержит в себе только первые восемь строк, последние восемь появились только в окончательном варианте.

Именно эти последние строки переводят стихотворение в совершенно новый план, от воспоминаний о прошедшем к настоящему:

Пускай Судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменяла мне любовь,
В моем изгнании позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны — если буду
Тобой оправдан, Аристид.

(II, 273)¹⁶

При этом, если в первой половине стихотворения говорится о толпе «безумной», то в последней — об измене дружбы, и если «раньше» поэт легко переживал ситуацию остракизма («Без слез

оставил я с досадой / Венки пиров и блеск Афин...»), то события, о которых говорится затем, переживаются значительно острее, и речь здесь идет уже не о досаде, а об обиде («В моем изгнании позабуду / Несправедливость их обид»). Но что сохраняется и в первой части стихотворения, и в последней, написанной, видимо, с перерывом не менее чем в полгода, — это высокая оценка Ф. Н. Глинки, к справедливому суду которого поэт обращается во второй раз.

Кто же эти «они», чьи несправедливые обиды переживает поэт в конце 1822 года? Почему он обращается именно к Ф. Н. Глинке? То есть, иными словами, какой биографической ситуацией обусловлено послание? Представляется, что, несмотря на условный характер стихотворения, здесь имеются в виду вполне определенные обстоятельства, возникшие, видимо, в течение 1822 года, которые сам Пушкин был склонен соотносить с событиями весны 1820 года.

На Юге в жизни Пушкина появился человек, чья роль в биографии поэта соотносима с ролью, которую в Петербурге играл в пушкинской судьбе Ф. Н. Глинка. Таким человеком стал поэт-декабрист В. Ф. Раевский, которого сам Пушкин называл «спартанцем»¹⁷.

В 1822 году дружба с Раевским переживала тяжелый период. И до этого времени основной формой взаимоотношений Пушкина с Раевским была полемика, однако именно в 1822 году Раевский обратился к Пушкину с рядом эстетических советов, в которых весьма нелестно для поэта оценивалась его творческая деятельность:

Ты знал ли радость — светлый мир,
Души награду непорочной?
Что составляло твой кумир —
Добро или гул хвалы непорочной?
<...>
Одним исполненный добром
И слыша стон простонародный,
Сей ропот робкий под ярмом,
Алкал ли мести благородной?¹⁸

Эти упреки были тем тяжелее для Пушкина, что они были адресованы из стен Тираспольской крепости, где Раевский находился в заключении.

Суровые строки Раевского произвели на Пушкина глубокое впечатление. Об этом свидетельствует то, что в течение 1822 года поэт несколько раз принимался за ответное послание, включая в него антитезы просветительским рецептам Раевского.

Послания были не закончены, но работа над ними привела Пушкина к созданию таких стихотворений, как «Бывало в сладком ослепленье...», «Свободы сеятель пустынный» и «Демон». Несомненна тематическая связь между посланиями Пушкина к Раевскому и Ф. Н. Глинке: «Я говорил пред хладною толпой / Языком Истины [свободной], / Но для толпы ничтожной и глухой / Смешон глас сердца благородный...» (II, 266)¹⁹.

1822 год стал рубежом дружбы Пушкина с Раевским, уже в следующем году Пушкин откажется от предложенного ему генералом Сабанеевым свидания с «первым декабристом»²⁰. И хотя этот отказ, возможно, был отчасти мотивирован осторожностью поднадзорного поэта, определенное охлаждение по отношению к Раевскому и его программе могло также сыграть здесь свою роль.

Сложно складывались взаимоотношения Пушкина и с другими южными декабристами — М. Орловым, К. Охотниковым, В. Л. Давыдовым.

В этих условиях обращение к Ф. Н. Глинке представляется глубоко мотивированным, так как Пушкин знал о важной роли, которую играл адресат его послания в петербургской управе Союза Благоденствия. Напомним, что именно Глинка в свое время выступал как посредник между Пушкиным и Союзом²¹ (в 1823 году реальная роль Глинки в Северном обществе была уже совсем иной).

Значимо было и то, что Пушкин отправил послание не Глинке непосредственно, а через брата Льва, что, как Пушкин прекрасно понимал, делало стихотворение известным широкому кругу петербургских знакомых.

Бросается в глаза, что, рожденные на стыке «жизни» и «литературы», послания были предназначены для бытования во внелитературной сфере в не меньшей степени, чем в литературной. При

этом знание контекста, сопутствующего таким стихотворениям, было необходимо для их восприятия не только в условном, но и в биографическом ключе.

Дружеские послания периода южной ссылки в основном сохраняют стилистику жанра, выработанную поэтами «Арзамаса» и самим Пушкиным в стихотворениях второй половины 10-х годов, но область их бытования существенно меняется. Теперь это не избранный кружок собратьев по перу или литературных единомышленников, а широкий круг людей, иногда довольно далеких от литературы. В тех же случаях, когда пушкинские послания адресованы поэтам, В. Раевскому, Ф. Глинке, в них маркируется не столько эстетическая, сколько биографическая общность. Можно, конечно, предположить, что в процессе общения Пушкина с адресатами его будущих посланий между ними складывалась и определенная эстетическая близость, но во всех случаях она не была той высокой литературной игрой, которая определяла взаимоотношения внутри «Арзамаса» или «Зеленой лампы».

В этих условиях Пушкин обращается к сфере, традиционно не затрагиваемой дружеским посланием, но характерной для его южных друзей не в меньшей степени, чем для петербургских — увлечение литературой. Мы имеем в виду политику, общественную деятельность.

Этот аспект входит в дружеское послание с такой же глубиной, как до того сюда входили перипетии литературной борьбы.

Происходит замечательное по своим художественным результатам вовлечение в интимную лирическую сферу такой проблематики, которая никогда не была характерна для средних жанров вообще. От послания В. Л. Давыдову (1821) к посланиям В. Раевскому (1822) пушкинские стихотворения все более и более насыщаются политической тематикой. Заметим, что этот процесс не проходит безнаказанно для дружеского послания как жанра, так как идеологический момент начинает все более превалировать над биографическим, пока почти полностью не вытесняет его. Так из дружеских посланий вырастает пушкинская «политическая басня» 1823 года «Свободы сеятель пустынный...».

1. Литература о дружеском послании в творчестве Пушкина многообразна, но интересующий нас аспект — о соотношении посланий с внелитературным контекстом — наиболее полно и глубоко рассмотрен в книге В. А. Грехнева «Лирика Пушкина» (Горький, 1985. С. 20–42). Особенно удачным нам представляется введенное исследователем применительно к дружескому посланию понятие «двоемирия», которое характеризует особенности этого жанра как существующего на стыке литературы и литературного быта.

2. См.: *Гинзбург Л. Я.* О лирике. Л., 1974. С. 39–40.

3. См.: *Липранди И. П.* Из дневника и воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 304–305.

4. *Нечкина М. В.* Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 316.

5. *Анненков П. В.* Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. 1799–1826. СПб., 1874. С. 199. (Примеч. 1).

6. К моменту написания пушкинского послания «Генералу Пушкину» в русской литературе уже наметилась традиция пародирования «Певца во стане русских воинов» Жуковского (К. Н. Батюшков — «Певец в беседе Славянороссов» (1813); В. Маслович — «Певец во стане эпикурейцев» (1816); несколько позже появилась пародия А. Е. Измайлова «Наш Милорадович хвала!» (1824)).

7. *Липранди И. П.* Из дневника. С. 295.

8. *Цяловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. Л., 1991. С. 276.

9. *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 144–158.

10. См.: *Замков Н. К.* Пушкин и Ф. Н. Глинка // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 29–30. Пг., 1918. С. 78–97; *Лернер Н. О.* Из отношений Пушкина и Ф. Н. Глинки // Пушкин и его современники. Вып. 7. СПб., 1908. С. 73–76; *Шебунин А. Н.* Пушкин и «Общество Елизаветы» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 1. М.; Л., 1936. С. 53–90; *Костин В. И.* Пушкин и журнал «Соревнователь просвещения и благотворения» // Пушкин: Статьи и материалы. Горький, 1971. С. 66–72; *Касаткина В. Н.* Поэтический диалог А. С. Пушкина с Ф. Н. Глинкой и В. Ф. Раевским // Жанрово-стилевое взаимодействие лирики и эпоса в русской литературе XVIII–XIX веков. М., 1986. С. 36–53.

11. «Погасло дневное светило» (1820), «Юрьеву» (1820), «Овидию» (1821), из письма к Н. И. Гнедичу (1821), из письма к В. Л. Пушкину (1821), «Моей чернильнице» (1821), «Чаадаеву» (1821), «Кто видел край...» (1821), из письма к Я. Н. Толстому (1822), В. Ф. Раевскому (1822). Ф. Н. Глинке (1822).

12. «В изгнание скучном, каждый час / Горя завистливым желаньем, / Я к вам лечу воспомянем...» (из письма к Я. Н. Толстому. — XIII, 47); «И страстью воли и гоненьем / Я стал известен меж людей» (<В. Ф. Раевскому>. — II, 260) и пр. Подробнее см. в главе «Смывая “печальные строки”...» наст. изд., с. 19–44.

13. Слово «остракизм» встретится в пушкинских произведениях еще лишь однажды, в статье «Джон Теннер» (1836), предназначенной для 3-й книжки

1. Лирика изгнания

«Современника» (Словарь языка Пушкина. М., 1959. Т. 3. С. 174); «Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом <...> большинство, нагло притесняющее общество <...> талант из уважения к равенству принужденный к добровольному *остракизму*» (XII, 104). Характерно, что и здесь слово «остракизм» не только употребляется в сходном контексте, но и ассоциативно соотносится со словом «эгоизм».

14. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Л., 1977. Т. 2. С. 366 (прим. Б. В. Томашевского).

15. Сын отечества. 1820. Ч. 64. С. 231.

16. Заметим, что такая композиция, когда совмещаются два плана — «прошлое», общее с адресатом, и настоящее, содержащее ему антитезу, — характерна для всех посланий Пушкина, адресованных старым друзьям.

17. *Липранди И. П.* Из дневника. С. 286.

18. *Раевский В. Ф.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1967. С. 156.

19. Ср. также со стихотворением «Бывало в сладком ослепленьи...».

20. См.: *Липранди И. П.* Из дневника. С. 337.

21. См.: *Шебунин А. Н.* Пушкин и «Общество Елизаветы». С. 53–90.

*Идейная проблематика
стихотворения Пушкина
«Кинжал»*

Репутация самого революционного произведения Пушкина укрепилась за стихотворением «Кинжал» как в оценках исследователей¹, так и в отзывах современников. Первым стихотворением, проникнутым «суровым якобинством и глубокой ненавистью к существующему строю», назвал «Кинжал» А. Мицкевич². Английский путешественник, Томас Рэйкс, беседовавший с Пушкиным в 1829–1830 гг., определил «Кинжал» как «стихотворение, которое при существующих обстоятельствах ни один деспотический государь не мог бы никогда забыть или простить»³. Французский писатель и журналист Ж. Ф. Ансело, впервые обнаруживший стихотворение (в прозаическом переводе на французский язык)⁴, охарактеризовал «Кинжал» как стихотворение, «которое отличается “республиканским фанатизмом” и может служить примером тех идей, которые бродят в умах русской молодежи. Эти идеи <...> “могли бы привести к преступлению целое поколение”, если бы не “мудрость монарха”»⁵.

Декабрист И. Д. Якушкин, говоря о вольнолюбивых стихотворениях Пушкина, в том числе о «Кинжале», свидетельствовал, что «не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть»⁶. Вопрос о популярности стихотворения среди членов Южного общества был уже неоднократно затронут в различных исследованиях⁷.

Для всех, кто отзывался о «Кинжале», характерно понимание стихотворения как крайне радикального и антиправительственного. Не оспаривая эту точку зрения, заметим, что она противоречит оценке «Кинжала», данной самим Пушкиным в письме к В. А. Жуковскому в 20-х числах апреля 1825 г.: «Я обещал Н.<иколаю> М.<ихайловичу> <Карамзину> два года ничего не писать противу правительства и не писал. *Кинжал* не против правительства писан,

и хоть стихи не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно» (XIII, 167).

Находясь в Михайловской ссылке и добиваясь смягчения своей судьбы, Пушкин был заинтересован в том, чтобы у правительства ослабло впечатление о его политической оппозиционности. Тогда как в 1821 году в момент написания стихотворения, в ином политическом контексте вполне могли возникнуть основания для истолкования стихотворения в радикально-политическом ключе. Важно другое: определенные основания утверждать, что «Кинжал» «не против правительства писан», у Пушкина были, и если поэт мог рассчитывать на наивность перлюстраторов письма, то рассчитывать на наивность Н. М. Карамзина, которому Пушкин послал стихотворение⁸, не приходилось. (Как отмечено выше, восприятие современниками «Кинжала» как ультрареволюционного произведения во многом определялось контекстом пушкинского публичного поведения весны 1821 г.; подробнее см. в главе «Исторический фон послания Пушкина В. Л. Давыдову» наст. изд.).

Действительно, о том, что отношение к стихотворению как исключительно «республиканскому», проникнутому «суровым якобинским духом», неправомерно, свидетельствуют сложность и неоднородность идейных позиций героев «Кинжала». Так, если «Брут вольнолюбивый» — республиканец, убивающий Цезаря за то, что тот унизил республику («Во прахе Рим — сенат»),⁹ то Шарлотта Кордэ, «дева Эвменида» убивает республиканца, якобинца Марата. Что же касается мотивов, по которым член иенского буршеншафта (националистической студенческой организации) Карл Занд убил русского политического агента в Германии А. Коцебу, то они лежат в совсем другой идеологической плоскости, чем мотивы убийств, осуществленных Бругом и Ш. Кордэ. Все три «тираноубийства» сходны однако в том отношении, что восстанавливают традиционный порядок, а не нарушают его.

Таким образом, вопрос о том, какие убеждения объединяют героев стихотворения, остается открытым. Ответить на него и означает определить идейный смысл стихотворения и приблизиться к пониманию того, почему сам Пушкин, вопреки мнению своих комментаторов, считал, что «Кинжал» «не против правительства писан».

Репутацию стихотворения как крайне радикального определила не столько идеология его героев, сколько их общее действие — политическое убийство. Складывается впечатление, что Пушкин здесь последовательно оправдывает политическое убийство и что тем самым «Кинжал» идейно противостоит как написанной до него оде «Вольность», так и созданной потом драме «Борис Годунов», где политическое убийство не менее последовательно осуждается.

Для того, чтобы прояснить то место, которое занимает «Кинжал» в эволюции политического мировоззрения Пушкина, необходимо выяснить, что же все-таки — если не единство мировоззрения — объединяет героев стихотворения. При этом естественно предположить, что в своем выборе Пушкин исходил прежде всего из двух соображений: во-первых, из «репутации» героев; во-вторых, из конкретно-исторического содержания их поступков (по античным и другим историческим источникам).

Наиболее естественным представляется выбор Брута. Этот образ имел длительную традицию бытования в русской и мировой литературе¹⁰. Причем в России «всплески» интереса к образу Брута приходятся на самые напряженные моменты истории — на начало XIX в., как рефлексия на убийство Павла I¹¹, и на первую половину 1820-х годов, когда среди декабристов активно муссировался вопрос о цареубийстве¹².

С образом Брута ассоциировалась как определенная система политических взглядов, так и некоторая мораль и модель поведения¹³. Для А. Коцебу, отождествившего убийц Павла I с убийцами Цезаря¹⁴, большее значение имела та система исторических жестов, которую можно определить как поведение Брута, так как, хотя цареубийцам 11 марта и приписывали намерение ограничить самодержавие, речи о республике все-таки не было¹⁵. Для декабристов, по-видимому, радикализм политических взглядов Брута предполагал и крайность его поступков, однако существовала точка зрения, противопоставлявшая мораль Брута его политическим убеждениям. Так относились к Бруту его политические противники, например Антоний, для которого Брут был воплощением добродетели. Плутарх, автор «Жизнеописания Брута», говорил об этом следующим образом: «Тот, о котором мы пишем, соединив нрав-

ственные достоинства с полученным им воспитанием и философским образованием и оживив свою серьезную и спокойную природу энергией в практических делах, удовлетворял, можно сказать, всем требованиям добродетельности, так что даже те, кто враждовал с ним из-за участия его в заговоре против Цезаря, все, что могло казаться благородным в этом деле, приписывали ему, все же внушающее отвращение относили за счет Кассия»¹⁶. Как образец морали изображал Брута Шекспир в драме «Юлий Цезарь». Подобное отношение к Бруту было характерно для переводчика Шекспира на французский язык — Летурнера. Это важно, так как предисловие Летурнера к французскому изданию «Юлия Цезаря» сочувственно цитировал Н. М. Карамзин, первый переводчик «Юлия Цезаря» на русский язык: «Характер Брутов есть наилучший. Французские переводчики Шекспировых творений говорят об оном так: “Брут есть самый редкий, самый важный и самый занимательный моральный характер”. Антоний сказал о Бруте: вот муж! а Шекспир, изображавший его нам, сказать мог: вот характер! ибо он есть действительно изящнейший из всех характеров, когда-либо в драматических сочинениях изображенных»¹⁷.

Восхищение характером Брута испытывали люди, совсем не обязательно разделяющие его политические взгляды. И это объединяло писателей зачастую противоположных политических ориентаций, например Карамзина и Радищева¹⁸.

В стихотворении «Кинжал» Брут характеризуется только одним эпитетом — «вольнолюбивый». Однако анализ предыдущих строф показывает, что Пушкин внимательно читал историю заговора против Цезаря в изложении Плутарха¹⁹.

Упоминание о кинжале, спрятанном «под блеском праздничных одежд», отсылает нас к обстоятельствам заговора, который был осуществлен в торжественный день выхода Цезаря в Сенат²⁰. Несколько раз Пушкин упоминает о том, что «дремлет меч закона», «главой поник закон». И этому есть параллели у Плутарха: накануне убийства Брут ответил людям, недовольным его судом: «Цезарь не мешает мне судить согласно законам — и не помешает»²¹. Именно любовь к Закону (Пушкин здесь следует за Плутархом) заставляет Брута решиться на убийство Цезаря, которое описано буквально в

трех строчках: «Но Брут восстал вольнолюбивый: / Ты Кесаря сразил — и мертв объемлет он / Помпея мрамор горделивый» (II, 173); из них две — отсылка к совершенно конкретной детали исторического убийства: Цезарь был убит перед статуей своего давнего политического противника, Помпея («Помпея мрамор горделивый» — у Пушкина). Плутарх по этому поводу отметил: «Могло показаться, что какое-то божество приведет сюда Цезаря, чтобы отомстить ему за Помпея»²². Это обстоятельство попало и в драму Шекспира, где Антоний говорит, что Цезарь, увидев Брута среди заговорщиков, «закрыв <...> лицо свое тогою, и к подножию Помпеевой статуи, с которой во все время кровь текла, пал великий Цезарь»²³.

Композиция «Кинжала» такова, что его первые строфы являются своеобразным обобщением всех выдающихся тираноубийств, а «затем следуют конкретные примеры»²⁴. Противоречие между конкретным характером исторических деталей, приведенных Пушкиным, и широкой их проекцией в будущее снимается за счет того, что каждое последующее тираноубийство осмысливается поэтом как своеобразная реализация общего прототипа, которым является убийство Брутом Цезаря; поэтому в отобранных Пушкиным примерах тираноубийств после Брута должны были быть черты, особенно явно роднящие их с убийством Цезаря.

Конечно, отбирая исторические примеры для своего стихотворения, Пушкин руководствовался единством исторических ситуаций в Риме накануне империи, во Франции во время террора и в современной поэту Германии, «где дремлет меч закона».

И все-таки главное место в стихотворении занимают образы самих тираноубийц, образующие тот смысловой пласт стихотворения, который может быть адекватно осмыслен только с учетом контекстов, где употреблялись их имена. Этот контекст и поможет, во-первых, выявить черты характера Брута, значимые для Ш. Кордэ и К. Занда, и, во-вторых, исходя из черт этого внутреннего родства можно прояснить принцип, руководствуясь которым Пушкин отобрал героев для своего стихотворения.

Еще на заре изучения «Кинжала» В. Д. Спасович показал зависимость стихотворения от «Оды Шарлотте Кордэ» А. Шенье²⁵. В 1820 г. Ламартин воспел Ш. Кордэ, назвав ее «ангелом убийства»;

правда, доказать знакомство Пушкина с Ламартином в канун работы над стихотворением представляется не только невозможным, но и вряд ли обязательным, так как «Ода Шарлотте Кордэ» Шенье достаточно ясно показывает особенности восприятия этого образа и Ламартин не вносит в него ничего нового.

Свое убийство Кордэ совершила в июле 1793 г., когда интерес к античной культуре вообще и к Плутарху в частности достигает своего пика как среди якобинцев, так и среди их политических противников — жирондистов, из которых вышла Кордэ²⁶. Вожди жирондистов, Верньё, Бриссо и мадам Роллан, называли себя соответственно Цицероном, Брутом и молодым Катон²⁷. Об увлечении Ш. Кордэ Плутархом и о том, что «Жизнеописание Брута» она читала накануне убийства, свидетельствуют биографы «девы Эвмениды»²⁸. Своему другу, Ж. М. Барбару, Ш. Кордэ писала из тюрьмы накануне казни о том, что «предвкушает встречу с Брутом на Елисейских полях»²⁹.

О культе античности, существовавшем во время Французской революции, особенно в период якобинской диктатуры, было хорошо известно в России, более того, это стало общим местом восприятия эпохи Террора настолько, что О. Сомов в своей сатире «Греки и римляне» описал Францию этого периода следующим образом:

Событий ход меня во Францию привел.
Там вижу, что убийц неистовая стая,
Губя соотчичей и храмы разрушая,
От родовых имен в безумстве отреклась
И в имена Сцевола и Брута облеклась;
Там изверги, влача людей под гильотины,
Твердят: «мы все равны! у нас теперь Афины!»³⁰.

Тираноубийство было сознательно ориентировано Ш. Кордэ на убийство Цезаря Брутом. Особое значение при этом получил подчеркнутый отказ от каких-либо выгод, вплоть до самоубийства после самого преступления. Так, убив Марата, Ш. Кордэ не пыталась бежать с места преступления, спокойно отдалась в руки правосудия и на суде хладнокровно изложила мотивы, по которым

она совершила убийство. По ее признанию, окончательное решение пришло к ней тогда, когда в газете Марата «L'Ami du peuple» она прочла о том, что для окончательного торжества революции необходимо еще двести тысяч жизней.

Лидер жирондистов, Вернъё, сказал по поводу ее смерти: «Она погубила нас, но научила умирать». Немалую роль в восприятии личности Ш. Кордэ сыграли исключительная цельность и нравственная чистота ее натуры, подчеркиваемая всеми биографами «девы Эвмениды»³¹. «Самоотреченным мучеником веры или политических мнений» назвал Ш. Кордэ П. А. Вяземский³². Чрезвычайно важно, что якобинскую диктатуру Пушкин воспринимал как «исчадь мятежей», а самого Марата как «Апостола гибели». В такой ситуации Ш. Кордэ также выступала от лица закона, который прямо отождествляется с вольностью (ср.: «главой поник Закон» и «Над трупом Вольности безглавой»).

К началу работы Пушкина над стихотворением убийство иенским студентом К. Зандом писателя А. Коцебу было одним из остроактуальных политических событий, тем более что казнь Занда состоялась в мае 1820 г.

Русские журналы подробно освещали это убийство, особенно много внимания уделяя личности убийцы и мотивам преступления. Одним из первых рассказ о событии поместил «Вестник Европы»: «Некто Занд, студент богословских наук, гнусный фанатик, без сомнения, подученный шайкой подобных себе извергов, лишает жизни человека почтенного и знаменитого за то единственно, что сей мыслил и чувствовал, говорил и писал не так, как хотелось бы ему, студенту Занду!»³³ Публикация «Вестника Европы» отражает первое впечатление, произведенное убийством Коцебу, тон следующих сообщений был в целом более сдержан.

Менее эмоциональный и более объективный отчет о случившемся поместил «Сын отечества». Здесь обращалось внимание на патриотические мотивы преступления, говорилось о том, что Занд носил старинное немецкое платье и что в письме, написанном до убийства, он «жалуется <...> на унижение, бессердие и подлость нынешнего века в Германии, и говорит, что должно истребить всех тех, которые препятствуют вольности и единству земли сей»³⁴.

Все отчеты содержали описание попытки самоубийства после того, как убийство Коцебу было совершено («Совершив убийство — он выбежал на улицу, опустился на колени и со словами: «Изменник умер! Благодарю тебя боже, что ты помог мне совершить это дело!» — нанес себе удар в грудь. Рана оказалась несмертельной»)³⁵.

Наконец, «Сын отечества» поместил подробный и едва ли не сочувственный отчет о состоянии Занда после выздоровления в ожидании казни: «Карл Занд <...> выздоравливает. Он играет на гитаре, читает стихотворения Шиллера и не показывает ни раскаяния, ни страха. По другим известиям, потребовал он Библию и изъявляет соучастие в плачевной судьбе семейства Коцебу <...> Он всегда отличался благонаравием, кротостию, прямодушием, смелостию, решительностию и пламенною любовью к отечеству и истине, но издавна был задумчив и молчалив»³⁶.

Пушкинские строки, посвященные Занду, показывают, что поэт был в курсе обстоятельств убийства Коцебу, и в то же время как будто бы не содержит в себе ничего, о чем бы не писалось в русских журналах. Параллели в русской периодике находят не только характеристика Занда как «юного праведника», но и другая — «избранник роковой». Так, «Вестник Европы», подробно информируя русских читателей о ходе следствия по делу Занда, сообщал, что следователи подозревают, «будто некоторым иенским студентам известно было о предположенном убийстве и будто Занд по жребию назначен исполнителем сего злодеяния»³⁷.

Вместе с тем толкование последних строк стихотворения «И на торжественной могиле / Горит без надписи кинжал», предложенное первым публикатором стихотворения Ж. Ансело, предполагает наличие у Пушкина дополнительных источников информации³⁸. Последнее возможно, так как через М. Ф. Орлова Пушкин мог быть знаком со скрывающимся в России немецким студентом Адольфом Иорданом. Вместе с Зандом Иордан был членом тайных националистических обществ «Черных» и «Непримиримых», руководимых братьями Фолленами. М. Ф. Орлов общался с Иорданом в 1820 г. в Киеве³⁹.

Родство Занда со знаменитыми тираноубийцами прошлого, прежде всего Брутом, было осознано достаточно широко⁴⁰. «Вестник Европы» приводил исторические параллели к убийству Занда⁴¹.

Итак, Брут, Ш. Кордэ и Занд в восприятии Пушкина относятся к одному типу, основные черты которого суть безукоризненная личная добродетель и полное самоотречение вплоть до заранее обдуманного отказа от спасения собственной жизни после совершения акта тираноубийства.

Именно высокими личными качествами герои «Кинжала» отличаются от «вином и злобой упоенных» убийц Павла I, изображенных Пушкиным в оде «Вольность»:

О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары..
Погиб увенчанный злодей.

(II, 47)

При этом политическая концепция «Кинжала» не обладает большими отличиями от политической концепции оды «Вольность»: так же, как и в «Вольности», она направлена против политических крайностей диктатуры Цезаря, с одной стороны, а с другой — против не ограниченной законными рамками власти народа (и в «Вольности», и в «Кинжале» — это якобинская диктатура). В записке «О народном воспитании» (1826) Пушкин писал: «Не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем» (XI, 46). Таким образом, «Кинжал» действительно оказывается писан, как об этом сказал сам Пушкин, «не против правительства»; можно уточнить: не против законного правительства.

Существенным же шагом в сторону большей радикализации политической позиции Пушкина может представляться оправдание в «Кинжале» самого политического убийства, столь решительно осужденного в оде «Вольность». Однако и в «Кинжале» тираноубийство не представляется нормальным средством политической борьбы, а скорее эксцессом, оправданным не только особыми историческими условиями, но и высокими нравственными качествами самого тираноубийцы, гарантией того, что его поступок не пре-

следует личной выгоды. Поэтому в целом политическая концепция «Кинжала» не противостоит политической концепции оды «Вольность», а дополняет ее.

Сам исторический процесс в «Вольности» и в «Кинжале» изображен в полном соответствии с принципами романтической историографии⁴² — как цепь героических поступков. Такое отношение к истории изживалось Пушкиным уже в начале 1820-х годов, когда в работе над «Заметками по русской истории XVIII века» закладывались основы пушкинского историзма. Однако оценка исторических событий с этической точки зрения — эта черта исторического мышления Пушкина — сохранилась и в его позднейшем творчестве. (Ср., в частности, пушкинскую оценку нравственной чистоты и самоотверженности Радищева при негативном отношении к его политическим убеждениям в статье «Александр Радищев» — подробнее см. далее в главе «Статья Пушкина «Александр Радищев» и общественная борьба 1801–1802 годов»).

Представляется возможным связать проблематику «Кинжала» с теми общественно-политическими вопросами, которые волновали Пушкина в период написания стихотворения. При этом, учитывая интенсивный характер развития общественного мировоззрения Пушкина, необходимо уточнить это время.

В записной книжке Пушкина⁴³ черновики «Кинжала» находятся между планами «Кавказского пленника» (л. 39), запись «Orlov disait en 1820...» («Орлов говорил в 1820 г. ...» (л. 40), черновиками «Кавказского пленника» (л. 40 об. — 42 об.) планом поэмы (?) о Вадиме (л. 43–43 об.) и стихотворением «Аглае» (л. 46). Последний лист черновика «Кинжала» (л. 63) фактически заканчивает записную книжку и находится перед финалом «Кавказского пленника» (л. 64). Этот лист содержит портреты кишиневских знакомых Пушкина: Тодора Балша, К. А. Катакази, Торсис Катакази, Калипсо Полихрони⁴⁴.

На листе имеется четкая дата «14 juin 1822», однако вряд ли эта дата имеет отношение к стихотворению «Кинжал». Дело в том, что и дата, и рисунки появились на листе тогда, когда тетрадь находилась в нормальном, горизонтальном положении, тогда как черновой текст стихотворения записан поперек листа. В пушкинском

перечне стихотворений (1822) «Кинжал» отнесен к 1821 г.⁴⁵ То, что в перечне «Кинжал» был помещен сразу после «Кавказского пленника», дало основание М. А. Цявловскому датировать стихотворение мартом 1821 г. (II, 1091), так как считалось, что «Кавказский пленник» окончен в феврале 1821 г. Однако в записной книжке хронологические рамки работы Пушкина над «Кавказским пленником» выглядят несколько иначе: листы с 32-го по 39-й заполнялись поэтом в 20-х числах ноября — начале декабря 1820 г., когда он находился в Каменке⁴⁶. Именно поэтому начало работы над «Кинжалом» следует отнести к декабрю 1820 г. Данное соображение подтверждается и идущим в записной книжке сразу же за «Кинжалом» стихотворением «Аглае», посвященном А. А. Давыдовой и также, скорее всего, написанном в Каменке. Несомненно, что работа над стихотворением продолжалась и позже декабря 1820 г., так как имеющиеся в записной книжке черновики не отражают полного текста «Кинжала», в них даже не упоминается имя Занда. Следовательно, работа над стихотворением захватила и начало следующего, 1821 года, и пришлось, таким образом на время интенсивного общения Пушкина с южными декабристами, прежде всего с М. Ф. Орловым.

Из письма Е. Н. Орловой от 23 ноября 1821 г. А. Н. Раевскому мы узнаем, что тема споров Пушкина в это время — «вечный мир аббата Сен-Пьера»: «Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворяют вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия»⁴⁷.

Связь проблематики пушкинских споров о «вечном мире» с проблематикой «Кинжала» заключается в том, что и тут, и там Пушкин противопоставляет нормальному ходу исторического развития эксцесс, возникающий по вине «людей с сильными характерами и страстями».

Идейную и текстуальную зависимость стихотворения «Кинжал» от книги Ж. де Сталь «Десять лет в изгнании» (1820)⁴⁸ выявил Б. В. Томашевский⁴⁹. Исследователь показал, что сама «тема «Кинжала» <...> и мысль воспеть не один какой-нибудь случай полити-

ческого убийства, а самый принцип мщения произволу»⁵⁰ восходит к словам Ж. де Сталь о том, что «эти деспотические правления, в которых единственным ограничением тирании является убийство деспота, таким образом нарушают представления людей о долге и чести в головах людей»⁵¹. Однако размышления де Сталь о природе тираноубийства вызваны прежде всего историей русских дворцовых переворотов, поэтому ее характеристика тираноубийц как «придворных, которые не имеют силы сказать малейшую правду своему властелину»⁵², не содержит в себе симпатий к цареубийцам.

Не только оправдывая, но и апологетизируя тираноубийцу, Пушкин выходит за рамки чисто просветительского отношения к политическому убийству, которое характерно для де Сталь. В то же время идейную позицию Пушкина роднит с позицией де Сталь отрицательное отношение к политическому фанатизму. Причем и для де Сталь, и для Пушкина воплощением его стал якобинский террор. Пушкин вслед за де Сталь считает якобинскую диктатуру и деспотизм Наполеона наказанием французам за убийство Людовика XVI.

О своем отношении к этому периоду Французской революции де Сталь говорит в книге «Взгляд на Французскую революцию»⁵³. Пушкин хорошо знал это сочинение де Сталь, так как прочитал его еще до южной ссылки⁵⁴.

Оценивая историческую концепцию «Кинжала», необходимо отметить совмещение здесь романтического представления об истории как о цепи выдающихся поступков (в данном случае тираноубийств) с просветительской оценкой самих тираноубийц не с позиции объективной целесообразности, а с позиции чисто этической.

Выше мы попытались, не претендуя на полноту охвата, проследить корни такой позиции Пушкина. Однако наш обзор был бы неполон, если бы мы не назвали писателя из ближайшего пушкинского окружения, чье творчество самым непосредственным образом определяло творчество поэта и его идейную позицию. Таким писателем для Пушкина и в 1821 г. продолжал оставаться Н. М. Карамзин. Продолжал, несмотря на то что конец 1810-х — начало 1820-х годов — период наиболее острых идейных разногласий между Пушкиным и «русским Титом Ливием»⁵⁵.

Свое понимание исторического процесса Карамзин сформулировал, в частности, в «Историческом похвальном слове Екатерине II»: «Зерцало веков, История, представляет нам чудесную игру таинственного Рока: зрелище многообразное, величественное! Какие удивительные перемены! какие чрезвычайные происшествия! Но что более всего пленяет внимание мудрого зрителя? Явление великих душ, полубогов человечества, которых непостижимое Божество употребляет в орудие своих важных действий. Сии любимцы Неба, рассеянные в пространствах времен, подобны солнцам, влекущим за собою планетные системы: они решают судьбу человечества, определяют путь его; неизъяснимою силою влекут миллионы людей к некоторой угодной Провидению цели; творят и разрушают царства; образуют эпохи, которых все другие бывают только следствием; они, так сказать, составляют цепь в необозримости веков, подают руку один другому, и жизнь их есть История народов»⁵⁶.

Думается, что то общее представление об историческом процессе, которое сформулировал Карамзин в приведенном пассаже, очень близко к соответствующим пушкинским представлениям. «Похвальное слово...» было перепечатано в собрании сочинений Карамзина 1820 г. и находилось в поле зрения Пушкина в 1821 г., как об этом свидетельствует переключка со статьей Карамзина в пушкинских «Записках по русской истории XVIII века»⁵⁷.

Переключка имела характер полемики. Многие конкретные оценки Карамзина, в том числе оценка такого важного момента русской истории, как правление Екатерины II, были оспорены Пушкиным, однако общее представление об историческом процессе как о «чудесной игре таинственного Рока», осталось близким Пушкину и до конца жизни:

Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари...

(«Была пора: наш праздник молодой...»,
1836 г. — III, 432).

Близкими Пушкину оставались осуждение крайностей в политике и этический пафос Карамзина: «Злой роялист не лучше злого якобинца. На свете есть только одна хорошая партия: друзей человечества и добра. Они в политике составляют то же, что эклектики в философии»⁵⁸.

При этом само понимание крайностей в политике у Пушкина в 1821 г. было совсем не таким, как у Карамзина. В глазах Карамзина политическая позиция, занятая самим Пушкиным, выглядела достаточно крайней.

Об отношении Карамзина к тираноубийству писал в «Записной книжке» П. А. Вяземский: «Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя своих слов к России: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице!». Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласите вы с нею самоотречение мучеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Теля, Шарлотту Кордэ и других им подобных? Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно *терпеть*»⁵⁹.

Вяземский сделал приведенную нами запись в 1826 г., после смерти Карамзина, когда, как отметил В. Э. Вацуро, «это уже не живой, не реальный Карамзин, носитель тех или иных политических суждений — ошибочных, даже реакционных, вызывавших на споры <...> Имя его теперь становится для Вяземского синонимом единства “нравственности частной и государственной”, которые так разительно столкнулись в реальной действительности»⁶⁰.

В образах тираноубийц, выведенных Пушкиным в стихотворении «Кинжал», и произошло слияние «нравственности частной и государственной».

Н. Я. Эйдельман обратил внимание на то, что перед первым параграфом ранней редакции пушкинских «Замечаний на Анналы Тацита» стоит словосочетание [Karamzin Roma] (XII, 415). Как считает исследователь, Пушкин имел в виду стихотворение Карамзина «Тацит»⁶¹.

Таким образом, и в конце 1810-х — начале 1820-х годов, когда личные взаимоотношения Пушкина с Карамзиным были очень на-

пряженными⁶², поэту оставался близок пафос единства «нравственности частной и государственной», который утверждал Карамзин.

С середины же 1820-х годов до последних произведений, когда Карамзин становится едва ли не самым близким Пушкину писателем (Карамзину посвящен «Борис Годунов»; слова Карамзина, процитированные Вяземским: «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être pendu»⁶³ — Пушкин поставил эпиграфом к программной статье 1836 г. «Александр Радищев» — XII, 30), отношение Пушкина к карамзинскому принципу совмещения «нравственности частной и государственной» осложнилось.

В это время в историческом сознании Пушкина происходит определенный перелом, «взгляд на историю как на арену борьбы одних лишь свободы и тиранства, исход которой только от усилий и благородства тираноубийц и борцов-освободителей»⁶⁴ сменяется таким отношением к истории, когда критерием оценки становится не только, а может быть, и не столько нравственная чистота исторического лица, сколько общественная целесообразность его поступков.

1. См., например: *Городецкий Б. П.* Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 244.

2. *Мицкевич А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 381. Несмотря на утверждение автора примечаний Б. Стахеева к «Лекциям...» Мицкевича, что здесь подразумевается «Вольность», нам представляется очевидным, что Мицкевич имел в виду именно «Кинжал».

3. Цит по: *Черейский Л. А.* Он решительный либерал // Нева. 1981. № 2. С. 217–218.

4. *M. Ancelot.* Six mois en Russie. Paris, 1827. P. 306–307. См. также новейшее издание книги Ф. Ансело на русском языке: *Ансело Ф.* Шесть месяцев в России / Вступ. ст., сост., пер. Н. М. Сперанской. М., 2001. (Обратный перевод «Кинжала» с французского см. на с. 128.)

5. Цит. по: *Алексеев М. П.* Пушкин на Западе // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 3. М.; Л., 1937. С. 113.

6. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма М., 1951. С. 41.

7. См.: *Щеголев П. Е.* Император Николай I и Пушкин в 1826 году // Он же. Первенцы русской свободы. М., 1987. С. 318–321; *Мейлах Б. С.* Пушкин в ходе следствия и суда над декабристами // Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка.

I. Лирика изгнания

1955. Т. 14. Вып. 2. С. 131; *Пугачев В. В.* Новые данные о Пушкине и декабристах (из недавних публикаций дел Следственной комиссии) // *Временник Пушкинской комиссии.* 1975. Л., 1979. С. 124–125.

8. Д. Н. Блудов рассказывал П. И. Бартеневу о том, что Пушкин «прислал Карамзину не ранее 1821 г. из Бессарабии стихи свои «Кинжал»» (*Бартенев П. И.* О Пушкине. М., 1992. С. 136).

9. Цит. по транскрипции черновика стихотворения в кн.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. / Под ред. П. Морозова. СПб., 1912. Т. 3. С. 111.

10. См.: *Higbet G.* The classical tradition. Oxford, 1949 (см. по именному указателю).

11. См.: *Степанов В. П.* Убийство Павла I и «вольная» поэзия // *Литературное наследие декабристов.* Л., 1975. С. 96, 97.

12. См.: *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 155–162, 166–168, 194–198.

13. См.: *Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни: (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // *Литературное наследие декабристов.* Л., 1975. С. 41, 44, 47, 55.

14. *Коцелу А.* Записки // Цареубийство 11 марта 1801 г.: Записки участников и современников. СПб., 1908. С. 404.

15. Об этом см.: Цареубийство 11 марта 1801 г. С. 18, 194.

16. *Плутарх.* Избранные биографии. М.; Л., 1941. С. 293.

17. Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекспира. [Пер. Н. М. Карамзина.] М., 1787. С. 6–7.

18. *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 1.

19. Об интересе Пушкина к Плутарху и подробную сводку доступных Пушкину изданий греческого историка см.: *Михайлова Н. И.* К источникам ремарки «Народ безмолвствует» в «Борисе Годунове» // *Временник Пушкинской комиссии.* Вып. 20. Л., 1986. С. 151–152.

20. *Плутарх.* Избранные биографии. С. 299.

21. Там же.

22. Там же.

23. Юлий Цезарь... С. 85.

24. *Слонимский А.* Мастерство Пушкина. Изд. 2-е, испр. М., 1963. С. 31.

25. *Спасович В. Д.* Байронизм Пушкина и Лермонтова: Из эпохи романтизма // *Вестник Европы.* 1888. Кн. 3. С. 61.

26. См.: *Parker H. T.* The cult of Antiquity and the French revolution. Chicago, 1937.

27. *Higbet G.* The classical tradition. P. 394.

28. Ibid.

29. См.: Charlotte Corday décapée a Paris le 16 juillet 1793, ou Memoirs pour servir à l'histoire de la vie cette femme célèbre (on y trouve la lettre Corday à Barbaroux). Paris, 1796.

30. Сын отечества. 1823. Ч. 84. С. 176.

31. Ко времени написания «Кинжала» существовала значительная литература, апологетизирующая образ Ш. Кордэ. См.: Charlotte Corday, tragedie en 3 actes en vers. Paris, 1795; *Lebrun-Rossa*. L'Apothéose de Charlotte Corday, ou la Judith moderne. Paris, 1797; Charlotte Corde (sic!) dans son cachot, héroïde. Paris, 1797.

32. *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 129.

33. Вестник Европы. 1819. Кн. 7. С. 238–239.

34. Сын отечества. 1819. Ч. 53. С. 85.

35. Вестник Европы. 1819. Кн. 7. С. 238.

36. Сын отечества. 1819. Ч. 53. С. 138.

37. Вестник Европы. 1819. Кн. 8. С. 321.

38. Ансело утверждал, что на кинжалах по специальному приговору руководителей буршеншафтов писались имена жертв (см. об этом: *Цявловская Т. Г.* О работе над «Летописью жизни и творчества Пушкина» // Пушкин: Исследования и материалы: Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. М.; Л., 1953. С. 370).

39. См.: *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований. М., 1975. С. 166.

40. См.: *Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 371. Примеч. 4.

41. Вестник Европы. 1819. Кн. 9. С. 78–79.

42. См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 185; *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. С. 62–63; *Реизов Б. Г.* Французская романтическая историография. Л., 1966; *Кнабе Г. С.* Тацит и Пушкин // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20. Л., 1986. С. 53–54.

43. ПД, № 830. Л. 45–46, 64.

44. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. Л., 1991. С. 313–314.

45. Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 274.

46. См.: *Селиванова С. Д.* Над пушкинскими рукописями. М., 1980. С. 40. В этой работе использован текст неопубликованного комментария С. М. Бонди к «Кавказскому пленнику», предназначавшегося для Полного собрания сочинений Пушкина.

47. См.: *Гершензон М. О.* Семья декабристов // Былое. 1906. № 10. С. 308.

48. *Stael, m-me de.* Dix annes d'exil. Paris, 1820.

49. *Томашевский Б. В.* «Кинжал» и m-me de Stael // Пушкин и его современники. Пг., 1923. Вып. 36. С. 83.

50. Там же. С. 95.

51. «Ces gouvernements despotiques, dont le seul limite est l'assassinat du despote, bouleversent les principes de l'honneur et de devoir dans la tête des hommes» (*Stael, m-me de.* Dix années d'exil. P. 54).

52. «...courtisans, qui n'ont pas la force de dire à leur maître la moindre vérité» (*Stael, m-me de.* Dix années d'exil. P. 54).

53. *Stael, m-me de.* Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française. Paris, 1820. Vol. 2. P. 122–117 («Du Fanatisme politique»).

1. Лирика изгнания

54. См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 193–194. О влиянии Ж. де Сталь на Пушкина очень содержательно написала Л. И. Вольперт. Исследовательница показала, что критерий моральности в оценке поступков исторических деятелей, столь характерный для Пушкина, восходит к книге де Сталь «Взгляд на Французскую революцию» (см.: *Вольперт Л. И.* Пушкин после восстания декабристов и книга Мадам де Сталь о французской революции // Пушкинский сборник. Псков, 1968. С. 116–117).

55. См.: *Бутакова В. И.* Карамзин и Пушкин // Пушкин и его современники. Вып. 37. Л., 1928. С. 127–135; *Нечкина М. В.* Декабрист Михаил Орлов — критик «Истории» Н. М. Карамзина // Литературное наследство. Т. 59. Декабристы-литераторы. I. М., 1954. С. 557–564; *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. Изд. 2-е, доп. М., 1986. С. 31–113; *Стенник Ю. В.* Концепция XVIII века в творческих исканиях Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С. 82–85

56. *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 8. М., 1820. С. 6–7.

57. См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 570.

58. Вестник Европы. 1803. № 9. С. 56.

59. *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 129.

60. *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины»... С. 81.

61. *Эйдельман Н. Я.* Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 61.

62. *Эйдельман Н. Я.* Карамзин и Пушкин. Из истории взаимоотношений // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1986. Т. XII. С. 294–295.

63. Честному человеку не должно подвергать себя виселице (*франц.*).

64. *Кнабе Г. С.* Тацит и Пушкин. С. 53.

Генезис стихотворения Пушкина «Наполеон» (1821)

Изучение пушкинского стихотворения «Наполеон» имеет столь большую историю, что необходимо подвести некоторые итоги. Главный вывод, к которому пришло большинство исследователей, заключается в том, что образ Наполеона и оценки его деятельности даны здесь принципиально по-иному, чем в лицейский и петербургский период. Если не уточнять этого, действительно всеобщего положения, то оно выглядит обезоруживающе тривиально.

Причины изменения пушкинского отношения к Наполеону в первый год южной ссылки тоже названы: Наполеон конца 1810-х — начала 1820-х годов уже не всемогущий агрессор, а поверженный гений, наследник Французской революции (его революционность была особенно очевидна на фоне той реакции, которая царила в Европе). Немалое значение имело и то, что в 1821 г. Пушкин воспринимал образ Наполеона, находясь в кругу самого радикального крыла раннего декабризма — кишиневского кружка Союза Благоденствия.

Как это ни странно, гораздо больше трудностей вызывает другой вопрос: что именно изменилось в пушкинском восприятии Наполеона? Он сложен и подразумевает постановку по крайней мере еще двух: во-первых, как изменилась пушкинская концепция Наполеона (и весь круг идей, которые ассоциативно и логически связывались с этим именем); во-вторых, насколько обновился набор поэтических средств, которые использует Пушкин.

Понятно, что эти вопросы связаны между собой, как всегда связаны вопросы содержания и формы, но решать их в данном случае, как нам представляется, возможно по отдельности.

Дело в том, что ко времени создания пушкинского стихотворения (1821 г.) отношение к Наполеону в русской поэтической тра-

диции еще находилось на уровне инвектив 1812 года; новый этап в осмыслении образа поверженного императора еще не достиг России; его первым «всплеском» и стало пушкинское стихотворение. Между тем в кругу Н. М. Карамзина, братьев Тургеневых, П. А. Вяземского, М. Ф. Орлова и других людей, в значительной степени определявших мировоззрение молодого Пушкина, уже шла необычайно динамичная переоценка образа Наполеона и его политического наследия. Вопрос, следовательно, еще и в том, в какой степени пушкинское стихотворение отражает эту подспудную мыслительную работу его друзей.

Ответить на него — это и значит локализовать пушкинские представления в родственной поэту общественной мысли. Сделать это возможно только после того, как будут выявлены особенности восприятия наполеоновского образа среди тех, чьи имена мы привели выше. Это немалая самостоятельная задача, так как до настоящего времени не существует работ, которые обобщили бы все имеющиеся сведения в одну цельную картину или хотя бы привели самое характерное по интересующему нас предмету¹. Нам необходимо восполнить этот пробел, т. е. хотя бы в самых общих чертах представить очерк восприятия образа Наполеона в России на рубеже 1810-х и 1820-х годов. В полном объеме такая задача по плечу только специальному исследованию, далеко выходящему за рамки настоящей работы, однако, делая акцент именно на тех именах, которые наиболее значимы для молодого Пушкина, мы не можем избежать необходимости коснуться главного из того, что характеризовало отношение к Наполеону передовой русской мысли.

Среди тех, кто определял пушкинское отношение к Наполеону, в первую очередь следует назвать Н. М. Карамзина. Даже при том, что уже в последний лицейский год взаимоотношения поэта с историком весьма осложнились², Карамзин оставался для Пушкина первым политическим мыслителем эпохи, и антикарамзинизм поэта конца 1810-х — начала 1820-х годов в такой же степени питался оценками и взглядами Карамзина, как и активно манифестируемый политический карамзинизм последнего десятилетия жизни Пушкина³.

Как отмечал Ю. М. Лотман, уже в начале 1800-х годов на страницах «Вестника Европы» Карамзина Наполеон предстает идеальным политическим деятелем, чьи отличительные черты суть глубокий государственный ум, твердость и умение подняться над эгоистическими партийными интересами во имя всеобщего блага⁴.

Презрение к людям, которое политические враги Первого консула усматривали в нем, по мысли Карамзина, извинительно, ибо «Боннапарте видит столько низости в душах». В подборке, озаглавленной «История Французской революции, избранная из латинских писателей», и очень важной, на наш взгляд, для издателя «Вестника Европы», об избрании Первого консула говорится следующим образом: «Грядущие веки без сомнения удивятся, читая в Истории или внимая повестям о делах твоих: сколько воинов рассеянных, сколько провинций, тобою покоренных!.. Но если мудрыми законами не утвердить государственного правления, то имя твое в отдаленных потомках будет скитаться и не найдет места твердого. Мнение потомков, подобно нашему, будет различно. Одни превознесут до небес дела твои; другие, может быть, пожалуют, что ты отказался от самой лучшей славы, не сделав того, чтобы бедствие отечества было приписано року, а спасение — твоей мудрости»⁵.

Для Карамзина начала 1800-х годов характерно отношение к Первому консулу как «орудию <...> непостижимого Божества»⁶. Эта оценка соответствует просветительскому взгляду на идеального политического деятеля, который мог бы определить собственную деятельность словами Радищева: «Свою творю, творя всех волю»⁷. (Отметим, что в просвещенческой модели «воля всех» и «воля Всевышнего» в принципе совпадают.)

Убийство герцога Энгиенского, коронавание Наполеона и вся цепь войн второй половины 1800-х годов, приведших к Отечественной войне 1812 г., не просто изменили отношение Карамзина к Наполеону, но и заставили видеть в последнем человека, который перестал считаться с исторической объективностью и дерзко навязывает миру свою роковую волю. Эта точка зрения с наибольшей полнотой выражена писателем в стихотворении «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814 г.). Победа над Наполеоном

изображается здесь как торжество закона и порядка, восстановление нормального хода истории: «Воскрес порядок и Закон, Свободу мира торжествуйте»⁸.

В целом же ода Карамзина традиционна и, видимо, всей широты взглядов писателя на Наполеона не отражает. Об этом можно судить по большой подборке произведений о французском императоре, помещенной Карамзиным в «Пантеоне иностранной словесности» (М., 1818). Здесь историк перепечатал «Историю Французской революции, избранную из латинских писателей» с отзывом о Первом консуле, который мы уже приводили, и статьи — «Остров Святой Елены. Письмо Английского путешественника к другу его» и «Бонапарте в Пирамиде».

Особый интерес представляет вторая из статей, перевод из описания Египетской экспедиции. Наполеон показан здесь в зените своей славы, мудрым правителем, от которого ждут еще более великих дел. Понятно, что в 1818 г., когда исторический путь императора уже закончился, публикация подобной статьи определялась сожалением Карамзина по поводу того, что Наполеон не оправдал возлагаемых на него надежд (это особенно ясно при соотнесении статьи «Бонапарте в Пирамиде» с обращением к Первому консулу в «Истории Французской революции...»).

Здесь же, в «Пантеоне иностранной словесности», Карамзин помещает отзыв о Наполеоне такого уважаемого человека, каким был для него И. К. Лафатер: «С почтением говорил он о Герое Французской революции, Бонапарте, как о великом человеке. Всякой великий человек (сказал Лафатер) имеет пределы славы своей, за которым начинает он сходить ниже и ниже. Бонапарте достиг до высшей ее степени на равнинах Маренгских и возвращаясь победителем во Францию. Теперь он уже несколько сошел вниз». Этот отзыв имеет следующее примечание самого Карамзина: «Лафатер, как известно, ошибся: Бонапарте после того еще возвысился несколькими ступенями; но мысль его *вообще* справедлива. Беспреданно возвышаться невозможно; а как скоро человек остановится, то в глазах наших он уже падает»⁹.

Взгляды Карамзина на Наполеона, взятые в их эволюции, весьма характерны. На подобных позициях стоял и М. Ф. Орлов, выде-

лявший в жизни Наполеона два периода: «В первом — гений его служил Франции, во втором он уже употреблял Францию в услуги прихотливого гения своего». Поход императора на Россию Орлов рассматривал как «последнее сражение, уже не людям, самому Провидению»¹⁰. При этом Орлов был склонен видеть в делах Наполеона «прекрасный урок народам и королям»¹¹. Подобный взгляд характерен для исторического провиденциализма, крайним выразителем которого был Ж. де Местр¹². Цитированные нами строки находятся в письме Орлова к последнему.

Считая Наполеона «бичом Божьим» и «уроком Провидения народам и королям», де Местр относился ко всей его деятельности как к естественному продолжению революции, что не обязательно предполагало отказ императору в величии. «Народы назвали Бонапарта бичом, — писал сторонник подобного взгляда Шатобриан, — но бичи Бога сохраняют нечто от вечности и божественного гнева, их породившего»¹³.

Согласно точке зрения, принятой в кругу братьев Тургеневых, Карамзина и Вяземского, Наполеон в период консулата сохранил все лучшее, что принесла с собой революция, умело избежав ее крайностей. В утверждении подобного взгляда большую роль сыграла опубликованная в 1819 г. переписка Наполеона с иностранными дворами и Директорией во время Итальянского похода¹⁴. А. И. Тургенев с восторгом указывал на эту книгу Вяземскому: «Читай Correspondance inédite <...> Какой ум — Карно с товарищи! Как революция оживила их, и какие разбойники привилегированные и обреченные на бессмертие! Я называю эту книгу “De l’histoire en lingots”. Вот жизнь в самой администрации, и вот исполнители планов, которые дают право на бессмертие Карно столько же, как и исполнителю оных — Бонапарте»¹⁵.

Н. И. Тургенев, прочитав переписку Наполеона, записал в дневнике: «Я читал Correspondance de Bon<a>p<arte> во время Итальянской войны <...> Все они говорили о республике, с особенным энтузиазмом, с особенной уверенностью говорил о ней Карно <...> И чем все это кончилось! Я думаю, что Б<онапарт> мог удержать во Франции избирательное республиканское прав<ительство>, в особенности окружив Ф<ранцию> такими же государствами.

Конечно, много зла совершалось именем свободы и братства. Но во время Директории ужасы забывались, братство исчезло и свобода могла укрепиться»¹⁶.

Как видим, положительная оценка действий Наполеона как Первого консула непосредственно связана с положительной оценкой Французской революции, освободившейся от ужасов террора. Поэтому в кругу Вяземского и Тургеневых действия Наполеона-императора расценивались как предательство идеалов Революции. Вяземский по прочтении все той же переписки сформулировал свое впечатление следующим образом: «Сам Бонапарте, умевший оседлать тигра, не смог уже единожды расседланного покорить снова для своей узды. Французская революция, которая была задушена его огромной рукой, жива была в памяти людей одними кровавыми своими воспоминаниями; пришел час опомниться! Все хорошее всплыло, ибо хорошее рано или поздно откликнется: народы вспомнили о прекрасных началах сей Революции»¹⁷.

Именно то обстоятельство, что целая историческая эпоха воспринималась как действие воли одного человека (законы исторического развития как бы замерли в этот период), и объясняет совершенно уникальный интерес к личности Наполеона, в которой пытались найти ключ к пониманию событий; и противоречивый, великий и ужасный, характер этих событий объясняли противоречиями наполеоновской личности.

Именно в конце 1810-х годов, когда смягчаются многие оценки, формулируются основные черты наполеоновского культа и складывается то представление о сложном характере личности императора, которое свое поэтическое выражение нашло много позже, например в стихотворении Тютчева «Наполеон»: «В его главе орлы парили, / В его груди змеи вились...»¹⁸. В дальнейшем эта противоречивость стала таким неотъемлемым атрибутом романтического характера вообще, что важнейшей чертой вошла в портрет Козьмы Прутковка: «В моих устах спокойная улыбка, / В груди змея!..»¹⁹.

П. А. Вяземский выразил противоположный взгляд, утверждавший «простодушие» Наполеона: «Глупые и умные взапуски осмеи-

вают мнение Румянцева о простодушии (*bonhomie*) Наполеона. И, конечно, в поре силы нечего было ему лукавить; одним лукавством не совершил бы он геркулесовых подвигов, тут нужны были страсти, а страсти всегда откровенны»²⁰. Эта точка зрения поддержана и развита Пушкиным.

Интерес к личности Наполеона был подогрев публикацией «Записок» его камергера Е. А. Ла-Каза, последовавшего за ним в изгнание. Эти материалы с интересом читаются братьями Тургеневыми, Вяземским и Карамзиным²¹. Вяземский собирался перевести их на русский язык и опубликовать в русской периодике; идея эта с восторгом была поддержана А. И. Тургеневым; осуществить ее предполагалось в 1823 г.²²

К Вяземскому, находящемуся в Варшаве, *ближе к Европе*, обращаются друзья с просьбами присылать все, что выходит о Наполеоне²³. Так определяется источник разнообразных сведений, которым пользуется и Пушкин.

При этом чем дальше в прошлое уходила эпоха наполеоновских завоеваний, тем больше интерес к Наполеону-человеку, сильной личности, перевешивал интерес к Наполеону — политическому деятелю. Н. И. Тургенев, бывший решительным противником Наполеона-политика и не изменивший своего отношения к его политическому наслeдству, сочувствует участи Наполеона-человека: «Есть такие происшествия, такие дела, в которых я не хотел участвовать, ни быть их причиной <...> Так, например, я бы не хотел сделать положение Наполеона столь тягостным, каково оно по описанию Сантини (кот<орого> теперь читаю, если впрочем оно справедливо); но я ни с кем не буду спорить, что оно несправедливо или бесчестно. Наполеон много наделал незаконного вреда другим. Можно не платить ему той же монетой»²⁴.

В конце 1810-х годов процесс осмысления личности Наполеона в отрыве от оценок его политического наслeдства еще только начинался. При этом сохранялся интерес к принципам государственного правления, провозглашенным Наполеоном, особенно если учесть, что во время Ста дней он выступил с широкой программой либерализации Франции, и это — последнее впечатление о Наполеоне-политике.

В годы, непосредственно предшествующие написанию пушкинской оды, государственная система Наполеона постоянно противопоставлялась царившей в это время в Европе системе Священного союза.

Вяземский писал А. И. Тургеневу из Варшавы: «Как ни вспомнить Байрона: «чему праздновать кончину льва, когда пируют наши волки»²⁵.

В бумагах «Зеленой лампы» Б. Л. Модзалевский нашел чрезвычайно интересный документ — публицистический очерк «Беседа Бонапарта с английским путешественником», принадлежавший предположительно А. Д. Улыбышеву и содержащий все самое характерное из того, что говорилось в это время о Наполеоне в связи со Священным союзом. Прежде всего здесь утверждалось, что «Европа, среди тьмы, в которую ее подвергло отсутствие славы и гения, все время устремляет взоры к Св. Елене, как к блистающему маяку». «Ваше падение, — говорит путешественник, обращаясь к Наполеону, — показало удивленному миру, что существуют силы, не зависящие от вас»²⁶. Далее сообщается о противостоянии монархов, обманувших демократические чаяния своих наций, и народов и, наконец, содержится развернутая оценка Священного союза, данная самим Наполеоном: «Ваш Священный союз — вещь тем более замечательная, что никто в ней ничего не понимает. Говорят, он основан на принципах христианской религии, но так как эти принципы те же, что и евангельские, проповеданные всей Европе, то каким образом *человеческий авторитет* может прибавить новую санкцию к законам, исходящим от *авторитета божественного?*»²⁷.

Рассуждения о политической системе Наполеона были особенно актуальны для Пушкина на юге, во время серьезных бесед поэта с М. Ф. Орловым. Об этом свидетельствует пушкинская запись: «О<рлов> говорил в 1820 г.: революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция здесь, конституция там... Господа государи, вы сделали глупость, свергнув Наполеона» (XII, 486. Подлинник по-французски). Заметим также, что раздумья Пушкина о Наполеоне в 1821 г. накладывались на мысли поэта о вечном мире, серьезно занимавшие его в самый разгар работы над одой²⁸.

Таково — конечно, в самых общих чертах — восприятие образа Наполеона в кругу тех лиц, чье мнение было особенно значимо для Пушкина. Остается добавить, что живой и частый обмен мыслями об изгнании императора, который был характерен для друзей поэта, составлял разительный контраст с тем, как вяло и осторожно проблема личности и политического наследия Наполеона обсуждалась в русской периодике конца 1810-х — начала 1820-х годов. Дело здесь, конечно, не в цензурных запретах; просто в это время еще не выработался новый взгляд на Наполеона, хотя точка зрения на него как на «Антихриста» и «врага человеческого» уже явно изжила себя.

В год смерти Наполеона ситуация не изменилась. О кончине поверженного императора сообщили почти все русские журналы, появились и публикации публицистического характера, однако все они носили выжидательно-негативный характер и составлялись из переводного материала, как, например, отрывок из «газет лондонских», помещенный в «Вестнике Европы»: «Наполеон не живет более на земном шаре, который некогда наполнил он страхом <...> Поставленный судьбою на высоте могущества, он мог бы излить благодеяния на род человеческий; нет, он решил быть не благодетелем, а бичом человечества и предметом общего проклятия. Мы не любили его при жизни; умершему желаем вечного покоя: так мыслит каждый британец»²⁹.

Подборка негативных отзывов о Наполеоне из книги Ж. де Сталь «Десять лет в изгнании», помещенная в «Вестнике Европы»,³⁰ оказывается вполне в духе подобных публикаций³¹.

Отсутствие глубокого и, что показательно, поэтического послесловия к судьбе Наполеона явно ощущалось. Карамзин неоднократно обращается к Вяземскому с предложением написать «эпитафию Наполеону», сопровождая свое предложение целой программой того, какой она должно быть: «...напишите ее хотя в форме сонета! Не задаю вам Греции... или задаю, если угодно: вы найдете способ не толкаться лбом с дюжинами стихотворцев, воспевающих теперь на разных языках Элладу и Гелленов»³².

«Вы, мой умный князь, — писал Карамзин Вяземскому в другом письме, — дивитесь задаче писать эпитафию Наполеону: я стою в

том, что можно без ссоры с цензурой бросить несколько стихов на его могилу, блестящих мыслями, как перлами нетленными. Предмет высок и глубок, не в меру цензуре, и тем лучше: она не должна найти в нем ничего запрещенного; а потомство нашло бы тут истину, еще не весьма ясную для современников»³³.

Однако Вяземский не торопился браться за предложенную ему Карамзиным тему. Сказывалось отсутствие необходимой поэтической традиции. Создание новой, соответствующей новым же представлениям о Наполеоне, было ему не по плечу.

Слова Карамзина о том, что истина о Наполеоне «еще не весьма ясная для современников», можно поставить эпиграфом к пушкинскому стихотворению, которое отражает все противоречивое богатство суждений об этом предмете, характерное для русской общественной мысли начала 1820-х годов.

Образ Наполеона и связанные с ним темы Французской революции и Отечественной войны 1812 года постоянно возникали в пушкинской лирике и в лицейские годы («Воспоминания в Царском Селе», «На возвращение государя императора», «Принцу Оранскому»), и в петербургские («Вольность»). И если обратиться к тексту «Наполеона», то можно заметить не только различия, но и сходство со многими образами и оценками стихотворений, ранее написанных на ту же тему.

Так, остается без изменения пушкинская оценка Наполеона как «тирана» («Во след тирану полетело, / Как гром проклятие племен»), восходящая к «Воспоминаниям в Царском Селе»: «Вострепещи тиран! уж близок час паденья» (I, 81).

Не меняется и пушкинское отношение к Наполеону как к «убийце вольности», т. е. исторический период, предшествующий его диктатуре, осмысляется Пушкиным как более демократический. Однако вряд ли все здесь обстоит просто, так как почти одновременно со стихотворением «Наполеон» писался «Кинжал», где отношение к якобинской диктатуре было иным, чем в оде; ср.: «Исчадь мятежей подьмлет злобный крик: / Презренный, мрачный и кровавый, / Над трупом Вольности безглавой / Палач уродливый возник» (II, 174). Из этого можно заключить, что, хотя пушкинское отношение к Французской революции в целом к ее отдельным

периодам находилось в стадии формирования, представление о Наполеоне как об исторической личности, «отрицавшей» все предшествующее, видимо, сложилось. При этом в стихотворении еще нет и следов столь характерной для круга Тургеневых и Вяземского точки зрения, что в судьбе Наполеона был период — время консульства — когда он воплощал в своей деятельности все лучшее из того, что было завоевано революцией.

В споре о том, были ли действия Наполеона определены ходом истории (Провидением) или же происходили вопреки ему, Пушкин решительно придерживался последней точки зрения. Наполеон в его оде изображен как человек блистательно, но безнадежно спорящий с судьбой. Характерно, что для этого поэт использует формулу из раннего творчества — «счастья сын» (при этом нужно учитывать весь пласт коннотаций, соответствующий этой формуле в русском поэтическом словоупотреблении)³⁴.

Целый ряд эпитетов и оценок в пушкинской оде явно намекают на инфермальную природу Наполеона. Таковы эпитеты «изгнанник вселенной», «надменный», за которым встает столь характерное для начала 1810-х годов, в том числе и для пушкинской лирики, представление о Наполеоне как о Люцифере, — точка зрения, совершенно изжитая передовой русской общественной мыслью и сохранившаяся к концу 1810-х годов только в официальных документах Священного союза³⁵ да в высказываниях таких людей, как Магницкий³⁶.

Очевидно, что пушкинские симпатии были на стороне Вяземского и А. И. Тургенева, а не Магницкого. Но чем же объяснить то обстоятельство, что его оценки так «отстают» от осмысления этого образа в названном нами кругу?

Стихотворение открывается манифестацией того, что «Наполеона <...> век», т. е. эпоха великих исторических перемен и потрясений, закончился и пора подводить итоги.

Первая строфа определяет важнейшие черты наполеоновского образа, которые будут развиты в дальнейшем. Наполеону приписываются атрибуты солнца, света — «угас великий человек», «закатился Наполеона грозный век». Так возникает тема погасшего солнца, угасшего света, которая в сочетании с эпитетом

«изгнанник вселенной» отсылает к образу побежденного Люцифера (Люцифер — «светоносный»).

Само представление о Наполеоне как о «деннице» и «Люцифере», конечно, не ново; оно пронизывает и русскую поэзию (Державин), и европейскую (Байрон). Новым является отношение к этому образу в рамках самого пушкинского творчества, и новизна эта определяется переносом акцента на те моменты судьбы Люцифера, которые ранее не представлялись важными: если сразу после войны 1812 года акцентировался момент борьбы Люцифера, то теперь Пушкин подчеркивает всю тяжесть наказания, которую он понес в результате своего поражения.

Несомненно, такое отношение к Наполеону определено байроновским отношением к протестантам против сложившегося в мире порядка (типа Каина и Манфреда), но характерен сам прием: Пушкин берет старый, не раз примененный для характеристики Наполеона образ, в данном случае образ Люцифера, но использует его так, что прежнее его значение (надменного богоборца) отступает на второй план, а на первый выступает новое («изгнанник вселенной»), хотя старое и «просвечивает» сквозь него.

Так формируется структурообразующий принцип, положенный Пушкиным в основу стихотворения «Наполеон», который можно определить как сочетание несочетаемого. На уровне эпитетов он реализуется в виде значительного числа оксюморонных сочетаний: «властитель осужденный», «погибельное счастье», «разочарованная краса», «ветхий <...> кумир», «блистательный позор», «великодушный пожар».

Оксюморонный характер получают и некоторые образы более сложной природы, чем эпитет. Так, в первой строфе могила — символ покоя и постоянства сочетается с «пустынными волнами» — символом изменчивости и динамики. В третьей строфе орлы, символы славы, сочетаются с образом «обесславленной земли» («Давно ль орлы твои летали / Над обесславленной землей...»). И заканчивается стихотворение смысловым оксюморном:

И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

(III, 216)

Если образ Наполеона построен на совмещении несовместимого, то и эпоха, названная его именем, также описана Пушкиным как чередование полярных состояний: сна, немоты, плена и пробуждения, шума, освобождения: «когда надеждой озаренной / От рабства пробудился мир...» — «Новорожденная свобода, / Вдруг онемев, лишилась сил...»; «Все пало с шумом пред тобой» — «Европа гибла — сон могильный / Носился над ее главой...»; «Но скучный мир, но хлад покоя / Счастливица душу волновал...» — «И все, как буря, закипело; / Европа свой расторгла плен».

Таким образом, пушкинское представление о пути развития эпохи оказывается изоморфным представлению поэта о характере Наполеона.

Всматриваясь в оксюморонные эпитеты пушкинского стихотворения, легко увидеть, что их двучленная структура определяется сочетанием полярных точек зрения на Наполеона. Однако эта полярность не только идеологическая, содержательная, а и чисто поэтическая, затрагивающая план выражения.

Еще предстояло, и, кстати говоря, во многом самому Пушкину, создать поэтические формулы, которые по-новому высветят образ Наполеона, в большем соответствии с развитием общественной мысли. Пока же в оде «Наполеон» делается к этому первый шаг, который заключается в том, что старые эпитеты дезавуируются путем добавления к ним смысловых и поэтических антонимов.

Нет ничего удивительного в том, что Пушкин выбрал именно оду, этого требовал и сам «высокий» предмет размышлений, и то, что в данном жанре традиционно решалась наполеоновская тема³⁷. Однако не случайно Карамзин, советуя Вяземскому написать поэтическую эпитафию на могилу великого изгнанника, рекомендует обратиться к нетрадиционным формам, называя сонет. Видимо, Карамзин понимал, что в одическом русле весьма трудно избежать трюизмов. Не избежал их и Пушкин, однако он в полной мере воспользовался теми творческими возможностями, которые дает ода с ее «сопряжением далековатых идей».

Стихотворение «Наполеон» диалектически совмещает в себе разные оценки наполеоновской личности. С этого произведения начинается новый этап пушкинских размышлений о повержен-

ном императоре, которым поэт посвятит три весьма важных в его южном творчестве стихотворения: «Зачем ты послан был и кто тебя послал...», «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» и «Кто, волны, вас остановил...». Незаконченный характер всех этих произведений свидетельствует о том, что до разгадки образа Наполеона было еще далеко.

1. См., например: *Дубровин Н. А.* Наполеон I в современном ему русском обществе и в русской литературе // *Русский вестник*. 1895. № 2, 4, 6, 7; *Грунский Н. К.* Наполеон I в русской художественной литературе // *Русский филологический вестник*. 1898. Т. 40; *Tbiry R.* Napoleon en Russie // *Revue de Paris*. 1898. Vol. 15. № 8; *Sorokine D.* Napoleon dans la litterature russe. Paris, 1979; *Муравьева О. С.* Пушкин и Наполеон: (Пушкинский вариант «наполеоновской легенды») // *Пушкин. Исследования и материалы*. Л., 1991. Т. XII. С. 5–32.
2. См.: *Эйдельман Н. Я.* Карамзин и Пушкин. Из истории взаимоотношений // *Пушкин. Исследования и материалы*. Л., 1986. Т. XII. С. 294–295.
3. См.: *Вацуро В. Э.* Подвиг честного человека // *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». Изд. 2-е, доп. М., 1986. С. 29–113.
4. См.: *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 282–284.
5. *Вестник Европы*. 1802. № 23. С. 100.
6. *Карамзин Н. М.* Соч. М., 1820. Т. 8. С. 2.
7. *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 2.
8. *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 300.
9. *Пантеон иностранной словесности*. М., 1818. Т. 2. С. 100.
10. *Орлов М. Ф.* Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 21, 22.
11. Там же. С. 56.
12. См.: *Степанов М.* Жозеф де Местр в России // *Литературное наследство*. Т. 29–30. М., 1937. С. 622. Примеч. 66.
13. Цит. по: *Муравьева О. С.* Пушкин и Наполеон. С. 10.
14. *Correspondance inédite, officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte avec les cours étrangères, les ministres et les généraux et étrangers en Italie, en Allemagne, en Egypte*. Paris, 1791–1821.
15. *Остафьевский архив...* СПб., 1899. Т. 1. С. 267–268.
16. *Архив братьев Тургеневых*. Т. 3. Пг., 1923. С. 200–201.
17. Там же. Т. 1. С. 9.
18. *Тютчев Ф. И.* Полн. собр. соч. СПб., 1911. С. 279.
19. *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1963. Т. 1. С. 601.

Генезис стихотворения Пушкина «Наполеон» (1821)

20. *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 71.
21. См.: *Остафьевский архив...* Т. 2. С. 27.
22. Там же. Т. 2. С. 353.
23. Там же. С. 200.
24. *Архив братьев Тургеневых.* Т. 3. С. 101.
25. *Остафьевский архив...* Т. 2. С. 105.
26. *Модзалевский Б. Л.* К истории «Зеленой лампы». М., 1928. С. 41.
27. Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* К истории «Зеленой лампы». С. 42.
28. См.: *Алексеев М. П.* Пушкин и проблема «вечного мира» // Он же. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 184–211.
29. *Вестник Европы.* 1821. № 14. С. 159–169.
30. Там же. № 13. С. 201–210.
31. См.: *Вольперт Л. И. А. С.* Пушкин и госпожа де Сталь // Французский ежегодник. М., 1972. С. 294–295.
32. *Карамзин Н. М.* Переписка с П. А. Вяземским. СПб., 1897. С. 117.
33. Там же. С. 118.
34. См.: *Лотман Ю. М.* Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Труды по знаковым системам. Вып. 7. Тарту, 1976. С. 133–135.
35. См.: *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Изд. 2-е. СПб., 1905. Т. 4. С. 499.
36. См.: *Пыпин А. Н.* Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916. С. 145–152.
37. См.: *Стенник Ю. В.* Традиции торжественной оды XVIII века в лирике Пушкина периода южной ссылки // XVIII век. Сб. 10. Л., 1975. С. 107–112.

*Руссо в идейной проблематике
стихотворения Пушкина
«Свободы сеятель пустынный...»*

Стихотворение Пушкина «Свободы сеятель пустынный...» имело исключительно важное значение в развитии общественной мысли середины 1820-х гг. Оно ходило по стране в значительном числе рукописных копий и целенаправленно распространялось в околодекабристских кругах¹. И это при том, что, написанное в декабре 1823 г., оно знаменует собой крайнюю степень отхода Пушкина от идей просветительского эгалитаризма, когда взаимоотношения поэта с декабристами В. Раевским, М. Орловым, К. Охотниковым имели характер весьма ожесточенной полемики².

Каково же действительное место «Сеятеля» в общественном движении? Отражает оно только пушкинское настроение периода «психологического кризиса 1823 г.» или какие-то общие идеологические процессы?

Ключевое значение стихотворения «Свободы сеятель пустынный...» в пушкинской лирике 1822–1823 гг. общепризнанно. М. А. Цявловский констатировал текстуальную и смысловую зависимость «Сеятеля» от стихотворения «Ты прав, мой друг...» и «Не тем горжусь я, мой певец...», атрибутируя их как послания Пушкина поэту-декабристу В. Ф. Раевскому³. И. Н. Медведева установила тематическую связь с «Сеятелем» стихотворения «Демон»⁴; обобщая наблюдения своих предшественников, В. А. Грехнев нашел в стихотворениях «Бывало в сладком ослепленье...», «Демон» и «Свободы сеятель пустынный...» не только текстовую и тематическую связь, но и структурное единство, объединив эти стихотворения в «демонический цикл (1823 г.)»⁵.

Если очевидно идейное родство «Сеятеля» и ряда стихотворений 1822–1823 гг., то не менее бросается в глаза смысловая противопоставленность пушкинской «политической басни» таким

Руссо в идейной проблематике стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...»

программным стихотворениям петербургского периода, как «Вольность» и «К Чадаеву». Характерно, что и самый первый контекст, в который Пушкин помещает стихотворение, — письмо от 1 декабря 1823 г. А. И. Тургеневу из Одессы в Петербург — уже содержит в себе антитезу «подражанию басне умеренного демократа Иисуса Христа». Открывается письмо стихотворением «Наполеон», сопровождаемым следующим пушкинским комментарием: «К стати о стихах: вы желали видеть оду на смерть Н.<аполеона>. Она не хороша, вот вам самые сносные строфы: <...> Вот последняя: <...> Хвала! ты русскому народу / Высокий жребий указал / И миру вечную свободу / Из мрака ссылки завещал... Эта строфа ныне не имеет смысла, но она написана в начале 1821 года — впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басни умеренного демократа И.<исуса> Х.<риста> (Изыде сеятель сеяти семена своя)...» (XIII, 78–79). Итак, как видим, противопоставление «Сеятеля» творчеству до 1822 г. вполне сознательно и подчеркнуто. Столь быстрая эволюция идейной установки поэта была в значительной степени определена необычайно живой интеллектуально насыщенной атмосферой «южной» ссылки.

К числу наиболее значительных исторических моментов, определивших смысл стихотворения, относят поражение европейских революций и разгром кишиневского гнезда декабристов (арест В. Ф. Раевского и отстранение М. Ф. Орлова от командования 16 дивизией)⁶. Также было отмечено, что на творчество Пушкина кишиневского периода большое влияние оказала социально-политическая концепция Ж.-Ж. Руссо⁷, однако хронологические границы этого влияния определены не вполне четко. Между тем все исследователи сходятся на том, что пушкинское отношение к Руссо эволюционировало чрезвычайно быстро и что переломным в этом отношении явился именно 1823 г. — год написания «Сеятеля». Учитывая ключевой характер стихотворения, его резкую противопоставленность тому периоду пушкинского творчества, который можно назвать «просветительским», представляется очень важным определить отношение Пушкина к Руссо именно в момент написания стихотворения⁸.

Тема осуждения «мирных народов», предпочитающих рабство свободе (основная тема второй строфы «Сеятеля»), являлась одной из излюбленных тем просветительской литературы. В своем основном философском произведении «О духе законов» Монтескье подробно останавливается на юридической и этической недопустимости добровольной отдачи в рабство⁹ и сочувственно цитирует мысль Аристотеля о том, что «нет ни одной добродетели, которая была бы свойственна рабам»¹⁰.

Свое наиболее полное воплощение эта мысль получила в трактатах Руссо, который считал преступлением не только рабство само по себе, но и отказ от борьбы за свободу: «Я знаю, что первые <цивилизированные народы> не устают превозносить мир и спокойствие и что они <...> жалкое рабство называют миром»¹¹. Даже войну, к которой приводит борьба за свободу, Руссо предпочитал миру, купленному ценой отказа от свободы: «Предпочитаю волнения свободы покою рабства»¹².

Ключевое для пушкинского стихотворения понятие «честь» — важнейшее и для Монтескье. Именно «честь» Монтескье считает гарантом политического равновесия в монархии: когда честь перестает определять отношения граждан, ее место занимает страх, а само государство из монархического становится деспотическим¹³. Идейное родство второй строфы «Сеятеля» с отмеченными положениями просветителей очевидно. Руссо сходится с Монтескье в признании важности понятия «честь», но целью государственного устройства считает не стабильность (политическое равновесие), а социальную справедливость в сочетании с личной свободой.

Принцип «свобода выше политической стабильности» был особенно актуален в начале 1820-х гг. на фоне европейских революций, когда, например, председатель неаполитанского парламента Пильди на выступление принца регента ответил речью, где ссылаясь на теорию «Общественного договора» Руссо. Этот факт не прошел мимо пушкинских друзей. Так, Н. И. Тургенев писал об этом брату Александру: «Какова тебе кажется речь неаполитанского парламента? Без буфонства они не на час. Теория договора есть настоящее буфонство, но может быть ясна для итальянских понятий»¹⁴. В 1820 г. Пушкин сам, скорее всего, подписался бы под этими строками, поскольку

Руссо в идейной проблематике стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...»

ку и для него тогда «народов Вольность и Покой» были неразделимы. Такова была точка зрения, принятая в кругу легитимистов, центр которого составлял Н. И. Тургенев и к которому в 1817 г. примыкал и поэт. Руссо не пользовался здесь авторитетом¹⁵, большее внимание и уважение вызывали труды Б. Константа, полемически направленные против идеи народного суверенитета, отстаивавшейся Руссо.

Всплеск интереса Пушкина к Руссо приходится на 1821 г. Он обусловлен, а может быть, и опосредован общением Пушкина с кишиневскими декабристами, прежде всего с поэтом-декабристом В. Ф. Раевским, который, по собственному его признанию, «*Esprit des Lois* [Дух законов] и *Contrat social* [Общественный договор] Руссо <...> вытвердил как азбуку»¹⁶. М. П. Алексеев выдвинул предположение, что именно Раевский способствовал проявлению в пушкинском творчестве идей женевого философа¹⁷. Однако, не преувеличивая антипросветительского характера пушкинского стихотворения, необходимо отметить, что отношение Пушкина к просветительской программе самого Раевского (которую наиболее полно поэт-декабрист сформулировал в стихотворениях «Певец в темнице» и «К друзьям в Кишинев») с начала 1823 г. носило характер полемики. Так, в ответ на прямое обращение Раевского: «Что составляло твой кумир — / Добро иль гул хвалы непрочной? / <...> И слыша стон простонародный, / Сей ропот робкий под ярмом, / Алкал ли мести благородной?»¹⁸, — Пушкин писал: «Не тем горжусь я, мой певец <...> // Не тем, что у столба сатиры / Разврат и злобу я казнил, / И что грозящий голос лиры / Неправду в ужас приводил, // Что непреклонным <?> вдохновеньем / И бурной [юностью моей] / И страстью воли и гоненьем / Я стал известен меж людей...» (II, 260). Заметим, что это антитезы не только обращению Раевского, но и творчеству самого Пушкина до 1821 г. («Хочу воспеть Свободу миру, / На тронах поразить порок...» — II, 45).

Еще острее полемизирует Пушкин с Раевским в своем повторном обращении к поэту-декабристу в 1822 году: «И мрачный опыт ненавижу // <...> Я говорил пред хладною толпой / Языком Истины [свободной], / Но для толпы ничтожной и глухой / Смешон глас сердца благородный. // <...> Везде ярем, секира иль венец, / Везде злодей иль малодушный» (II, 266). Общепросветительские «рецеп-

ты» Раевского Пушкин как бы сверяет с собственной творческой судьбой и историческим опытом своей эпохи (отсюда — «мрачный опыт ненавижу»), и уже стихотворение «Бывало в сладком ослеплень...», текстуально связанное с последним посланием к Раевскому, содержит в себе вывод, который почти без изменения войдет в «Сеятеля»: «Паситесь, мирные народы!».

Резкая противопоставленность «Сеятеля» и ряда стихотворений 1823 г. просветительской программе Раевского¹⁹, в значительной степени определенной трудами Руссо, и влияние Руссо, которое мы усматриваем во второй строфе «Сеятеля», свидетельствуют о том, что после 1822 г. Руссо стал близок Пушкину не тем, чем он оставался близок поэту-декабристу. Видимо, Раевский воспринимал идеи Руссо, не слишком дифференцируя их от положений других просветителей. Позитивная политическая программа поэта-декабриста формировалась и под влиянием Монтескье, о чем говорят не только выписки из «Духа законов» в черновых бумагах Раевского²⁰, но и постоянные реминисценции из Монтескье в курсе географии, прочитанном им юнкерам дивизионной школы. В соответствии с «Духом законов» Раевский определял в этом курсе понятия о республике, монархии, деспотии; в соответствии с воззрениями Монтескье ставил политическое устройство той или иной страны в зависимость от климата²¹. Следы влияния Монтескье несет и основной теоретический труд Раевского — рассуждение «О рабстве»²².

Руссо же привлекал Раевского прежде всего как наиболее последовательный и радикальный выразитель идеи просветительского эгалитаризма, идеи неотчуждения народного суверенитета, провозгласивший необходимость перемены власти всегда, когда монарх (суверен) нарушает общественный договор. В обширном следственном деле Раевского имеются показания нескольких солдат его роты, в которых утверждается, что Раевский призывал их к открытому неповиновению властям, говоря при этом, что «сам Государь нарушил присягу, обещался с народом обращаться хорошо, а теперь мучит»²³.

Деятельность Раевского в целом характеризуется необычайно тесным совмещением теории с практикой, уникальной даже для декабриста последовательностью проведения в жизнь эгалитарной просветительской идеи. Об этом хорошо свидетельствуют показа-

Руссо в идейной проблематике стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...»

ния полкового священника Луцкевича, который утверждал, что Раевский говорил ему «о равенстве всех человеков, уверяя, что подчиненные его ему друзья и что скорее уничтожится деспотство...»²⁴.

Именно идею просветительского эгалитаризма и не принимал в это время Пушкин как не выдержавшую испытания «мрачным опытом». Поэту на некоторое время сделался близок тот пессимизм, который переживал сам Руссо, когда рассуждал о возможности реализации собственной теории. Следующее положение из «Рассуждения о происхождении неравенства» Руссо представляется имеющим непосредственное отношение к политической концепции Пушкина периода создания «Сеятеля»: «Народы, уже привыкшие иметь повелителей, больше не в состоянии обходиться без них. Если они пытаются свергнуть иго, то еще больше удаляются от свободы, так как принимают за свободу безудержную распущенность, которая ей противоположна; такие перевороты только отдают этих людей в руки соблазнительей, которые только отягчают их цепи»²⁵. В. С. Алексеев-Попов так охарактеризовал эту сторону политической доктрины Руссо: «Неверие в возможность полного возрождения народа, утратившего первоизданную чистоту и простоту нравов, станет постоянным спутником мысли Руссо о будущем (позже она примет форму отрицания возможности для народа вернуть завоеванную и утраченную свободу)»²⁶.

Эта сторона политической мысли Руссо стала тем ближе Пушкину после 1822 г., что до этого времени убеждения поэта были очень демократичны²⁷. В Кишиневе Пушкин стоял по убеждениям ближе к Раевскому, чем к М. Орлову, который при всем размахе своей просветительской деятельности занимал гораздо более аристократические позиции, так как считал, что отмене крепостного права должна предшествовать конституция исключительно для дворян в качестве компенсации за утрату власти над крестьянами²⁸. Правда, здесь следует сделать оговорку, что в обстановке 1821 г. сам по себе антикрепостнический радикализм мог еще не иметь характера оппозиции правительству; особенно если учесть, что у Пушкина он формировался в спорах с явно оппозиционной теорией М. Орлова и под определенным влиянием Н. И. Тургенева, который, напротив, выступал за отмену крепостного права «сверху» и счи-

тал вредным расширение политических прав дворянства до того, как крепостное право будет уничтожено²⁹. Антикрепостнический пафос Пушкина 1821 г. мог, таким образом, вполне уместиться в рамках политической концепции «Деревни»: «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный / И Рабство, падшее по манию царя...» (II, 91).

Существенно же новым элементом политической программы Пушкина 1821 г. по сравнению с петербургским периодом явилось утверждение того, что «тишина», которой «хотят народы», является препятствием в достижении свободы: «Народы тишины хотят, / И долго их ярем не треснет...» (II, 179). Еще в «Вольности» свобода прославлялась именно как гарант политической стабильности: «И станут вечной стражей трона / Народов вольность и покой» (II, 48), при этом одинаково осуждаются и революционные действия народа, и деспотические действия монарха: с точки зрения Пушкина, и то, и другое неминуемо приводят к утрате свободы и политической стабильности. Но в послании к В. Давыдову, строчку из которого мы уже привели, в полном соответствии с воззрениями Руссо, свобода ставится выше тишины и политической стабильности: «Но нет — мы счастьем насладимся, / Кровавой чашей причастимся — / И я скажу: Христос воскрес» (II, 179).

Итак, только на юге идеи Руссо стали определять творческую установку Пушкина³⁰, но и тогда отношение поэта к Руссо не оставалось неизменным. Анализируя это отношение, Б. В. Томашевский писал, что в начальный период южной ссылки «место абстрактных политических формул, основанных на голом праве, стало занимать другое мировоззрение, которое связывалось с идеями Руссо. Увлечение руссоизмом у Пушкина продолжалось недолго, но стихи его кишиневского периода отражают часто влияние взглядов женеvского философа»³¹. Принимая в целом предложенную ученым концепцию, хотелось бы отметить, что и к 1824 г., когда отношение Пушкина к Руссо действительно осложнилось скептическим отношением к просветительским установкам вообще, Руссо все-таки оставался близок Пушкину хотя бы тем, чем женеvский философ оставался близок для всего романтизма байроновского направления — неверием в возможность народов, испорченных «тишиной», завоевать и отстоять утраченную ими свободу.

Тема «мирных народов» и связанная с ней тема «ярма» впервые появилась у Пушкина в 1821 г. в послании к В. Давыдову, активному члену Южного общества, в связи с размышлениями поэта о революции в Неаполе: «Но *те* в Неаполе шалят, / А *та* едва ли там воскреснет...» (II, 179). Правда — и это существенное отличие процитированного стихотворения от «Сеятеля» — «народам», желающим «тишины», в послании противопоставляется активное, деятельное «мы»: «Но нет, мы счастьем насладимся...» Это противопоставление особенно значимо в связи с письмом Пушкина к В. Давыдову, где описывается устройство тайного общества-гетерии. Так уже в послании возникает антитеза, которая пройдет через ряд пушкинских стихотворений 1822–1823 гг., народ, желающий «тишины» и поэтому не способный сам избавиться от «ярма», и некоторое активное меньшинство, которое (в 1821 г. Пушкин еще верит в такую возможность) способно избавить народ от рабства.

Дальнейшее развитие тема избранного меньшинства получила в посланиях к В. Раевскому. Антитеза «мы» — «народ» заменяется здесь антитезой «я» — «толпа, народ». Сохраняя свой общеполитический смысл, это противопоставление приобретает еще и смысл эстетический, ведь на призыв Раевского «Оставь другим певцам любовь! / Любовь ли петь, где брызжет кровь...»³² Пушкин объясняет поэту-декабристу, почему изменилась его творческая установка: «Везде ярем, секира, иль венец...»

В стихотворении, непосредственно предшествующем «Сеятелю» и связанном с ним текстуально — «[Мое] беспечное незнание...», авторское «я» противопоставляется последовательно: «людям» («[И взор я бросил на] людей, / Увидел их надменных, низких...»), «толпе» («Пред боязливой их толпой <...> [Смешон] [глас] правды благо<родны>й...») и, наконец, «стаду» («Стадам не нужен дар свободы...») (II, 293). Это стихотворение ближе всего к «Сеятелю» и по смыслу, по силе противопоставления «я» — «народ, толпа, стадо», и текстуально, так как содержит в себе в качестве заключения вывод, который станет и последней строфой «Сеятеля»: «Паситесь, мирные народы...»

Тема «мирных народов» оказалась связана с темой избранного меньшинства, и, соединившись, обе эти темы образовали сюжет,

отголоски которого можно усмотреть и в «Сеятеле»: «народ», желающий «тишины», и активное деятельное меньшинство, которое все более резко противопоставляется «мирным народам» до тех пор, пока это противопоставление не дойдет до предела, до оппозиции «я» — «стадо».

Если пытаться искать корни этого противопоставления, то нельзя не обратиться к высказыванию Пушкина, которое получило условное название «О вечном мире» и в передаче кишиневской собеседницы поэта, Е. Н. Орловой, звучит так: «Он <Пушкин> убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будем считать лишь нарушителями общественного спокойствия»³³. Как видим, отношение Пушкина к людям с «сильными характерами», творящими историю, здесь существенно иное, чем, например, в послании к В. Давыдову; совершенно естественным представляется то, что эта мысль помещена Пушкиным в контекст политических идей Руссо (это особенно очевидно не в пересказе Орловой, а в записи («О вечном мире») самого Пушкина)³⁴, ведь именно положение Руссо о неотчуждаемости народного суверенитета исключало возможность активной деятельности «избранных людей», делающих историю, в то время как большинство народа пассивно.

Вопрос о том, можно ли делить людей на низших и высших, на стадо и пастырей, серьезно занимал Руссо; в «Общественном договоре» он говорил об этом следующее: «По мнению Гроция, стало быть, неясно, принадлежит ли человеческий род какой-нибудь сотне людей или, наоборот, эта сотня принадлежит человеческому роду, и на протяжении всей книги он как будто склоняется к первому мнению <...> Таким образом, человеческий род оказывается разделенным на стада скота, каждое из которых имеет своего вожака, берегущего оное с тем, чтобы его пожирать. Подобно тому, как пастух — существо высшей природы по сравнению с его стадом, так и пастыри людские, кои суть вожаки людей, — существа природы высшей по отношению к их народам...»³⁵. Однако, приводя мнение Гуго Гроция и Аристотеля о том, что существуют рабы по природе, Руссо реши-

тельно его опровергает, говоря, что «если существуют рабы по природе, так только потому, что существовали рабы вопреки природе»³⁶. Таким образом, можно подумать, что строками «Паситесь, мирные народы! / Вам недоступен чести клич, / Наследье вам из рода в роды / Ярмо с гремушками да бич» — Пушкин не только решительно порывает с эгалитаристскими положениями Руссо, но переходит тем самым в число идеологических оппонентов женевского философа. Ю. М. Лотман с полным основанием утверждает, что «события 1823 г., неудачи европейских революций, разгром кишиневского гнезда декабристов — все это ввело Пушкина в новый цикл размышлений, и они привели к пересмотру оценки основных идей Руссо. Прежде всего подверглась сомнению идея природной доброты и разумности человека, на которой зиждилась вера в общественные преобразования»³⁷. Вместе с тем необходимо отметить, что, во-первых, в оценке возможности современных ему народов (а не народа вообще) вернуть утраченную свободу Руссо был не меньшим пессимистом, чем Пушкин в 1823 г., и в этом отношении «Сеятель» скорее созвучен Руссо, чем спорит с ним; во-вторых, сам Руссо часто с горечью уподоблял стаду положение цивилизованных народов, утративших свободу и не желающих ее возвращать. Об этом философ говорит, например, в «Рассуждении о науках и искусствах»: «Люди уже не решаются казаться тем, что они есть <...> эти люди, составляющие стадо, именуемое обществом...»³⁸. В «Рассуждении о происхождении неравенства» Руссо утверждает, что человек «ниводит себя до уровня животного», если сам отказывается от свободы³⁹. Наконец, в «Общественном договоре» Руссо так заключает свои рассуждения о том, можно или нет делить людей на стадо и пастырей: «В оковах рабы теряют все, вплоть до желания от них освободиться, они начинают любить рабство, подобно тому, как спутники Улисса полюбили свое скотское состояние»⁴⁰. Как видим, и у Руссо тема «мирных народов» непосредственно связана с мотивом «стада», которому он уподобляет цивилизованное общество.

Возможно, что и сам образ «сеятеля» (несомненно, автобиографический) определенным образом связан с Руссо, именно про которого Робеспьер сказал в одной из своих речей: «Сеет в одном веке, а пожинает в следующих веках»⁴¹. Внимательно изучая исто-

рию Великой Французской революции, Пушкин, безусловно, знал о том культе Руссо, который существовал во время якобинской диктатуры, и, может быть, потому, что Пушкин связывал культ Руссо с именем Робеспьера, в стихотворении «Андрей Шень» перенесение праха Руссо в Пантеон приурочено именно к этому периоду революции, тогда как на самом деле перенесение состоялось уже после термидорианского переворота⁴².

Поднятый Руссо вопрос о том, можно или нет делить людей на «стадо» и «пастырей», оказался очень актуален для декабристов (при том, конечно, что не всегда связывался с именем Руссо). На «просветительском» этапе движения, который хронологически совпадает с деятельностью Союза Благоденствия, хотя полностью к ней не сводится, подобное разделение было принципиально неприемлемо. Со сторонниками этой точки зрения велась решительная борьба; так, М. Орлов в своей знаменитой речи перед членами Библейского общества в Киеве говорил: «Сии политические староверы руководствуются самыми странными правилами: они думают, что вселенная создана для них одних, что они составляют особенный род, избранный самим промыслом для угнетения других, что люди разделяются на две части: одна, назначенная для рабского состояния, другая для гордого умствования в начальстве...»⁴³. Для этого этапа декабризма актуальной была не фигура «пастыря», а фигура «сеятеля», и тот же М. Орлов писал П. А. Вяземскому: «Мы так напуганы, что и счастья боимся. Какая жатва может быть на поле, которое зарастим осокою? Всякий день озаряет постепенность к падению всего общества. <...> Не грозой побита будет жатва, но червями съедена <...>»⁴⁴. Характерно, что «Зеленая книга», устав Союза Благоденствия, имела своим заключением перифраз строк из 13-й главы Евангелия от Луки (откуда взят эпиграф к «Сеятелю»): «Никто же возлож руку свою на рало, и зря вспять, управлен естъ в царствии Божии»⁴⁵.

В поданном Грибовским Бенкендорфу доносе на Союз Благоденствия говорилось, в частности, что в рамках Союза «предполагают мало-помалу завести небольшие общества под названием Любителей цветов, деревьев и тому подобных...»⁴⁶. Пестель свидетельствовал на следствии, что слышал о существовании (в рамках Союза Благоденствия) общества «Свободных садовников»⁴⁷.

Для самого радикального крыла «просветительского» декабризма, для кишиневской организации, было характерно непосредственное обращение к солдатской массе; пример тому — прежде всего деятельность В. Ф. Раевского. Роспуск Союза Благоденствия, разгром кишиневского гнезда декабристов знаменуют собой завершение «просветительского» этапа в истории декабризма (теперь лицо движения будут определять «заговорщики»), и влечет за собой существенное изменение в тактике и идеологии. Так, Майборода утверждал: «Прежде надежды же его <общества>, как я слышал от полковника Пестеля, главным образом основывались прежде на приобретении доверенности нижних чинов, которые бы в нужном случае пошли туда, куда поведут их начальники, но после известного происшествия в 16 пехотной дивизии общество переменяло будущие свои орудия: вместо непосредственного оболыщения нижних чинов признано лучшим привлекать сколь можно больше офицеров (но в принятии их быть как можно осторожнее), которые постепенно бы привязывали к себе солдат и старались приготовить их к слепому повиновению воле своих начальников»⁴⁸. Для просветительского сознания идея заговора была чужда как противоречащая принципу эгалитаризма⁴⁹, но после трагических размышлений дворянские революционеры все же приходили к идее заговора. Скептическое отношение к просветительской программе, возможно, и определило известную популярность «Сеятеля» среди декабристов⁵⁰. Для самого же поэта «Сеятель» ознаменовал собой крайнюю точку романтического скептицизма, после которой началось постепенное «возвращение», несколько усложненное «мрачным опытом» эпохи⁵¹.

Руссо оставался близок Пушкину в период написания «Сеятеля», несмотря на то, что дух стихотворения противоречил просветительской программе французского философа. Пушкину стал ближе пафос отрицания Руссо, неприятие современной политической ситуации, скептический взгляд на возможности народов, испорченных цивилизацией, вернуть себе утраченную свободу, т. е. все то, что роднило Руссо с романтизмом байроновского направления (это дало возможность Б. В. Томашевскому говорить о «руссоистском байронизме»⁵²). Близкой оставалась Пушкину и та

система образов, которую использует Руссо, его «язык описания», и в этом более всего проявилась органическая связь Пушкина с просветительской культурой XVIII в.

1. См.: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин в донесениях агентов тайного надзора 1826–1830 // *Былое*. 1918. № 1. С. 13; *Щербачев Ю. Н.* Приятели Пушкина П. П. Каверин и М. А. Щербинин. М., 1913. С. 113; *Мандрыкина Л. А., Цявловская Т. Г.* Распространение стихов Пушкина Каверинным и Щербининым // *Литературное наследство*. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 393–405.

2. См. главу «Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина периода южной ссылки» наст. изд., с. 80–82.

3. *Цявловский М. А.* Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому // *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*. Т. 6. Л., 1941. С. 50.

4. *Медведева И.* Пушкинская элегия 1820-х гг. и «Демон» // Там же. С. 56.

5. *Грехнев В. А.* Лирический сюжет в поэзии Пушкина // *Болдинские чтения*. Горький. 1977. С. 14.

6. См.: *Раевский В. Ф.* Стихотворения. Л., 1952. С. 45 (примеч. В. Г. Базанова); *Бейсов П.* Новое о В. Ф. Раевском // *Пушкинский юбилейный сборник*. Ульяновск, 1949. С. 214.

7. См.: *Алексеев М. П.* А. С. Пушкин. Л., 1972. С. 170–183; *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // *Руссо Ж.-Ж. Трактаты*. М., 1969. С. 597 (в дальнейшем сокращенно: Руссо, с указанием страницы); *Тамашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 134–136.

8. В своем понимании социальных идей Руссо мы исходим прежде всего из концепции В. С. Алексеева-Попова (см.: *Алексеев-Попов В. С.* О социальных и политических идеях Ж. Ж. Руссо // *Руссо*. С. 487–555). Основной работой, определившей пути влияния Руссо на русскую культуру, явилась для нас монографическая статья Ю. М. Лотмана «Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века» (Там же. С. 556–605).

9. *Монтескье Ш.* Избр. произведения. М., 1955. С. 363.

10. Там же. С. 190.

11. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми (пер. А. Д. Ханютина) // *Руссо*. С. 87. Латинская фраза в тексте принадлежит Тациту (*История*, IV, 17).

12. Там же. С. 201.

13. *Монтескье Ш.* Избр. произведения. С. 184. Возможно, это положение Монтескье имел в виду В. Ф. Раевский, обращаясь «К друзьям в Кишинеv»: «Народ, подвластный страху, не смеет шепотом роптать...» (*Раевский В. Ф.* Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1981. Т. 1. С. 194; в дальнейшем сокращенно: Раевский, с указанием страницы).

14. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма. М.; Л., 1936. С. 319.

Руссо в идейной проблематике стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...»

15. См.: *Вальденберг В.* Природа и Закон в политических воззрениях Пушкина // *Slavia. Praha*, 1925. Т. 4. С. 71–72.

16. Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 116.

17. *Алексеев М. П.* Пушкин. С. 181.

18. Раевский. С. 195–196.

19. См.: *Эйдельман Н. Я.* Пушкин и В. Ф. Раевский (К истории взаимоотношений) // Пушкинские чтения в Тарту. Таллинн, 1987. С. 44–45.

20. РО ИРЛИ, 3168 XV6. Л. 21–22 об.

21. См.: Раевский. С. 134–141.

22. «Наконец, скажу вместе с неподражаемым Монтескье, что люди здесь имеют один удел с бессловесными животными: внутреннее влечение, повиновение, казнь» (Там же. С. 100).

23. Там же. С. 291.

24. Раевский. С. 316.

25. *Руссо*. С. 33.

26. *Алексеев-Попов В. С.* О социальных и политических идеях Ж.-Ж. Руссо // *Руссо*. С. 512.

27. Кишиневский собеседник Пушкина П. И. Долгоруков вспоминал: «Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большей частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли» (*Долгоруков П. И.* 35-й год моей жизни, или Два дни ведра на 363 ненастья // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 354).

28. С. И. Тургенев писал в дневнике, собираясь отвечать на письмо М. Орлова: «К Орлову буду отвечать по пунктам, разбирая здесь идеи о рабстве, он немного по-русски думает, что дворяне теряют право, которое им иным правом компенсировать надобно» (цит. по ст.: *Ланда С. С.* О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816–1821 гг.: (Из политической деятельности П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. Орлова) // Пушкин и его время. Л., 1962. С. 165).

29. «Когда я замечал в людях, с которыми говорил, желание политической свободы без освобождения класса крепостных, то негодование овладевало мною, и, видя меня, можно было подумать, что я защищаю абсолютизм» (*Тургенев Н. И.* Россия и русские. Пер. Н. И. Соболевского. Под ред. А. А. Кизеветтера. М., 1915. С. 80).

30. См. об этом: *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура... // *Руссо*. С. 590.

31. *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 134.

32. Раевский. С. 194.

33. См.: *Гершензон М. О.* Семья декабристов // *Былое*. 1906. № 10. С. 308.

34. См.: *Алексеев М. П.* Пушкин и проблема «вечного мира» // *Алексеев М. П.* Пушкин. С. 170–183.

35. Об общественном договоре, или Принципы политического права (пер. А. Д. Ханютина и В. С. Алексеева-Попова) // *Руссо*. С. 153.

І. Лирика изгнания

36. Там же. С. 164.

37. *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура... // Руссо. С. 597.

38. Рассуждение, получившее премию Дижонской Академии в 1750 году по вопросу, предложенному той же Академией: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (пер. А. Д. Ханютина) // Руссо. С. 13.

39. Там же. С. 88.

40. Там же. С. 153.

41. *Робеспьер М.* Избр. произведения. М., 1965. Т. 1. С. 161.

42. В 1830 г. в Париже вышли подложные мемуары Робеспьера (*Mémoires authentiques de Maximilien de Robespierre*. Paris, 1830. Т. 1–2), включающие в себя следующий эпизод: Робеспьер во время поездки в Эрменовиль встречается с Руссо, который пророчествует: «Я возделал поле, я посеял семя, которому суждено возрасти и расцвести».

43. *Орлов М. Ф.* Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 44.

44. Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 29. Ср.: «Мои слова — зерна: сами собою ничего не значат, но вверенные почве производительной, они могут приготовить богатую жатву» (П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу от 30 января 1821 г. — Остафьевский архив... СПб., 1899. Т. 2. С. 143–144).

45. См.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 275.

46. Русский архив. 1875. Т. 3. С. 429.

47. Восстание декабристов. Т. 4. М.; Л., 1927. С. 106.

48. Там же. С. 12–13. Подобная тактика вызвала впоследствии резкое порицание М. Орлова; пересказывая письмо к нему И. И. Пущина, он писал в своей знаменитой «Записке»: «Мы <участники восстания 14 декабря> уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна соблюдаться. За слова не ручаюсь, но смысл таковой. Сие доказывает, что солдаты были жертвами простого обольщения, для произведения мятежа, коим можно было воспользоваться для дальнейших предприятий» (*Орлов М. Ф.* Записка о тайном обществе // Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев, 1906. С. 16).

49. См. об этом: *Лотман Ю. М.* Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII в. // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 167. Тарту, 1965.

50. См.: *Мандрыкина Л. А., Цяловская Т. Г.* Распространение стихов Пушкина... С. 393–405.

51. См. об этом: *Грехнев В. А.* Лирический сюжет в поэзии Пушкина. С. 18; *Фомичев С. А.* О лирике Пушкина // Русская литература. 1974. № 2. С. 48.

52. *Тамашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 139.

II.

*Исторический фон
лирики изгнания*

Кишиневский кружок декабристов (1820–1821 гг.)

Проблема «Пушкин и кишиневские декабристы» относится к числу хорошо изученных. Нет ни одного исследования, посвященного кишиневскому периоду творчества поэта или деятельности кишиневского кружка, где бы не затрагивался этот вопрос¹. При этом было отмечено, что кишиневские декабристы — М. Ф. Орлов, В. Ф. Раевский, П. С. Пущин, К. А. Охотников — не только составляли основу окружения Пушкина в Кишиневе, но именно в спорах с ними формировалось политическое мировоззрение поэта, его этическое и эстетическое кредо.

Обстоятельно изучены различные аспекты взаимоотношений Пушкина с М. Ф. Орловым. Пушкинские строки, характеризующие его общение с главой кишиневского кружка декабристов: «С Орловым спорю...» — рассмотрены на широком историко-культурном фоне². Определены отголоски этих споров в творчестве Пушкина, прежде всего в исторических заметках, а также и в лирике. Так, Б. В. Томашевский связал проблематику пушкинского стихотворения «Война» со спорами о «вечном мире», которые Пушкин вел с Орловым³.

Пристальное внимание исследователей привлекли взаимоотношения Пушкина с «первым декабристом», В. Ф. Раевским⁴. Интерес к этой теме особенно возрос после того, как М. А. Цявловский показал, что программные стихотворения Пушкина 1822 г. «Не тем горжусь я, мой певец...» и «Ты прав, мой друг — напрасно я презрел...», обращены к Раевскому⁵.

Менее изучены взаимоотношения Пушкина с П. С. Пущиным. Однако работа Р. В. Иезуитовой «Письмо Пушкина к П. А. Осиповой» пролила свет и на эти, весьма сложные и противоречивые взаимоотношения, также нашедшие отражение в пушкинском творчестве, в частности в послании «Генералу Пущину»⁶.

II. Исторический фон лирики изгнания

Взаимоотношения Пушкина с К. А. Охотниковым, до сих пор не привлекавшие специального внимания исследователей, подробно рассмотрены нами в следующей главе этого раздела⁷.

Если ко всему сказанному выше добавить, что благодаря исследованиям Н. Я. Эйдельмана обстоятельно изучена история дружбы Пушкина с И. П. Липранди и Н. С. Алексеевым⁸, близкими к кишиневским декабристам, то проблема «Пушкин и кишиневский кружок Союза Благоденствия» может показаться исчерпанной. Но это далеко не так.

Нельзя не заметить определенного «крена», существовавшего в изучении деятельности кишиневских декабристов: детально прослежены их связи с Пушкиным, но при этом относительно мало изучены взаимоотношения даже виднейших членов кружка. Кишиневская организация молчаливо признается исследователями цельной и «невозмутимой»; при этом игнорируется то обстоятельство, что основной период деятельности кишиневцев приходится на конец 1820 г. — начало 1822 г., т. е. на один из самых кризисных периодов в истории декабризма, когда просветительский этап движения сменялся периодом формирования более конспиративных политических обществ. Эта смена проходила в мучительных дискуссиях, развернувшихся как на Московском съезде Союза Благоденствия в январе 1821 г., так и в основных управах Союза. Был ли кишиневский кружок счастливым исключением из общего правила или и здесь, как и в других звеньях Союза Благоденствия, имели место определенные внутренние разногласия? Этот вопрос представляется важнейшим и для истории декабризма, и для пушкинистики, так как именно по кишиневскому кружку Пушкин судил о движении в целом, связывая деятельность своих кишиневских друзей с деятельностью последующих тайных обществ.

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных собственно кишиневскому кружку декабристов⁹, многое в его деятельности продолжает оставаться неясным. Главный вопрос касается деятельности кишиневских декабристов, начиная со второй половины 1820 г. до января 1821 г., когда кишиневцы, по крайней мере формально, действовали в рамках Союза Благоден-

ствия; одна из основных проблем в этой связи — о статусе кишиневского кружка внутри Союза Благоденствия. Что касается деятельности кружка после января 1821 г., то здесь существенными представляются вопросы о степени самостоятельности кишиневской организации и о внутренней целостности кишиневской организации (важность этой последней проблемы нам еще предстоит обосновать).

Решение вопроса о статусе кишиневского кружка внутри Союза Благоденствия сталкивается со значительными трудностями, связанными с тем, что к концу 1820 г. Союз как цельная организация переживал кризис, тогда как организация в Кишиневе только формировалась. Поэтому, видимо, нет смысла говорить о связях кишиневцев с центральными управами, но необходимо поставить вопрос об отношении кишиневского кружка к Тульчинской управе, принимая при этом во внимание, что и Тульчинская организация была отнюдь не однородна по своему составу, и в ней к концу 1820 г. наметилось несколько идеологических групп: с одной стороны, М. А. Фонвизин и И. Бурцев, с другой — П. И. Пестель и А. П. Юшневский; особо можно выделить позицию Н. И. Комарова.

Несмотря на всю неопределенность сложившейся ситуации, многие исследователи называют безо всякого обоснования кишиневский кружок декабристов «управой Союза Благоденствия»¹⁰, как будто это вопрос давно решенный. Между тем, подобное утверждение нуждается в обосновании, так как до сих пор не найдено ни одного высказывания современников¹¹, ни одного документа эпохи, где бы кишиневский кружок носил такое название. Это означает, с нашей точки зрения, что в глазах декабристов, по крайней мере формально, кружок и не был управой. Но, может быть, кишиневская организация просто не успела получить формальный статус управы, хотя в действительности обладала всеми ее качествами?

Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо вспомнить, какие организации внутри Союза Благоденствия могли получать статус управ. Соотнося показания декабристов с соответствующими статьями из «Законоположения Союза Благоденствия», автор «Донесения Следственной комиссии» так говорил о делении Союза на управы: «Управы были Деловые, Побочные и Главные. Управа назы-

влась Деловою и получала список первой части Устава, когда в ней было не менее 10 членов; до тех пор она считалась недействительною, однако же Коренной союз имел право делать исключения из сего правила для скорейшего распространения Общества <...> всякая <управа> могла завести себе побочную, которая имела сношения только с нею <...>. К Главным поступала та, которая завела три Побочные или три Вольные общества <...>, такая управа получала список второй части Устава»¹².

Конечно, на практике внутренняя структура Союза Благоденствия отнюдь не всегда соответствовала «Законоположению», поэтому, определяя реальный статус кишиневского кружка (да и любой организации внутри Союза), необходимо исходить не столько из формальных признаков, но в большей степени из того, обладала ли организация достаточной внутренней целостностью как в вопросах тактики, так и в вопросах политической программы. При этом понятно, что степень тактического и программного единства является производной от численности организации и ее разветвленности.

Вопрос о составе кишиневского кружка Союза Благоденствия нуждается в уточнении. В «Алфавите декабристов» зафиксирована принадлежность к Союзу шестерых кишиневцев: командира 16-й дивизии генерала М. Ф. Орлова и пятерых офицеров этой дивизии — В. Ф. Раевского, К. А. Охотникова, А. Г. Непенина, П. С. Пущина и И. М. Юмина¹³. Остается недоказанной принадлежность к кишиневской организации Союза Благоденствия братьев Ивана и Павла Липранди. Принадлежность к Союзу И. П. Липранди утверждал на следствии Н. И. Комаров¹⁴, однако его свидетельство не нашло подтверждения в ходе работы Следственной комиссии. Пробыв в заключении около месяца, И. П. Липранди был освобожден с оправдательным аттестатом¹⁵. С точки зрения автора проблемной статьи об И. П. Липранди П. А. Садикова, не заслуживает доверия и утверждение С. Г. Волконского о принадлежности И. П. Липранди к Союзу Благоденствия¹⁶. По мнению исследователя, «неразоблаченным участником бессарабской организации» был не Иван Липранди, а его брат — Павел¹⁷. Но и с этим трудно согласиться, так как «Воспоминания» В. Ф. Раевского, изданные полностью уже после

публикации статьи П. А. Садикова, не подтвердили предположение последнего о том, что П. П. Липранди предупредил Раевского о готовящемся обыске¹⁸. Правда, возможно, что Раевский просто не хотел компрометировать П. П. Липранди, который в момент написания «Воспоминаний» еще служил, однако, даже если бы удалось доказать определенное участие, которое П. П. Липранди принимал в Раевском, это не могло бы служить доказательством принадлежности офицера к кишиневскому кружку Союза Благоденствия. При этом утверждение Н. Я. Эйдельмана, что, «независимо от вопроса о формальном членстве Ивана Липранди в тайном обществе, в начале 1820-х годов он был несомненно близок южным декабристским кругам»¹⁹, вполне можно отнести и к П. П. Липранди. Идеальная близость и дружба братьев Липранди с членами кишиневского кружка несомненна, однако их сознательное участие в его деятельности безусловно подразумевало бы формальную принадлежность братьев к тайному обществу.

Число членов Союза Благоденствия в Кишиневе, скорее всего, и ограничивается теми шестью, которые попали в «Алфавит декабристов». Эти шесть человек, среди которых были такие яркие фигуры, как М. Ф. Орлов и В. Ф. Раевский, вполне могли бы составить «Деловую управу», несмотря на то, что по «Законоположению» количество ее членов не должно быть (как было отмечено) меньше десяти²⁰. Для кишиневского кружка, сложившегося только к концу 1820 г., вопрос о тактическом и программном единстве был в значительной степени связан с тем опытом пребывания в Союзе Благоденствия, который приобрел каждый из шести его членов к моменту общей встречи в Кишиневе. Именно этот опыт и определял представление каждого о целях и тактике организации (тем более что переезд этих декабристов в Кишинев был обусловлен служебной необходимостью, а не делами Союза).

Наибольшим опытом пребывания в Союзе Благоденствия обладал К. А. Охотников. Близкий друг М. А. Фонвизина, он руководил московской управой Союза еще в 1818 г.; видимо, Фонвизин и принял Охотникова в тайное общество²¹. Орлов был принят в Союз Благоденствия в Тульчине, накануне своего приезда в Кишинев,

II. Исторический фон лирики изгнания

Фонвизиним, Пестелем и Юшневским²². Также в Тульчине в 1819 или 1820 г. Н. И. Комаровым был принят в общество В. Ф. Раевский²³. В 1819 г. Пестелем, скорее всего в самом Кишиневе, был принят в Союз А. Г. Непенин²⁴. Тогда же полковником Бистремом был принят И. Юмин²⁵. Если учесть, что политическая ориентация принятых в Союз и их представления о его целях были связаны с идейной позицией тех, кто их туда принимал, то «пестрота» во взглядах кишиневских декабристов станет неизбежной, ведь они были приняты в Союз людьми разных (а порой, как Пестель и Комаров, противоположных) политических убеждений. Следовательно, вопрос о наличии среди кишиневцев общего взгляда на тайное общество и его задачи не представляется простым и очевидным, и при решении его необходимо исходить из сравнения индивидуальных позиций наиболее активных членов кишиневского кружка Союза Благоденствия.

В своей «Записке о тайном обществе», написанной во время следствия, М. Ф. Орлов так определил круг членов кишиневской организации: «Приехавши в Кишинев, я нашел там Охотникова и вскоре потом явился ко мне майор Раевский <...>, который дал мне знать, что он также член Общества <...> Я нашел еще полковника Непенина, также члена общества, посвященного Пестелем, и который тому ни душой, ни телом не виноват. Других членов общества в дивизии не было ни одного, кроме сих трех, и во все время моего командования не прибавилось»²⁶. Конечно, к свидетельству Орлова необходимо относиться с осторожностью, однако дальнейшее расследование не нашло аргументов, противоречащих утверждению генерала о том, что И. Юмин и П. С. Пущин, не названные им в «Записке», кишиневские формальные члены Союза, фактически не участвовали в деятельности кружка. В «Алфавите декабристов» о П. С. Пущине сказано так: «Был членом Союза Благоденствия, но уклонился и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 года»²⁷. И. Юмин характеризовался следующим образом: «По изысканию комиссии оказалось, что в 1819 г. он вступил в Союз Благоденствия, но впоследствии донес о сем генералу Сабанееву <...> К тайному обществу же не принадлежал»²⁸. Именно на 1821 г. (т. е. на то время, когда, по изысканию комиссии, Пущин и Юмин

отошли от деятельности тайного общества) и приходится основной период деятельности кишиневских декабристов. Таким образом, Орлов, видимо, не слишком грешил против истины, утверждая, что у него «было два офицера, которые входили в общество: Раевский <...> и Охотников»²⁹. Правда, необходимо отметить, что, помимо формальных членов Союза Благоденствия, в Кишиневе было несколько активных помощников Орлова и Раевского, не принадлежащих к Союзу: поручик Н. С. Таушев, прапорщик В. П. Горчаков, тот же И. П. Липранди. И все-таки центр кишиневского кружка Союза Благоденствия и центр широкого круга либерально настроенных офицеров 16-й дивизии безусловно совпадали, его составляли все те же Орлов, Раевский и Охотников. Отношения между ними и определяли политический климат кишиневской организации. Решение вопроса о том, составляли ли кишиневские декабристы управу Союза Благоденствия, в значительной степени зависит от того, в какой степени были сплочены кишиневцы и как они были связаны с Тульчинской управой.

В том, что декабристы из штаба 2-й армии, прежде всего Пестель и Фонвизин, были заинтересованы иметь в Кишиневе свою дочернюю организацию, свидетельствует та настойчивость, с которой Орлов был приглашаем ими сначала в члены Союза, а потом на Московский съезд Союза Благоденствия³⁰. Об этом же свидетельствует наличие у К. А. Охотникова, близкого друга Фонвизина, устава Союза Благоденствия, «Зеленой книги», с расписками некоторых членов общества. Последнее обстоятельство свидетельствует также об определенном несоответствии в распределении «ролей» внутри кишиневского кружка, ведь, как заметил Ю. Г. Оксман, наличие устава с расписками у Охотникова говорит о том, что именно он был формальным главой кишиневского кружка (если рассматривать кружок как отделение Союза Благоденствия)³¹, тогда как вряд ли требует специального обоснования то, что фактическим руководителем кишиневцев был Орлов, старший воинский начальник в Кишиневе, человек общероссийской известности.

О разногласиях между М. Ф. Орловым и «партией» М. А. Фонвизина, проявившихся на Московском съезде Союза Благоденствия, существует большая мемуарная и исследовательская литература³².

II. Исторический фон лирики изгнания

Гораздо меньшее внимание исследователей привлекло то обстоятельство, что активным членом «партии» Фонвизина явился Охотников, второй делегат от кишиневцев на Московском съезде, и что в полемике с Орловым Охотников принял непосредственное участие³³. В дальнейшем М. Ф. Орлов покинул съезд, а К. А. Охотников остался и сделался причастен «заговору в заговоре» (как с неудовольствием определил Орлов структуру новой организации), т. е. был посвящен в тайну нового тайного общества, созданного после того, как Союз Благоденствия был распущен³⁴.

Посвященность Охотникова в планы создания новой организации еще не свидетельствует о том, что после Московского съезда кишиневский кружок сохранил свои связи с Тульчинской управой. Ведь в Тульчине с 1821 г. взяла верх не «партия» Фонвизина, к которой принадлежал Охотников, а «партия» Пестеля. Пестель впоследствии свидетельствовал, что «с Непениным же и майором Раевским никаких совершенно не было у нас сношений. Об уничтожении общества в Москве было им сообщено покойным капитаном Охотниковым»³⁵.

Ю. Г. Оксман так определил сложившуюся ситуацию: «Характеризуя революционную работу на юге в период 1821–1822 гг., формально правильно говорить о продолжении подпольной деятельности в Кишиневе членов Союза Благоденствия, а не о Бессарабской ячейке Южного общества»³⁶. Ю. Г. Оксман аргументирует свою точку зрения тем, что, подобно Пестелю, Охотников не принял ликвидаторских решений Московского съезда и решил действовать в духе полученных им в Москве директив³⁷. Поскольку такие директивы в Москве Охотников мог получить только от Фонвизина, расходившегося с Пестелем по вопросам программы и тактики тайного общества³⁸, то это, естественно, не могло укрепить связи кишиневского кружка с Тульчинской управой.

Итак, учитывая серьезные разногласия между М. Ф. Орловым и К. А. Охотниковым, незначительный характер «внешних» связей кружка, наконец, принимая во внимание, что число активных участников не превышало трех человек, вряд ли правомерно говорить о существовании в Кишиневе управы Союза Благоденствия. Раскол, затронувший абсолютно все сферы Союза, коснул-

ся и его кишиневской ячейки. Это тем более важно подчеркнуть, что, утверждая общность идеологических установок кишиневцев, многие исследователи говорят и об общности их тактики — тактики прямого влияния на солдат, что, по мнению этих исследователей, свидетельствует об ориентации кишиневцев на военную революцию³⁹. Между тем, именно ориентация на военную революцию должна быть обусловлена высокой степенью идеологического единства.

Поскольку наличие разногласий между Орловым и Охотниковым можно считать установленным фактом, чрезвычайно важно сравнить позицию Орлова с позицией другого выдающегося члена кишиневского кружка — В. Ф. Раевского. Многосторонняя просветительская деятельность В. Ф. Раевского превосходно освещена в нескольких монографиях и статьях⁴⁰, нас же интересует прежде всего то, в какой степени эта деятельность была определена политическими планами Орлова. Сам Орлов во время следствия по делу декабристов утверждал, что «Раевский действовал самостоятельно и никого не компрометировал»⁴¹. Следствие, проведенное генералом Сабаневым еще в 1822–1823 гг., также не выявило политических связей между Орловым и Раевским⁴². Действительно, участие Раевского в деятельности кишиневского кружка еще не может служить гарантией посвященности Раевского в политические планы Орлова. Даже Охотников, бывший гораздо ближе к Орлову, чем Раевский (Охотников был адъютантом и другом генерала), еще накануне Московского съезда Союза Благоденствия ничего об этих планах не знал, и выступление Орлова содержало для него не меньше неожиданных предложений, чем для других декабристов⁴³.

Конечно, как командир дивизии, М. Ф. Орлов определенным образом направлял действия В. Ф. Раевского на посту директора дивизионных, юнкерской и солдатской школ, но трудно разграничить, где кончалось влияние Орлова-командира и начиналось его влияние как члена политического общества. Представляется, что степень зависимости Раевского от Орлова в практических действиях (особенно, если речь идет о таком важном деле, как военное выступление против правительства) должна была определяться близостью идеологических позиций этих виднейших представи-

телей декабристской мысли. Важнейшим же идеологическим вопросом того времени продолжал оставаться крестьянский вопрос, поэтому представляется целесообразным сравнить позиции декабристов именно по этой проблеме.

Развернутая характеристика воззрений В. Ф. Раевского выходит за рамки настоящей работы, скажем только, что крестьянскому вопросу Раевский посвятил свой основной публицистический труд, трактат «Рассуждение о рабстве крестьян», где поэт-декабрист подробно останавливается на том развращающем влиянии, которое крепостное право оказывает как на крестьян, так и на дворян-крепостников: «Взирая на помещика русского, я всегда воображаю, что он вспоен слезами и кровавым потом своих подданных, что атмосфера, которою он дышит, составлена из вздохов сих несчастных <...> Дворянство русское погрязшее в роскоши, разврате, бездействии и самовластии <...> Дворяне наши, позволяющие себе все и запрещающие другим все, есть класс самый невежествующий и развращеннейший в народах Европы <...> Какое позорище для каждого патриота видеть вериги, наложенные на народ правом смутных обстоятельств и своекорыстия»⁴⁴. Таким образом, антикрепостническая позиция В. Ф. Раевского является одновременно и антидворянской. В этом и заключается ее специфика по отношению ко взглядам подавляющего большинства дворянских революционеров, также выступавшим против крепостного права.

Существенно иной была позиция по крестьянскому вопросу М. Ф. Орлова, который считал, что процесс отмены крепостного права должен быть медленным и постепенным и что полная ликвидация его должна быть компенсирована дворянству определенными политическими правами. С. И. Тургенев писал в своем дневнике: «К Орлову буду отвечать по пунктам; разбирая здесь (видимо, в полученном С. И. Тургеневым письме. — *И. Н.*) идею о рабстве, он немного по-русски думает, что дворяне теряют право, которое им иным правом компенсировать надобно»⁴⁵.

Могла ли столь значительная разница в политических позициях определить различие в направлении практических действий М. Ф. Орлова и В. Ф. Раевского? Безусловно, если речь идет о военном выступлении, ведь при этом реализация какой-то конкрет-

ной политической программы становится основным вопросом, целью восстания. Однако политические разногласия могли нивелироваться, если декабристы не ставили перед собой столь серьезной задачи.

Каковы же были политические планы М. Ф. Орлова? Иными словами, имела ли его разнообразная просветительская деятельность среди солдат 16-й дивизии цель подготовить их к вооруженному выступлению против правительства? Вот каково мнение по этому вопросу начальника штаба 2-й армии генерала П. Д. Киселева: «Цель, которую преследовал себе Орлов, несомненно есть цель похвальная: уничтожить варварство в управлении людьми — было всегда желание благомыслящих начальников, но с желанием сим надлежит сохранить дисциплину, и потому жестокость могла быть искореняемой постепенно, через посредство начальников, без участия в том нижних чинов, т. е. вынуждением скромности первых, а не дерзости последних. Способ им <Орловым> принятый был совершенно противный; пагубные последствия показали оное.

Орлов полагал возможным командовать дивизией без разделения власти. Он и нижние чины составляли все степени начальства — он хотел представить себя спасителем всех — и против всех восстановил солдат. Я дозволю себе объяснить здесь сокровенную мысль: *он ожидал войну* и полагал, что сможет приобрести большого числа сторонников <?>, чтоб исполнить ожидания его самолюбия, забыв, что к тому вернейший способ есть повиновение, которое существовать не может, если чиновочитание разрушено»⁴⁶.

П. Д. Киселев — близкий друг М. Ф. Орлова, много сделавший для того, чтобы облегчить его положение, и сам, безусловно, не заинтересованный в том, чтобы правительство усмотрело в действиях Орлова политические мотивы. Но при этом генерал Киселев — один из самых осведомленных современников, фактический руководитель как расследования по делу Раевского, так и ряда локальных следствий по делу о возмущении Камчатского и Охотского полков дивизии Орлова. Лично ведя расследование по делу о возмущении Камчатского полка, Киселев специально интересовался вопросом, не был ли кто-нибудь из офицеров причастен к

II. Исторический фон лирики изгнания

солдатскому возмущению; ничего подобного установить не удалось»⁴⁷. Таким образом, было бы неправильно игнорировать мнение генерала Киселева, тем более что в течение всего 1821 г. война с Турцией действительно представлялась очень вероятным событием, особенно важным для дивизии Орлова, бывшей авангардом русской армии.

В настоящее время существует также и многообразная мемуарная и исследовательская литература о связях членов кишиневского кружка и лично Орлова с греческим национально-освободительным движением, о планах Орлова использовать свою дивизию в возможных военных действиях⁴⁸. Особый интерес в этом отношении представляют воспоминания участника освободительного движения в Греции Филимона, сообщавшего о решимости Орлова присоединиться со своей дивизией к восстанию А. Ипсиланти, присоединиться даже в том случае, если русское правительство откажется помогать восставшим⁴⁹. Хотя последнее утверждение не является полностью доказанным, безусловно, что и М. Ф. Орлов, и все кишиневцы многое связывали с предстоящей, как им казалось, войной.

Оценивая в целом ситуацию, сложившуюся среди кишиневских членов Союза Благоденствия, можно отметить, что она принципиально не отличалась от положения в других звеньях Союза: и в кишиневской организации легко усматриваются значительные расхождения в позициях ее виднейших членов, как в вопросах тактики (М. Орлов — К. Охотников), так и в идеологии (М. Орлов — В. Раевский). Это не исключает целенаправленной работы кишиневцев по воспитанию солдатской массы, по пресечению злоупотреблений в армии, но делает едва ли возможной их ориентацию на военное восстание. Планам революции еще суждено было зреть, вбирая в себя «мрачный опыт» периода 1821–1823 гг.

Могли ли столь серьезные расхождения в идеологических позициях кишиневских декабристов, их столь разные подходы к ключевым вопросам исторического развития, не определить их взаимоотношений с Пушкиным? Ответить на этот вопрос положительно можно лишь допустив, что Пушкин знал о таких разногласиях.

Свидетелем споров между декабристами о том, «насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России», Пушкин стал в имении декабриста В. Л. Давыдова Каменке в конце 1820 г., когда туда съехались виднейшие члены Союза Благоденствия — М. Ф. Орлов, И. Д. Якушкин, К. А. Охотников⁵⁰.

Вопрос о целесообразности создания тайного общества, который здесь пока «в шутку» обсуждался между Орловым и Якушкиным, спустя малое время «всерьез» встанет на обсуждение во время Московского съезда Союза Благоденствия. Причем каменские собеседники выступят там как непримиримые идейные противники.

Возможно, Пушкин не знал о разногласиях, проявившихся на Московском съезде между Орловым и Охотниковым по вопросам программы и тактики тайного общества, но о различных подходах Орлова и Раевского к крестьянскому вопросу не мог не знать. При том Пушкину была гораздо ближе демократическая позиция В. Ф. Раевского, чем аристократическая М. Ф. Орлова. Это, в свою очередь, существенно определило публичное поведение Пушкина: открытого, чуждого кружковщины, не различающего «посвященных» и «непосвященных». Отсюда, видимо, и проистекает постоянная апелляция Пушкина к малознакомым или даже случайным собеседникам.

1. См.: *Базанов В. Г.* Декабристы в Кишиневе. Кишинев, 1951; *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 554–566; *Оганян Л. Н.* Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века. Кишинев, 1974. Ч. 1; *Эйдельман Н. Я.* 1) Южные декабристы и Пушкин // Вопросы литературы. 1974. № 6; 2) Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 11–65; *Двойченко-Маркова Е. М.* Пушкин в Молдавии и Валахии. М., 1979. С. 6–16; *Лотман Ю. М.* Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982. С. 52–112.

2. См.: *Гершензон М. О.* Семья декабристов // Былое. 1906. № 10. С. 308; *Бартенев П. И.* О Пушкине. М., 1992. С. 170–203; *Нечкина М. В.* Декабрист Михаил Орлов — критик «Истории» Н. М. Карамзина // Литературное наследство. Т. 59. Декабристы-литераторы. I. М. 1954. С. 558, 560–561; *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 135–138; *Цяловская Т. Г.* Рисунки Пушкина. М., 1970. С. 134–136; *Алексеев М. П.* Пушкин и проблема «вечного мира» // Он

II. Исторический фон лирики изгнания

же. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 174–220; *Оганян Л. Н.* Исторические взгляды А. С. Пушкина и кишиневские декабристы // *Кодры*. 1979. № 5. С. 139–144.

3. *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 533–537.

4. См.: *Базанов В. Г.* Владимир Федосеевич Раевский. Новые материалы. М.; Л., 1949. С. 3–87; *Фейнберг И. Л.* О «Записках» Пушкина // *Вестник АН СССР*. 1953. № 5. С. 59; *Оганян Л. Н.* К вопросу о стихотворениях В. Ф. Раевского к А. С. Пушкину // *Пушкин на юге: (Сб. статей)*. Кишинев, 1961. С. 199–219; *Иовва И. Ф.* А. С. Пушкин и дело Раевского // *Исторические записки*. 1975. Т. 96. С. 378–379; *Калесников А. Г.* В. Ф. Раевский: Политическая и литературная деятельность. Ростов н/Д, 1977.

5. *Цявловский М. А.* Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому // *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*. Т. 6. Л., 1941. С. 44–50.

6. *Временник Пушкинской комиссии*. 1965. Л., 1968. С. 37–44.

7. См. также об этом в гл. «Декабрист К. А. Охотников, кишиневский знакомый Пушкина» второго раздела настоящего издания. — С. 151–164.

8. См.: *Эйдельман Н. Я.* Пушкин и декабристы. С. 11–65.

9. См.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. М.; Л., 1954. Т. 1. С. 356–375; *Оксман Ю. Г.* Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века // *Очерки из истории движения декабристов*. М., 1954. С. 451–515; *Оганян Л. Н.* Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX в. Ч. 1 (три главы посвящены «Кишиневскому кружку», с. 87–285); *Брегман А. А., Федосеева Е. П.* Владимир Федосеевич Раевский // *Раевский. Материалы*. I. С. 18–25.

10. См.: *Боровой С. Я.* М. Ф. Орлов и его литературное наследие // *Орлов М. Ф.* Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 291; *Павлова Л. Я.* Декабрист М. Ф. Орлов. М., 1964. С. 71; *Раевский. Материалы*. I. С. 19. В книге «Движение декабристов. Указатель литературы» (М., 1983) выделена специальная рубрика «кишиневская управа декабристов» (с. 61).

11. Если не считать утверждения С. Г. Волконского о том, что в 16-й дивизии (М. Ф. Орлова) «был открыт отдел тайного общества, известного под названием “Зеленой книги”» (*Волконский С. Г.* Записки. СПб, 1901. С. 318), но и здесь, как видим, речь не идет об «управе».

12. *Донесение Следственной комиссии*. СПб., 1827. С. 5.

13. См.: *Восстание декабристов*. Т. 8. М.; Л., 1925. С. 142–143, 160, 144, 137, 158, 213.

14. *Комаров Н. И.* Показание // *Довнар-Запольский М. В.* Мемуары декабристов. Киев. 1906. С. 30.

15. «Все главнейшие члены Южного и Северного обществ утвердительно отвечали, что Липранди не только не принадлежал к Обществу, но не знал о существовании оно и ни с кем из членов не имел сношений. Сам Комаров не подтвердил своего показания, сделав оное гадательно» (*Восстание декабристов*. Т. 8. С. 114).

16. *Садиков П. А. И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов (по новым материалам)* // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л., 1941. С. 276.

17. Там же. С. 283.

18. В. Ф. Раевский так рассказывает о вечере накануне ареста: «Мы <Пушкин и Раевский> вошли. Оба брата весьма обрадовались. — “Что нового? Что нового?” — закричали все присутствовавшие. — Спросите у Павла Петровича (майор Липранди, 2-й брат), он доверенным и полномочным министром генерала Сабанеева. — Это правда, — отвечал он, — но если бы Вам доверял Сабанеев, как мне, Вы также не захотели бы нарушить правил и доверия и чести» (Раевский. Материалы. Т. 2. С. 309).

19. *Эйдельман Н. Я.* Пушкин и декабристы. С. 26.

20. См.: Устав Союза Благоденствия // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 253.

21. См.: *Чернов С. Н.* У истоков русского освободительного движения Саратов, 1960. С. 202.

22. *Орлов М. Ф.* Записка о тайном обществе // Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев, 1906. С. 6.

23. См.: Раевский. Материалы. Т. 2. С. 121; *Довнар-Запольский М. В.* Мемуары декабристов. Киев, 1906. С. 6.

24. *Орлов М. Ф.* Записка... С. 6.

25. Раевский. Материалы. Т. 2. С. 188.

26. *Орлов М. Ф.* Записка... С. 6.

27. Восстание декабристов. Т. 8. С. 158.

28. Там же. Донос Юмина в значительной степени ускорил арест В. Ф. Раевского и осложнил его положение. Подробнее см. в гл. «Дело» Раевского и правительственная реакция 20-х годов XIX в.» во втором разделе наст. изд., с. 165–179.

29. Красный архив. 1925. № 6. С. 161.

30. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 39–40.

31. *Оксман Ю. Г.* Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 468–469.

32. Обзор литературы см. во вступительной статье С. В. Житомирской и С. В. Мироненко в кн.: *Фонвизин М. А.* Сочинения и письма. Т. 1. Дневник и письма. Иркутск, 1979. С. 41. Примеч. 136.

33. *Комаров Н.* Показание. С. 43.

34. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма. С. 476.

35. Восстание декабристов. Т. 4. С. 110.

36. *Оксман Ю. Г.* Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 473.

37. Там же. С. 472.

II. Исторический фон лирики изгнания

38. П. И. Пестель и М. А. Фонвизин «во многом не сходились и оканчивали споры личностями» (*Комаров Н. И.* Показания. С. 38).

39. См.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 1. С. 365; *Базанов В. Г.* Декабристы в Кишиневе. С. 50–51; *Раевский.* Материалы. I. С. 19.

40. Список литературы см.: *Раевский.* Материалы. I. С. 5–6.

41. Красный архив. 1925. № 6. С. 162.

42. См. в гл. «Дело» Раевского и правительственная реакция начала 20-х годов XIX в. • наст. изд.

43. *Комаров Н. И.* Показание. С. 41.

44. *Раевский.* Материалы. I. С. 93, 96, 95.

45. Цит. по: *Ланда С. С.* О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816–1821 гг.: (Из политической деятельности П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. Орлова) // Пушкин и его время. Л., 1962. С. 165.

46. ЦГВИА, ВУА. № 28. Л. 8, 10 (л. 9 отсутствует).

47. ЦГВИА. Ф. 1093.

48. См. обзор литературы в кн.: *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований. М., 1975. С. 170–176.

49. См.: *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований. С. 169–171.

50. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма. С. 42–43.

Декабрист К. А. Охотников, кишиневский знакомый Пушкина

В числе лиц, составлявших кишиневское окружение Пушкина, видное место занимал член Союза Благоденствия, адъютант генерала М. Ф. Орлова, Константин Алексеевич Охотников (ок. 1795–1824). Выяснение характера и степени влияния декабриста на поэта представляется важнейшей задачей, которой препятствует отсутствие цельной биографии Охотникова. В нашей работе мы попытались собрать воедино все, что известно об Охотникове, с тем чтобы иметь возможность более точно оценить роль этого декабриста в кишиневском кружке Союза Благоденствия, который, по существу, и составлял основу пушкинского окружения в 1820–1823 гг. О том, что эта роль была очень значительна, свидетельствуют многие мемуаристы. Так Ф. Ф. Вигель с присущим ему сарказмом рассказывал: «Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский <...> с жаром витийствовали. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба совала всегда в среду недовольных»¹. С большой симпатией высказывается об Охотникове другой мемуарист — И. П. Липранди: «На его <М. Ф. Орлова> умных, оживленных беседах перебиралось все, исключая правительственных учреждений, существующего порядка. Он <К. Охотников> мог иметь свой личный взгляд, мог сообщать его и другим, но благородный характер его никогда не покусился бы на совращение молодого человека с пути присяги и долга»². Эту характеристику дополняет следующее замечание: «Что касается до Охотникова, то этот, в полном смысле слова, был человек высшего образования и начитанности, что иногда соделывало его очень скучным в нашей беседе, где педантическая ученость была неуместна»³. Замечательно характеризует К. Охотникова сам М. Ф. Орлов в письме к Николаю I, написанном вскоре после ареста генерала в Москве: «У меня было два офицера,

II. Исторический фон лирики изгнания

которые входили в общество: Раевский (майор, арестант в Тирасполе) и Охотников. Последний умер. Это был храбрый и превосходный молодой человек (ибо, государь, можно быть благородным человеком и принадлежать к тайному обществу)»⁴.

Об отношении кишиневских декабристов к Охотникову красноречиво свидетельствует отзыв о нем В. Раевского: «Это самоотвержение для общей пользы, строгая жизнь и чистая добродетель без личных видов глубоко врезались в груди моей. Я тайно завидовал, что человек почти одних лет со мною так далеко ушел от меня в совершенстве нравственном»⁵.

В 1823 г. после следствия по делу В. Раевского, к которому Пушкин проявлял самый живой интерес, именно с Охотниковым поэт передает конфиденциальное письмо П. А. Вяземскому в Москву⁶.

Однако, несмотря на ту роль, которую играл Охотников в кишиневском кружке декабристов, в исследовательской литературе его фигура занимает скромное место⁷. Главная из причин, конечно, та, что в 1824 г. Охотников умер и, естественно, не мог быть привлечен к общему следствию по делу декабристов, хотя по приговору комиссии и был объявлен «деятельнейшим членом»⁸. (Имя Охотникова упоминают в своих показаниях многие декабристы⁹.) Таким образом, отпадает главный источник сведений о декабристах — материалы дела в Верховном уголовном суде. Что же касается участия Охотникова в процессе Раевского, то и это дает крайне скудные сведения (возможно, благодаря осторожному поведению Раевского¹⁰).

Помимо общей скудости материала об Охотникове — объективной причины, объясняющей почти полное отсутствие посвященных специально ему научных работ, — существует и другая, субъективная, которая заключается в том, что личность Охотникова оказывается как бы заслоненной более яркими фигурами М. Орлова и В. Раевского, деятельность Охотникова представляется целиком зависимой от деятельности Орлова и определяемой идеологическими установками последнего¹¹: таким образом, вопрос о собственной идеологической позиции Охотникова вообще не ставится. Это приводит к парадоксальным историческим выводам: в 1820–1823 гг. на фоне общего кризиса, затронувшего

абсолютно все сферы Союза Благоденствия, его кишиневская ячейка объявляется счастливым исключением из общего правила — настолько, что серьезно ставится вопрос о ее «бескризисном» существовании и после января 1821 г.¹² Между тем отношения Охотникова с Михаилом Орловым развивались отнюдь не столь гладко, как это обычно представляется, о чем свидетельствует такой важный эпизод, как совместное участие Орлова и Охотникова в московском съезде Союза Благоденствия, формально положившем конец Союзу¹³.

Из воспоминаний И. Д. Якушкина, который передал М. Орлову письмо М. А. Фонвизина с приглашением приехать в Москву, следует, что Орлов согласился участвовать в съезде не сразу и с большой неохотой. Еще не дав Якушкину окончательного ответа, Орлов пригласил его в Каменку, к Давыдовым. Якушкин уже собрался было отказаться, но тут вмешался Охотников: «...он взял меня в сторону, — вспоминает Якушкин, — и просил меня убедительно ехать с ними вместе, уверяя меня, что в это время мне удастся уговорить Орлова, без чего было мало надежды, чтобы он <Орлов> приехал в Москву»¹⁴.

Таким образом, уже накануне съезда поведение Охотникова отличается определенной независимостью. Эта независимость с еще большей очевидностью проявилась во время заседаний. Как известно, уже на первой сходке делегатов М. Орлов выступил с программой, которая вызвала резкое недовольство большинства присутствующих, группировавшихся вокруг инициатора съезда М. А. Фонвизина. «Неистовым мерам» Орлова Фонвизин противопоставил программу, направленную на повышение конспирации внутри общества и на более тщательный отбор новых членов. По свидетельству участника съезда Н. Комарова, Фонвизин предложил разделить всех членов общества на «три разряда»: «Один высший, *незнаемых*, в виде постоянного главного совета, который должен будет управлять и составлять законы Обществу. — Второй разряд, от него зависящий, *исполнительный*, приводящий их положения к исполнению <...> Наконец, третий разряд *нововводимых*»¹⁵.

В числе тех, кто решительно выступил против этого предложения, был Михаил Орлов; среди тех, кто не менее решительно встал

на его защиту, был Константин Охотников. Н. Комаров приводит замечательный эпизод, свидетельствующий о самых острых разногласиях между «делегатами кишиневской управы»: «Этого последнего моего вечера я никогда не забывал и не забуду: — в первой комнате от гостиной слышу шум, а войдя, застаю в сильном споре генерала Орлова с Фонвизиным, Якушкиным, Охотниковым <...> Не бывши при самом начале спора, не знаю о чем, но догадываюсь явно, что Орлов опровергал предположения Фонвизина и с жаром, а как сего последнего придержались с ним живущие (Якушкин и Охотников. — И. Н.), то у него в эту-то минуту вырвалось с неудовольствием, что это похоже на *заговор в заговоре*»¹⁶.

То, что на съезде Охотников так решительно примкнул к «партии Фонвизина» и выступил против своего соратника по кишиневскому кружку, отнюдь не случайно и объясняется многими обстоятельствами жизни декабриста до его приезда в Кишинев.

Охотников происходил из очень обеспеченной семьи калужских дворян. Его отец имел 1200 душ¹⁷. Мать Охотникова, Наталья Григорьевна — урожденная княжна Вяземская¹⁸. Образование декабрист получил в иезуитском пансионе аббата Николя (по предположению Л. Н. Оганян¹⁹, одновременно с П. А. Вяземским)²⁰.

Службу свою Охотников начал в 1811 г. на юге, где Россия вела войну с Турцией. В 1812–1813 гг. он участник всех крупных сражений Отечественной войны и Заграничного похода. В 1814 г., накануне битвы за Париж, Охотников попал в плен²¹. После войны он продолжил службу в Лубянской гусарской полку, а в августе 1816 г. перешел на службу в 38-й егерский полк, которым командовал М. А. Фонвизин²². Однако этому переходу предшествовало очень важное для биографии Охотникова событие: в 1816 г. для расследования злоупотреблений командира Лубянского полка туда приехал П. Х. Граббе²³, один из друзей М. А. Фонвизина, в будущем член Союза Благоденствия. У нас нет сведений об участии Охотникова в деятельности комиссии, которую возглавлял Граббе, но факт их личного знакомства сомнению не подлежит. Не позднее 1819 г. Фонвизин принял Охотникова в Союз Благоденствия²⁴. Именно к этому времени относятся свидетельства об их совместной деятельности в Москве²⁵.

Характеризуя идейную позицию Охотникова, мы сталкиваемся с большими трудностями, которые возникают из-за отсутствия источников, отражающих взгляды декабриста. Однако несомненная общность взглядов Охотникова и Фонвизина говорит о том, что Охотников не был сторонником быстрого военного переворота и что для него деятельность Союза Благоденствия в полном соответствии с его уставом, Зеленой книгой, была деятельностью не столько политической, сколько нравственной, направленной на борьбу с частными злоупотреблениями, на формирование общественного мнения и на воспитание солдатской массы. Вышеприведенная характеристика, которую дал Охотникову Ф. Ф. Вигель, свидетельствует о том, что для своей пропаганды Охотников использовал любую аудиторию. Однако это представляется возможным только в том случае, если его взгляды отличались известной умеренностью²⁶. Так или иначе, среди доносов, которые поступали из Кишинева в штаб 2-й армии и в Петербург, имя Охотникова упоминалось крайне редко²⁷; в деле Раевского он участвовал только как свидетель, причем из близких друзей Раевского, составлявших кишиневский кружок декабристов, он пострадал менее всего и, в отличие от А. Непенина, П. Пущина и М. Орлова, был оставлен на службе. Хорошо знавший кишиневское окружение М. Орлова начальник штаба 2-й армии П. Д. Киселев, характеризуя взгляды Охотникова, назвал его «мечтателем политическим»²⁸.

Большое внимание Охотников уделял воспитанию в себе высоких нравственных качеств. Его любимым автором был апологет республики Тит Ливий, однако при этом республиканский строй не являлся политическим идеалом Охотникова. Так, декабрист В. Давыдов показывал на следствии: «При вступлении моем в общество не мог К<нязь> Волконской объявить мне о Республике: ибо я был принят, как теперь точно помню, в Кишиневе Охотниковым, который был совершенно других мыслей»²⁹.

В Кишинев Охотников переехал в 1820 г. Сам переезд представляется нам далеко не случайным: в начале 1820-х гг. центр декабризма перемещается на юг, а незадолго до Охотникова во 2-ю армию перевелся из Москвы его друг и командир М. А. Фонвизин.

II. Исторический фон лирики изгнания

Правда, местом службы Фонвизина стал не Кишинев, а Тульчин, но именно на юге, в Киеве при посредничестве Фонвизина и произошло знакомство Орлова с Охотниковым (уже в качестве члена Союза Благоденствия)³⁰. (Не лишено основания предположение о предшествующем знакомстве Орлова с Охотниковым, поскольку оба были помещиками Калужской губернии.)

Отношение М. Орлова к Союзу уже в этот период было сложным. Близко зная многих его членов, сам он не торопился войти в его состав. «Фонвизин, Пестель и Юшневский <...> настоятельно просили меня, чтоб я взошел в общество, — признавался Орлов впоследствии, — и наконец, видя мое упорство, сказали, *что зная все их тайны и имена многих, не великодушно мне не разделять их опасности*. Я поддался на сию причину и подписал обязательство»³¹.

Затем Орлов встретил Охотникова уже в Кишиневе, и очень может быть, что члены тульчинской управы, прежде всего Фонвизин, рассматривали последнего как своеобразного эмиссара Союза Благоденствия при Орлове. По наблюдению Ю. Г. Оксмана, именно Охотникову формально принадлежало первенство в кишиневской ячейке Союза Благоденствия, у него же хранился устав с расписками новых членов³². Однако это формальное первенство, конечно, не отменяло фактического, безусловно принадлежавшего М. Орлову.

Несмотря на имеющиеся расхождения в позициях Орлова и членов тульчинской управы, можно без преувеличения сказать, что в течение 1820 г. Охотников сделался правой рукой Орлова в той многосторонней деятельности, которую тот проводил в 16-й дивизии. Поскольку особое внимание Орлов уделял взаимоотношениям офицеров с солдатами, именно Охотников возглавил дивизионные учебные заведения, в том числе солдатскую школу взаимного обучения; по поручению Орлова Охотников занимался расследованием злоупотреблений офицеров кишиневского гарнизона³³. Однако — при том что в практической деятельности Орлов всецело опирался на Охотникова — можно предположить, что в свои политические планы он его не посвящал; программа «крутых мер», предложенная Орловым московскому съезду, была для Охотникова не меньшей неожиданностью, чем для других делегатов.

После того как Орлов покинул съезд, Охотников не только остался и качестве полноправного его участника, но был в числе тех немногих, кто знал, что закрытие Союза носит формальный характер и что тайное общество продолжает существовать³⁴.

В 1821 г. служба Охотникова при Орлове продолжалась. Никакими данными о разногласиях между ними мы не располагаем, однако известно, что в августе 1821 г. Охотников сдал управление дивизионными школами В. Раевскому.

В конце 1821 г. Орлов оставил Кишинев, а в апреле 1823 г. Охотников посетил своего бывшего командира в его калужском имении. После отъезда Охотникова М. Орлов писал жене: «Охотников пробыл здесь два дня и, все раскритиковав, все разбранив, изложил все свои философские воззрения, увозит теперь с собой это письмо. <...> Не знаю ничего несноснее этого воплощенного нравственного совершенства, которое оговаривает всякий чужой поступок и берет на себя роль ходячей совести своих друзей. В сущности, он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души, но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове»³⁵.

По-прежнему дружескими оставались отношения Охотникова с М. Фонвизиным, который с большой тревогой писал в марте 1824 г. И. Якушкину: «Как жаль бедного Охотникова — я опасаюсь, чтобы болезнь его не имела худых последствий. Уведомь меня об нем, <...> а я сегодня пишу к нему»³⁶. В середине апреля Фонвизин узнал о смерти Охотникова.

В жизни Охотникова особую страницу составляют его отношения с Пушкиным. По свидетельству И. П. Липранди, беседы поэта «с Вельтманом, Раевским, Охотниковым и некоторыми другими <...> дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина, по предметам серьезных наук»³⁷. Местом встреч декабриста и поэта служила квартира Липранди, где «не

было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор, и всегда о чем-либо дельном»³⁸. Кроме того, Пушкин почти ежедневно мог видеть Охотникова и разговаривать с ним в доме Михаила Орлова. И здесь Охотников был инициатором самых серьезных, «дельных» бесед (иногда к неудовольствию менее серьезно настроенных гостей: «будет гораздо приятнее куда-нибудь отправиться, нежели слушать разговор “братца с Охотниковым о политической экономии”», — говорил И. Липранди Федор Орлов, брат генерала)³⁹. Можно с достаточной уверенностью утверждать, что в таком небольшом городе, как Кишинев, где круг образованных людей был относительно узок, Охотников входил в число близких знакомых Пушкина, действительно влиявших на идейную позицию поэта и в значительной степени определявших его интересы. Вместе с тем, очевидно и другое: несмотря на частые встречи и общность интересов, подлинной дружбы между Пушкиным и Охотниковым не сложилось, напротив, с обеих сторон можно усмотреть вежливо-ироническое отношение, о котором свидетельствует, например, следующий эпизод: «Однажды вечером собралось ко мне, — вспоминает Липранди, — человек десять, людей различных взглядов <...> Пушкин был в схватке с Раевским; одни поддерживали первого, другие второго, и один из спорящих обратился узнать мнение Охотникова, не принимавшего никакого участия в споре и сидевшего на диване с книгой, взятой им наудачу с полки. В этот раз ему попался один из томов Тита Ливия, и он с невозмутимым хладнокровием, глядя на наступавших на него Пушкина и Раевского для разрешения их спора, не обращая никакого внимания на делаемые ему вопросы, очень спокойно предлагал послушать прекрасную речь из книги и начал: «*peres Conscrits*». Это хладнокровие выводило Пушкина и Раевского, одинаково пылких, из терпения <...> После этого Пушкин за глаза и при встрече с Охотниковым не иначе обзывал, как «*peres Conscrit*». Впрочем, Александр Сергеевич уважал Охотникова и не раз обращался к нему с серьезным разговором»⁴⁰.

Оценивая отношение Охотникова к Пушкину, трудно избежать вопроса о том, была ли вызвана определенная сдержанность по отношению к поэту одного из лидеров кишиневской ячейки Со-

юза Благоденствия только несходством характеров и темпераментов или же она являлась отражением какой-то коллективной позиции. Этот вопрос, как нам представляется, непосредственно связан с другим, более общим: почему, несмотря на близкое знакомство со многими заговорщиками и свою репутацию первого вольнолюбивого поэта России Пушкин не был непосредственно причастен к заговору? Наиболее «хрестоматийный» ответ («заговорщики ценили талант поэта и опасались за его судьбу») вряд ли можно считать достаточно убедительным. Во-первых, у нас нет оснований думать, что Охотников сознавал все значение Пушкина как поэта; во-вторых, ситуация первой половины 1820 г. еще не предполагала серьезных опасений за судьбу членов тайного общества, тем более что сам Охотников не принадлежал к радикальному крылу Союза. Кроме того, по свидетельству В. Ф. Раевского, «тогда Общество не имело еще цели истребить существующую или царствующую династию. Приготовления к конституции, распространение света или просвещения и правил чистейшей добродетели — было основанием установления этого Общества»⁴¹.

Существует и другая точка зрения на отношения Пушкина с декабристами. В наиболее резкой форме она выражена членом Южного общества И. И. Горбачевским: «Бедный Пушин, — он того не знает, что нам от Верховной думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге, — и почему? Прямо было сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества»⁴². Мнение Горбачевского, человека, не знавшего Пушкина, — безусловно крайность. Восприятие им личности поэта было определено позднейшей официальной легендой и опосредовано сложным отношением к творчеству Пушкина людей 1860-х годов. И все-таки до известной степени это мнение отражает точку зрения той части деятелей декабрьского движения, чьим установкам на «чистейшую добродетель» и аскетизм противоречило эпикурейское отношение Пушкина к жизни⁴³. Возможно, что к последним принадлежал и Охотников, для которого этическая программа Союза Благоденствия имела не меньшее значение, чем политическая. Но

несмотря на все сказанное мы хотели бы подчеркнуть, что отношения между поэтом и декабристом строились на взаимном доверии. Об этом свидетельствует участие Пушкина и Охотникова в споре о том, насколько полезным было бы для России учреждение тайного общества. В обсуждении принимали участие Ал. Н. Раевский, М. Ф. Орлов, В. Л. Давыдов и И. Д. Якушкин. Спор происходил в Каменке, имении братьев Давыдовых, в конце ноября 1820 г. Вопрос о создании тайного общества был поставлен М. Орловым. «Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества, — пишет И. Д. Якушкин. — В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России. Тут <...> я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой <...> “В таком случае давайте руку”, — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: “Разумеется, все это только одна шутка”. Другие также смеялись, <...> кроме Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: “Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою благоужоженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка” <...> В 27-м году, когда он пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: “Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести”»⁴⁴.

Смысл рассказанного Якушкиным, на первый взгляд, довольно прост: члены общества, стремясь разуверить Александра Раевского в своей принадлежности к тайному обществу, разыгрывают сцену спора, причем попутно они вводят в заблуждение и Пушкина. Такая трактовка данного эпизода, несмотря на то, что она принадлежит самому Якушкину, вызывает серьезные возражения.

Во-первых, заметим, что инициатором спора явился М. Орлов, который вряд ли позволил себе подвергать таким рискованным шуткам Александра Раевского, своего близкого друга. К тому же о принадлежности Орлова к тайному обществу Раевский знал определенно. Если при этом учесть, что основным вопросом предстоящего съезда в Москве был вопрос о пользе тайного общества для России, то станет понятно, что во время встречи в Каменке, непосредственно предшествующей московским дискуссиям, не могло не возникать споров — причем не шуточных, имеющих цель отвести глаза посторонним, а самых серьезных, живо интересующих всех присутствующих. Очень показательно, что участником этих споров был и Пушкин. Характеризуя свое пребывание в Каменке, поэт писал Н. И. Гнедичу 4 декабря 1820 г.: «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей, известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя» (XIII, 20).

Отношения Пушкина с Охотниковым складывались в сложный период кризиса Союза Благоденствия, когда основной формой бытования тайного общества стала дискуссия. И в Кишиневе, и в Каменке поэт являлся активным участником споров между декабристами.

В «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» определены временные границы взаимоотношений Охотникова и Пушкина: от 25 сентября 1820 г. по март 1823 г.⁴⁵ Однако и внутри данного промежутка общение поэта и декабриста не было непрерывным. Можно предположить, что общение это было особенно частым в сентябре–ноябре 1820 г. — в период острых идейных разногласий внутри Союза Благоденствия. Именно к этому времени относится совместное пребывание Пушкина и Охотникова в Каменке. 1 декабря их пути разошлись. Охотников вместе с М. Орловым уехал в Москву, чтобы принять участие в съезде Союза Благоденствия. Пушкин остался в Каменке и вернулся в Кишинев только в начале марта 1821 г. К этому же времени сюда приехал из Москвы Охотников. Их совместное пребывание в Кишиневе продолжалось до середи-

II. Исторический фон лирики изгнания

ны мая, когда поэт уехал в Одессу. 3 августа Охотников сдал управление дивизионными школами Раевскому и до конца декабря оставил Кишинев. Вернувшись, он застал разгром кишиневской ячейки декабристов. 1822 год и поэт и декабрист провели в Кишиневе почти безвыездно. Этот период их общения мог быть особенно важным, так как Охотников — единственный из активных членов кишиневского кружка Союза Благоденствия — остался на службе, однако документированными свидетельствами об этом общении мы не располагаем. В начале 1823 г. Охотников уехал из Кишинева в Москву. Он увозил с собой конфиденциальное письмо Пушкина, адресованное П. А. Вяземскому, и должен был на словах передать тому тревожные обстоятельства следственного процесса по делу В. Раевского — М. Орлова.

1. *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1928. Т. 2. С. 211.

2. *Липранди И. П.* Из дневника и воспоминаний // Русский архив, 1866. № 8–9, стлб. 1257.

3. Там же. Стлб. 1252.

4. Красный архив. 1926. № 13. С. 161.

5. Там же. С. 299.

6. В своем письме к Вяземскому от 5 апреля 1823 г. Пушкин спрашивает: «Охотников приехал? привез ли тебе письма и прочее?» (XIII, 61).

7. См.: *Оганян Л. Н.* 1) Новые материалы о деятельности кишиневских декабристов // Учен. зап. Кишинев. ун-та, 1964. Т. 72. С. 49–58; 2) Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX в. Кишинев, 1974. Т. 1. С. 104–107.

8. Восстание декабристов. Т. 3. М., 1951. С. 144.

9. Об Охотникове см. показания В. Л. Давыдова (Там же. Т. 10. С. 187), М. И. Муравьева-Апостола (Т. 11. С. 199), П. И. Пестеля (Т. 4. С. 39). А. П. Юшневского (Т. 10. С. 57).

10. См.: Раевский. Материалы. I. С. 209–210, 241–242, 250–251.

11. *Нечкина М. В.* Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 364–365; *Оганян Л. Н.* Общественное движение... С. 158.

12. *Оксман Ю. Г.* Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 473.

13. О расхождении в позициях К. Охотникова и М. Орлова писала Л. Н. Оганян (Общественное движение... С. 166), однако вопрос об индивидуальной позиции К. Охотникова ею не ставился, как не прослеживался и генезис этого расхождения.

14. Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 40.

15. Комаров Н. Показание // Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев, 1906. С. 33.

16. Там же. С. 43.

17. См.: Оганян Л. Н. Общественное движение... С. 104.

18. Литранди И. П. Из дневника и воспоминаний // Русский архив. Стлб. 1252.

19. Оганян Л. Н. Общественное движение... С. 104.

20. Данное предположение основывается на январском письме 1821 г. К. А. Охотникова П. А. Вяземскому (Пушкин в неизданной переписке современников // Литературное наследство. Т. 58. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1952. С. 36 [публ. К. П. Богаевской]). Это письмо — единственный в настоящее время оригинальный источник биографии Охотникова, не считая его письменных показаний по делу Раевского.

21. ЦГВИА. Ф. 36. Оп. 3/847, св. 6/3. Т. 7. Л. 99.

22. ЦГАОР. Ф. 48. Оп. 1, 106. Л. 1–2.

23. См.: Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 203.

24. ЦГАОР. Ф. 48. Оп. 1, 353. Л. 5–6.

25. См.: Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. С. 416; Восстание декабристов. М., 1953. Т. 10. С. 66.

26. К Охотникову вполне можно отнести слова М. Орлова: «Они <члены Союза Благоденствия> были более немецкие идеологи, чем французские якобинцы. Изыскание средств для освобождения крестьян, статистические сведения о России, народное образование, изучение конституционального права всех других народов составляли их занятия» (Орлов М. Записка... // Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. С. 5).

27. Об этом см.: Иовва И. Ф. Декабристы в Кишиневе. Кишинев, 1975. С. 78.

28. ЦГВИА, Военно-учетный архив. № 28. Л. 10.

29. Восстание декабристов. Т. 10. С. 225.

30. Орлов М. Ф. Записка... // Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. С. 6.

31. Там же.

32. См.: Оксман Ю. Г. Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 468–469.

33. Оганян Л. Н. Общественное движение... С. 107.

34. Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. С. 476.

35. Цит. по: Гершензон М. О. История молодой России // Он же. Избранное. Т. 2. М.; Иерусалим, 2000. С. 157–158. Примеч. 25.

II. Исторический фон лирики изгнания

36. *Фонвизин М. А.* Сочинения и письма. Иркутск, 1979. Т. 1. С. 109.

37. *Липранди И. П.* Из дневника и воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 323.

38. Там же. С. 297.

39. Там же. С. 314.

40. Там же. С. 295–296.

41. Воспоминания В. Ф. Раевского. *Публ. М. К. Азадовского* // Литературное наследство. Т. 60. Декабристы-литераторы. II. Кн. 1. М., 1956. С. 82.

42. *Горбачевский И. И.* Записки и письма. М., 1925. С. 300. В более позднем издании «Записок и писем» (вышедших в серии «Литературные памятники» в 1963 г.) эта фраза купирована.

43. Об этом см.: *Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни: (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 55–57.

44. *Якушкин И. Д.* Записки, статьи, письма. С. 42–43.

45. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Л., 1991. Т. 1. С. 235.

*«Дело» В. Ф. Раевского
и правительственная реакция
1820-х гг.*

В 2003 г. исполнилось 100 лет со дня выхода в свет работы П. Е. Щеголева «Владимир Федосеевич Раевский и его время»¹, положившей начало научному изучению биографии поэта-декабриста, но интерес к его жизни и творчеству не ослабевает. Более того, по мере накопления разнородных фактов, по мере включения биографических материалов о «первом декабристе» во все более широкий культурно-исторический контекст возникают новые и новые вопросы. Это объясняется не только тем чрезвычайно важным местом, которое занимал Раевский в движении декабристов, не только особым интересом к его личности со стороны пушкинистов, но и тем немаловажным обстоятельством, что биографический материал декабриста отличается совершенно уникальным богатством. Так, например, громадное следственное дело Раевского (а с 1822 по 1827 г. он находился под пристальным вниманием пяти комиссий, среди которых была Следственная комиссия по делу декабристов) содержит несколько тысяч рукописных страниц, отличается противоречивостью, сложностью и затрагивает судьбы многих известных современников Раевского. Характерно, что одна из последних научных работ о поэте-декабристе — это не обобщающая монография, а двухтомное собрание материалов, включающее много не опубликованных ранее документов².

«Дело» Раевского получило широкую известность среди декабристов. Многие, не знавшие декабриста Раевского лично и не бывшие в курсе его деятельности, внимательно следили за ходом следствия, придавая самому «делу» значительность, которой во многом способствовала атмосфера тайны, создаваемая вокруг него правительством. Раевский служил в 6-м корпусе 2-й армии, и первоначально предполагалось передать его дело в 7-й корпус³ (для большей объективности

делопроизводства), но потом, чтобы «дело» не получило еще более широкой огласки, его решили все-таки оставить при б-м, командир которого, генерал-лейтенант Сабанеев, очень недоброжелательно относился к Раевскому. Тщательно следил за ходом расследования начальник штаба 2-й армии генерал Киселев; для того чтобы проникнуть в обстоятельства процесса, декабрист С. Г. Волконский подделал печать и пытался вскрыть письма Сабанеева к Киселеву⁴.

У С. Г. Волконского и членов Тульчинской управы были серьезные основания для беспокойства, так как под угрозой оказалась судьба генерала М. Ф. Орлова, бывшего непосредственным начальником Раевского и оказывавшего ему активную поддержку.

С течением времени, несмотря на то, что за пределами 2-й армии Раевский, видимо, не имел активных политических связей, его «дело» стало постепенно связываться с самым ядром движения.

В 1825 г. К. Ф. Рылеев говорил Д. Завалишину: «Общество наше, как вы видели, так хорошо устроено, что могут отсечь одну только отрасль, предполагая, что даже все были открыты, кем приняты <...>. Майор Раевский третий год сидит в крепости, а не открыл никого из своего общества»⁵. А. С. Пушкин, близко знавший «первого декабриста» по кишиневской ссылке, в том же 1825 г. говорил И. И. Пущину (на слова последнего: «Не я один вступил в это новое служение отечеству»): «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать»⁶. Глава южных декабристов П. И. Пестель в число первых своих действий, планируемых на начало предполагаемого восстания, включил освобождение майора Раевского из Тираспольской крепости⁷. Возможно, поэтому Майборода в своих предательских показаниях назвал Раевского среди «первейших членов»⁸, что, конечно, не совсем соответствовало действительности и что на следствии отрицал Пестель, но сама ошибка характерна.

Именно из показаний Майбороды правительство впервые узнало об эпизоде, который потом встречался в следственных делах многих декабристов, — истории со списком членов Союза Благоденствия, найденным среди бумаг Раевского во время обыска. Этот список генерал Киселев — по одним версиям намеренно, по другим случайно — передал в руки полковника Бурцева.

Бурцев список уничтожил, но имел неосторожность сказать об этом нескольким своим товарищам по Союзу Благоденствия; в результате по длинной цепочке, через Юшневского, Пестеля и Майбороду, информация об этом случае дошла до сведения правительства⁹.

Многие декабристы усмотрели в истории со списком попытку командования 2-й армии умолчать о связях Раевского с Союзом Благоденствия, но единого мнения на этот счет не было, большинство сходилось только на том, что «общество весьма много обязано полковнику Бурцеву за то, что он уничтожил список»¹⁰. Раевский в своих «Воспоминаниях» рассказывает о той роли, которую сыграл в истории со списком генерал Сабанеев, и подчеркивает сугубо конфиденциальный характер интереса, проявленного генералом к списку¹¹. Сразу отметим, что в эпизоде, приводимом Раевским, вызывает удивление одна существенная деталь: и Бурцев¹², и Киселев¹³ относят историю со списком к началу 1822 г., Раевский же называет другую дату — январь 1825 г.¹⁴.

В том варианте «Воспоминаний» В. Ф. Раевского, которым пользовался П. Е. Щеголев, декабрист еще раз проводит мысль о большом, но тайном интересе, который проявляло командование армии к его связям с Союзом Благоденствия. Так, Раевский рассказывает, что в Тираспольской крепости его посетил генерал Киселев и предложил шпату в обмен на сведения о Союзе Благоденствия. «Я ничего не знаю», — отвечал Раевский¹⁵. (Посещение Киселева приходится на начало 1822 г.)

Среди многих не объясненных до конца обстоятельств дела Раевского особое удивление вызывает то, почему, несмотря на значение, которое Киселев и Сабанеев придавали связям Раевского с Союзом Благоденствия, самому декабристу не было поставлено ни одного вопроса о принадлежности к обществу. В «Сентенции» по делу Раевского, пространном документе, перечисляющем все, что было сочтено преступным или подозрительным¹⁶, о принадлежности Раевского к Союзу Благоденствия прямо не говорится. Таким образом, связи декабриста с Союзом остались вне пределов следствия. И это при том, что накануне ареста Раевского генерал Сабанеев

неев получил донесение майора Юмина (однополчанина Раевского), в котором тот признавался в своей принадлежности к Союзу Благенствия.

Сам Раевский, как это видно из его «Записок», совершенно недвусмысленно дает понять, что такое поведение Сабанеева и Киселева объясняется их желанием затемнить истинный характер его поступков, с тем, чтобы у правительства не сложилось впечатления о существовании коллективного заговора во 2-й армии.

На подобной позиции стоит и большинство современных исследователей. М. К. Азадовский, которого этот вопрос привлек ранее других биографов поэта-декабриста, прямо утверждал, что Сабанеев пытался вести дело по неправильному пути и из политического дела сделать дисциплинарное¹⁷. Эту точку зрения разделяют А. А. Брегман и Е. П. Федосеева¹⁸.

В своей оценке действий Сабанеева М. К. Азадовский имел предшественника в лице председателя комиссии по делу Раевского при Литовском корпусе генерала Дурасова. Эта комиссия занималась, по сути дела, пересмотром и оценкой действий Сабанеева. В заключительном документе следствия Дурасов писал: «Выписка, составленная из дела Раевского (Сабанеевым. — И. Н.), составлена с сокрытием многих обстоятельств <...>. Многие прикосновенные, оказавшиеся виновными лица оставлены без всякого внимания <...>. Можно было еще в 1822 году обнаружить тот ужасный заговор, который открыло 14 декабря 1825 года»¹⁹.

Казалось, вопрос решен, точка зрения ученого получила авторитетную поддержку в лице современника Раевского, но тем не менее существует целый ряд обстоятельств, которые не только не вписываются в концепцию М. К. Азадовского, но и явно ей противоречат. Противоречат этой концепции, прежде всего, утверждения самого Раевского, который писал в своей «Автобиографической записке» о том, что Сабанеев, напротив, дело дисциплинарное хотел превратить в политическое²⁰. С такой позицией тоже трудно согласиться, так как Раевский сам не считал многие из своих поступков чисто дисциплинарными преступлениями, но подобной точки зрения держались многие из его современников, в том числе такие хорошо осведомленные, как И. П. Липранди²¹ и Ф. П. Рад-

ченко²². (Подполковник Радченко сам являлся непосредственным производителем следствия.)

Имеется серьезный противник и у генерала Дурасова. Начальник Главного штаба Дибич в составленной специально для Николая I выписке из дела Раевского утверждал: «Тем или иным образом он <генерал Сабанеев> достиг своей цели, обнаружив преступные действия Раевского, <...> при этом же дело майора Раевского <...> не могло привлекать такого внимания в 1822 году, какое оно обращает на себя ныне»²³.

Картину отношения генерала Сабанеева к Раевскому усложняет еще одно обстоятельство: в 1825 г. генерал в частном письме обещал своему узнику, что поедет в Таганрог, где в это время находился император, и как милости будет добиваться отмены приговора, который он сам фактически инспирировал²⁴.

Итак, вопрос, почему следствие оставило без внимания связи Раевского с Союзом Благоденствия, все еще открыт. Сам по себе он может показаться второстепенным, но между тем без его разрешения невозможно выявить действительные масштабы дела Раевского в контексте лет, непосредственно предшествующих декабрьскому восстанию.

Итогом следствия явилось «Определение комиссии военного суда <...> о майоре 32-го егерского полка В. Ф. Раевском», этот же документ («Сентенция») лучше всего показывает, что именно полевой аудиторнат считал преступным в деятельности Раевского²⁵.

В первом отделении «Сентенции» говорится о том, что Раевский имел в своем подчинении «полковую ланкастрову школу, внушал нижним чинам непочтительность к начальству» и «разговаривал часто не только с офицерами, но даже и с посторонними лицами о *свободе, равенстве, вольности, конституции* и тому подобном, внушая первым о каких-то притеснениях правительства и о деспотических оногo действиях. Желал, неизвестно на какой конец, завести в полку между офицерами Союз».

Второе отделение «Сентенции» инкриминирует декабристу такой важный, по мнению властей, проступок, как восторженный отзыв о восстании Семеновского полка, при этом особенно подчеркивается, что Раевский хвалил семеновцев в присутствии солдат.

Третье отделение «Сентенции» целиком посвящено подозрительному, с точки зрения следователей, поведению среди солдат: «<...> обращался с нижними чинами фамильярно, то есть целовался с ними и себя заставлял целовать, нюхал табак, и сам их оным потчевал и советовал офицерам обходиться с ними, как он сам»²⁶.

Следующие отделения «Сентенции», касаясь различных сторон обширной просветительской и пропагандистской деятельности «первого декабриста», ни словом не упоминают о принадлежности Раевского к Союзу Благоденствия, т. е. можно констатировать, что эта принадлежность в «Сентенции» обходится молчанием. И это при том, что нельзя сказать, будто интерес следствия был сосредоточен исключительно на фигуре «первого декабриста».

Тщательному рассмотрению подверглась переписка Раевского: корреспонденты и адресаты всех писем, содержащих, с точки зрения комиссии, что-либо предосудительное, были опрошены²⁷.

После того как было установлено, что еще во время службы в Каменец-Подольске Раевский создал среди тамошних офицеров нечто вроде дружеского общества, члены которого были обязаны носить железные кольца, всем, чья принадлежность к обществу была установлена, Сабанеев послал специальные запросы²⁸.

Допросам подверглись ближайшие друзья Раевского по службе — полковник Непенин и капитан Охотников. И Непенин, и Охотников являлись членами Союза Благоденствия, но запрос о принадлежности к Союзу был сделан только Непенину²⁹. Причем если Непенин попал в Союз более или менее случайно, то Охотников являлся одним из его старейших членов, он еще в 1819 г. вместе с М. Фонвизиним руководил Московской управой³⁰, а в январе 1821 г. участвовал в съезде в Москве, положившем формальный конец организации.

Конечно, можно было бы объяснить такое поведение следствия желанием Сабанеева скрыть истину, но возможно и другое, с нашей точки зрения, более простое и естественное объяснение: в доносе Юмина, которым располагало следствие, Непенин фигурировал как принадлежавший к Союзу, а Охотников не упоминался. Из этого можно сделать вывод, что в своих действиях следствие

исходило почти исключительно из той информации, которая явно заключалась в имеющихся документах.

2 марта 1822 г. генерал Сабанеев писал П. Д. Киселеву: «Непенин сейчас отдал мне подписку Юмина на Союз. Как хотите, а *Союз* этот есть новость, в которую замешано много народу. *Словом, Союз воныет заговором государственным*»³¹. Речь шла о расписке Юмина в принадлежности к Союзу Благоденствия, это первое упоминание о Союзе в официальной переписке, но одновременно в документах следствия словом «Союз» обозначалось дружеское общество, которое Раевский пытался создать среди офицеров своего полка.

После того как было выяснено, что Юмина в Союз Благоденствия принял Непенин, и Юмину и Непенину уже 12 марта был поставлен вопрос: «Известно ли Вам было о предлагаемой Раевским подписке на какой-то Союз <...> и от кого вы получили такое предложение <...>?» Непенин на это отвечал: «О подписке, предлагаемой Раевским, я не знал, и никто мне о сем не доносил, и я предложений ни о каких подписках офицерам не делал, включая майора Юмина»³². Подобным же образом ответил на этот вопрос Юмин, связь с Раевским отрицали оба. Таким образом, «ниточка», которая могла связать Раевского с Союзом Благоденствия, оборвалась (причем не по инициативе Сабанеева, а вопреки ей). В дальнейшем вопросы о Союзе Благоденствия ставились и Непенину, и Юмину, но имя Раевского при этом не упоминалось.

Целый ряд обстоятельств указывает на то, что генерал Сабанеев сначала был склонен считать Раевского причастным к деятельности Союза Благоденствия, но что дальнейшее расследование этой точки зрения не подтвердило. Акцент расследования был сделан на выяснении характера деятельности декабриста среди солдат. Этому способствовал оживленный интерес к личности «директора дивизионной лицеи», проявленный императором после того, как до Петербурга дошли сведения об аресте Раевского.

Именно после распоряжения императора, переданного им через начальника Главного штаба князя Волконского³³, были приняты поиски рукописных прописей, которые употреблял Раевский в солдатской школе наряду с печатными. Именно с этого

II. Исторический фон лирики изгнания

времени интерес к деятельности Раевского среди солдат стал определять работу следствия, что повлияло, в конце концов, на содержание «Сентенции».

Трудно правильно оценить действия командования в деле Раевского без учета той обстановки, которая сложилась во 2-й армии и по всей стране после восстания в Семеновском полку.

1821 г. был ознаменован двумя вспышками солдатского недовольства — сначала в Охотском, а потом в Камчатском полку дивизии Орлова. Расследовать происшествие в Охотском полку было поручено подполковнику И. П. Липранди, но в расследовании принял деятельное участие и Раевский, что вызвало резкое недовольство со стороны начальника штаба корпуса генерала Вахтена³⁴. Следствие это не было закончено к тому моменту, когда Раевский был арестован, и велось параллельно делу Раевского. Особенно занимал следователей вопрос о том, не был ли кто-нибудь из офицеров причастен к солдатскому возмущению, и хотя ничего подобного установлено не было, интерес правительства к работе солдатской школы представляется глубоко закономерным. (После того как Орлов покинул пост начальника дивизии, расследование происшествия в Камчатском полку производилось под непосредственным наблюдением Киселева и при полной осведомленности императора.)

Возможно, что взрывы солдатского негодования отчасти были подготовлены деятельностью Раевского, и мы можем понять усиливающуюся подозрительность правительства в отношении офицеров, стремящихся к популярности среди солдат с целями, с точки зрения командования, выходящими за служебные рамки. Характерно, например, что генерала Орлова обвинили не только и не столько в содержании его знаменитых приказов, но и в том, что он доводил их до сведения солдат³⁵.

В исследовательской литературе о Раевском ситуация, которая сложилась в Кишиневе после беспорядков в Камчатском полку, уподоблялась ситуации в гвардии после восстания Семеновского полка. Нам бы хотелось конкретизировать характер этого уподобления, сравнив действия командования 2-й армии в деле Раевского с действиями правительства сразу после возмущения семеновцев.

Получив известие о восстании в Семеновском полку, император писал 10 ноября 1820 г. из Троппау в Петербург, предписывая командиру Гвардейского корпуса генералу Васильчикову, как действовать в сложившейся обстановке: «Наблюдайте бдительно за Гречем и за всеми бывшими в его школе солдатами»³⁶ и добавлял: «Я уверен, что найду настоящих виновников вне полка, в таких людях, как Греч и Каразин». Таким образом, подозрение пало на Н. И. Греча, директора солдатских ланкастерских школ при Гвардейском корпусе. В дальнейшем император еще раз обращал внимание генерала Васильчикова на Н. И. Греча и его школу: был отдан приказ проверить, не посещал ли кто-нибудь из возмущившихся школу Греча³⁷. Когда за предосудительные разговоры о семеновской истории был арестован некто Степан Гуцин (унтер-офицер лейб-гвардии Егерского полка), начальник Главного штаба просил выяснить, не учился ли Гуцин в школе у Греча³⁸. Позже, когда до императора дошло, что арестованных солдат Семеновского полка посещали в крепости жены и дочери, Васильчиков снова получил предписание проверить, не учился ли кто-нибудь из дочерей солдат в школе для солдатских девиц, которая также находилась в ведении Н. И. Греча³⁹.

У нас нет оснований утверждать, что Н. И. Греч был прямо или косвенно ответствен за беспорядки в Семеновском полку, но характерно, что именно на директора солдатской школы упали подозрения правительства.

После семеновской истории надзор за военными школами усилился по всей армии. Тем более что в доносе Грибовского так характеризовалась та роль, которую члены Союза Благоденствия отводили ланкастерским училищам: «Первым шагом для привлечения низшего состояния почитались <...> распространение училищ взаимного обучения. Научивши простой народ и нижних воинских чинов одному только чтению, скорее подействовали бы приготовленными в духе и по смыслу их маленькими сочинениями, начав самыми невинными: сказками, повестями, песнями, краткими наставлениями и проч., чтоб их заохотить, чему и сделаны опыты»⁴⁰.

В декабре 1820 г. князь Волконский писал генералу Киселеву в Тульчин: «Его величество поручил мне передать вам относительно

лицея, что подобное учреждение, нет сомнения, принесет только пользу, если цель его будет точно выполнена и исключительно для военной службы, если не будут примешивать в преподавании молодым людям политику и разные конституционные идеи, которые теперь в большой моде <...>. В особенности надо иметь наблюдение за преподаванием истории и географии, чтобы учитель не слишком входил в подробности о разного рода правлениях»⁴¹.

Именно историю и географию преподавал в юнкерской школе Владимир Раевский, а в ланкастерской — читал курс естественной истории, причем действовал он в совершенно противном правительственным рекомендациям духе: не только подробно останавливался на различных формах правления, но и отзывался о господских крестьянах как о самом несчастном и беднейшем классе в целой империи⁴².

И до волнений в 16-й дивизии Киселев держал под контролем солдатские школы, но после волнений этот контроль еще усилился. Через своих агентов генерал собирал сведения о состоянии дел в Кишиневе и в дальнейшем ставил себе в заслугу, что «был первым, который устремил надзор генерала Сабанеева за майором Раевским, о коем слышал как о вольнодумце пылком и предприимчивом»⁴³. Генерал не хотел, чтобы слухи о беспорядках в его армии дошли до Петербурга, но когда это произошло, он просил дежурного генерала Главного штаба Закревского: «Прочитай письмо мое князю Петру Михайловичу <Волконскому>, дабы не вздумали у вас, что мы скрываем вздор сей как дело важное или как повторение семеновской истории <...>. Между нами сказать, в 16-й дивизии есть люди, которых должно уничтожить и которые так не останутся; я давно за ними смотрю, и скоро гром грянет»⁴⁴.

Эти слова Киселева относились прежде всего к Раевскому: именно деятельность Раевского как директора дивизионных учебных заведений привлекла к себе внимание командира корпуса генерала Сабанеева вскоре по приезде его в Кишинев. Донос одного из юнкеров (Суцова) еще больше усилил подозрения Сабанеева.

Были ли эти подозрения связаны с принадлежностью Раевского к Союзу Благоденствия? Это вполне вероятно, но особенность ситуации 1820-х гг. состояла в том, что принадлежность к Союзу

Благоденствия еще не рассматривалась правительством как преступление (хотя могла вызвать и тайное расследование, и осложнения по службе), тогда как всякое действие, воспринимаемое как агитация среди солдат и способное вызвать возмущение, пресекалось немедленно и гласно. В этой ситуации значение приобретало порой не конкретное содержание того или иного выступления, а его направленность. Нам представляется, что интерес к связям Раевского возник уже в ходе следствия, подогретый отчасти доносом Юмина, отчасти тем впечатлением, которое сложилось у генерала Сабанеева о положении в дивизии Орлова. Так, он писал Киселеву, что офицеры 32-го полка, в котором служил Раевский, решили подать в отставку вслед за своим командиром полковником Непениным. В дальнейшем этот слух не подтвердился, и Сабанеев даже сам хлопотал за Непенина перед командованием 2-й армии.

После того как Непенин и Юмин не подтвердили, что Раевский делал им предложения о Союзе, и было выяснено, что Союз, который затевал Раевский, не связан с тем, в котором состояли Юмин и Непенин, единственным документом, способным пролить свет на связи Раевского с Союзом Благоденствия, остался список его членов, найденный у декабриста во время обыска.

До сих пор внимание исследователей привлекали противоречия в рассказе о списке, которые касались Киселева и Бурцева, и не было обращено внимания на противоречие, которое существует между рассказом о списке Раевского, с одной стороны, и рассказами Бурцева и Киселева — с другой. Бурцев и Киселев едины в том, что история со списком произошла в начале 1822 г. (Бурцев называет даже точную дату — 20 февраля). Раевский же относит эту историю на три года позже, на январь 1825 г. Что это? Ошибка памяти или не правы Бурцев и Киселев? Действительно, ведь Раевского вызывал к себе генерал Сабанеев и предъявил ему список, следовательно, Раевский точнее других должен помнить дату того, когда это произошло. Между тем рассказ Раевского содержит в себе явное противоречие, которое заключается в том, что в январе 1825 г. Бурцев уже не был адъютантом Киселева и, следовательно, не мог, как это утверждает Раевский, уничтожить адресованный генералу список. (В «Воспоминаниях» Раевского мы

II. Исторический фон лирики изгнания

находим упоминание о том, что Бурцев был сделан командиром Казанского полка⁴⁵). Но, может быть, речь идет о разных списках? Может быть, в феврале 1822 г. фигурировал один список, а в январе 1825 г. — другой? Нет, и такая точка зрения должна быть отвергнута. Те фамилии, которые приводит Раевский, почти полностью совпадают с теми, которые приводят Бурцев и Киселев.

Сама логика дела Раевского говорит за то, что история со списком могла случиться скорее в феврале 1822 г., чем в январе 1825 г. Ведь если предположить, что генерал Киселев знал о списке имен членов Союза Благоденствия уже в феврале 1822 г., то его визит в Тираспольскую крепость в марте того же года представляется глубоко закономерным, а его вопрос Раевскому о Союзе Благоденствия мотивируется самим существованием списка. В ином случае нужно предположить существование других источников, из которых генерал Киселев мог узнать о принадлежности Раевского к Союзу Благоденствия.

Наконец, в своих показаниях комиссии при Литовском корпусе Раевский сам относит историю со списком к началу 1822 г.⁴⁶ Итак, ошибка памяти? Возможно, но возможно и другое. Начав писать свои воспоминания еще в 1840-е гг., Раевский, быть может, придерживался еще той линии поведения по отношению к генералу Сабанееву, которую он демонстрировал с марта 1826 г., именно с того времени, когда Раевского привлекли к следствию по делу декабристов в Петербурге. Поскольку Сабанеев явился фактически главным обвинителем декабриста, то Раевский пытался дискредитировать поведение генерала и с этой целью начал внушать правительству мысль, что Сабанеев задолго до восстания знал о существовании заговора. Возможно, что Раевский был в курсе тех слухов, которые обвиняли командование 2-й армии в попустительстве декабристам. Так, в доносе неизвестного лица про генерала Киселева говорилось: «Общий глас винит его в бездействии и совершенной беспечности, бывших поводом к свободным съездам и совещаниям преступников»⁴⁷.

Вот почему уже в первом заявлении, сделанном Раевским по прибытии в Петербург, содержался косвенный намек на то, что Сабанеев знал о существовании заговора во 2-й армии до того, как сведения о нем дошли до правительства⁴⁸.

В дальнейшем Раевский настойчиво и планомерно пытался внушить эту мысль Следственной комиссии по делу декабристов⁴⁹, именно поэтому, прежде всего, очередная комиссия по «делу» Раевского, созданная при Литовском корпусе под началом генерала Дурасова и под контролем великого князя Константина уже после суда над декабристами, не столько выясняла подлинный характер деятельности Раевского, сколько занималась оценкой деятельности своего предшественника — генерала Сабанеева, причем можно сказать, что Раевский совершенно преуспел в своих обвинениях: целые фрагменты из его показаний почти без изменений вошли в итоговый документ, подписанный генералом Дурасовым⁵⁰.

Свою защиту Раевский строил на тонком понимании того, что после восстания декабристов правительство стало оценивать прежде всего не столько индивидуальную деятельность того или иного офицера, но степень его осведомленности и причастности к общему заговору. Поскольку высочайшая комиссия сочла Раевского непричастным к деятельности тайных обществ после 1821 г. (принадлежность только к Союзу Благоденствия не преследовалась)⁵¹, то и приговор комиссии при Литовском корпусе был относительно мягким: не лишая чинов и дворянства, вменить в наказание годы, проведенные в заключении. Декабрист полностью добился того, чего хотел: дискредитировав генерала Сабанеева, свел на нет все инспирированные им обвинения.

Тревожный характер сведений, полученных правительством от генерала Дурасова относительно действий Сабанеева, вынудил правительство создать очередную комиссию по «делу» Раевского. Специальную выписку из материалов этой последней комиссии специально для императора сделал начальник Главного штаба генерал Дибич.

Дибич был назначен начальником штаба после ухода генерала Волконского, сразу после восстания Семеновского полка. Обстановка тех лет была прекрасно известна генералу, и, видимо, поэтому Дибич в «деле» Раевского решительно принял сторону генерала Сабанеева. Соглашаясь с Дурасовым, что в ходе первоначального следствия были допущены серьезные просчеты, Дибич активно возражал против того, что они были сделаны с сознательной це-

лью дезориентировать правительство⁵². В «Докладе» Дибича, который по содержанию основных пунктов обвинения в основном совпадает с «Сентенцией», вновь основной акцент падал на деятельность Раевского среди солдат и в ланкастерской, и в дивизионной юнкерской школах. Вот почему окончательный приговор по «делу» Раевского превосходил своей суровостью не только приговор, предложенный великим князем Константином, но и приговор, первоначально предложенный Сабанеевым: не лишая чинов и дворянства, удалить в Соловецкий монастырь. Николай I утвердил приговор, по которому Раевский, лишенный чинов и дворянства, сосылался в Сибирь на вечное поселение. Сравнивая две точки зрения на «дело» Раевского — Дурасова и Дибича, мы должны все-таки отдать предпочтение мнению Дибича, непосредственного участника Следственной комиссии по делу декабристов и человека очень хорошо осведомленного (в отличие от Дурасова, бывшего рядовым бригадным командиром). При этом приходится констатировать, что научные построения современных исследователей всецело определены позицией Дурасова, которая, в свою очередь, оформилась под влиянием блестящей политической тактики самого Раевского.

1. Щеголев П. Е. Владимир Раевский и его время: Биографический очерк (род. 1795 — ум. 1872) // Вестник Европы. 1903. № 6. С. 509–561.

2. Раевский. Материалы. I, II.

3. В мае 1822 г. командир 7-го корпуса генерал А. Я. Рудzewич уже был готов к следствию, о чем сообщил начальнику штаба 2-й армии П. Д. Киселеву (Раевский. Материалы. I. С. 37).

4. Восстание декабристов. Т. 10. С. 151.

5. Там же. Т. 3. М.; Л., 1927. С. 246.

6. Пушкин И. И. Записки о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 94.

7. Восстание декабристов. Т. 4. С. 192.

8. Там же. С. 187.

9. Там же. Т. 10. С. 64; Т. 11. С. 125; Т. 12. С. 196; Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 367–368.

«Дело» В. Ф. Раевского и правительственная реакция 1820-х гг.

10. Восстание декабристов. Т. 12. С. 48.
11. Воспоминания В. Ф. Раевского. Публ. М. К. Азадовского // Литературное наследство. Т. 60. Декабристы-литераторы. II. Кн. 1. М., 1956. С. 92.
12. Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. С. 367.
13. Зabloцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 4. С. 39.
14. Воспоминания В. Ф. Раевского. Публ. М. К. Азадовского // Литературное наследство. Т. 60. Декабристы-литераторы. II. Кн. 1. М., 1956. С. 92.
15. Там же. С. 89.
16. Раевский. Материалы. I. С. 339–342.
17. «Он <Сабанеев> упорно вел следствие по одному, и очень узкому, пути, концентрируя все обвинение вокруг одного Раевского, тщательно индивидуализируя его дело, ограничивая его пределами исключительно дисциплинарных проступков, не переводя в плоскость общеполитическую» (Воспоминания В. Ф. Раевского. Публ. М. К. Азадовского // Литературное наследство. Т. 60. Декабристы-литераторы. II. Кн. 1. М., 1956. С. 58).
18. Раевский. Материалы. I. С. 34.
19. ЦГИА. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 320.
20. Пушкинский юбилейный сборник. Ульяновск, 1949. С. 220–221.
21. Русский архив, 1886, № 9, стб. 1436.
22. Радченко Ф. П. Дело Раевского (ИРЛИ. Ф. 265. Д. 2175. Л. 3).
23. Цит. по: Щеголев П. Е. Декабристы. М.; Л., 1926. С. 52.
24. Дело комиссии военного суда при Литовском военном корпусе (ИРЛИ. № 3168. XVI в. Л. 40–41, 52 об.).
25. Раевский. Материалы. I. С. 339–342.
26. Раевский. Материалы. I. С. 339–340.
27. Там же. С. 242–243, 310–312.
28. Там же. С. 309–310.
29. Там же. С. 267–269.
30. Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 416.
31. Раевский. Т. 1. С. 187.
32. Там же. С. 188.
33. Там же. С. 224.
34. Там же. С. 164–165.
35. «Он <генерал Орлов> приказами по дивизии объявлял нижним чинам покровительство против частных начальников, велел читать их в ротах, из чего произошли все неустройства в 16-й дивизии» (Восстание декабристов. Т. 3. С. 113).
36. Письма императора Александра Павловича к (князю) И. В. Васильчикову // Русский архив. 1875. Кн. 1. С. 354–355. (Пер. с фр. В. Д. Давыдова).
37. Там же. С. 128.
38. Там же. С. 57.

II. Исторический фон лирики изгнания

39. Там же. С. 354.

40. *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1905. Т. 4. С. 207–208.

41. *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1. С. 221–222.

42. Раевский. Материалы. Т. 1. С. 143.

43. Записка П. Д. Киселева о декабристах и его отношении к ним (ИРЛИ. 29. 6. 135, прилож. 8. Л. 1 об.).

44. *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 1. С. 159.

45. Воспоминания В. Ф. Раевского / Публ. М. К. Азадовского // Литературное наследство. Т. 60. Декабристы-литераторы. II. Кн. 1. М., 1956. С. 83.

46. ИРЛИ. № 3168. XVI в.

47. Русская старина, 1881, т. 30. С. 189.

48. Начальный допрос, снятый с майора Раевского генерал-адъютантом Левашовым... Список (ЦГИА. Т. 1093. Оп. 1. Д. 320. Л. 134).

49. Там же. Л. 200–204 об.

50. Там же. Л. 69.

51. Там же. Л. 283–284.

52. *Щеголев П. Е.* Декабристы. С. 42.

Пушкин и П. Д. Киселев

Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872) принадлежит к числу тех современников поэта, которые вызывают к себе неизменный исследовательский интерес¹.

На протяжении двух столь различных между собой эпох русской истории, какими были Александровское и Николаевское царствования, он не просто сохранил свое положение на самом верху имперской иерархии, но и не утерял при этом репутации прогрессивного политического деятеля. Причем мнение это разделяли не только бюрократы, но и многие декабристы.

Став в 1819 г. начальником штаба 2-й армии, Киселев сумел собрать вокруг себя блестящий коллектив помощников, в той или иной степени связанных с тайными обществами, куда входили П. И. Пестель, А. П. Юшневский, И. Г. Бурцев, Н. В. Басаргин, В. П. Ивашев, И. Б. Аврамов, П. В. Аврамов, А. А. Крюков, Н. А. Крюков, А. П. Бянтинский, М. А. Фонвизин, Н. И. Комаров, Е. Е. Лачинов. Всего же под началом Киселева во 2-й армии служило 36 офицеров, вошедших в «Алфавит декабристов», составленный А. Д. Борзовым.

Не случайно среди декабристов активно обсуждалась возможность привлечения генерала (вместе с М. М. Сперанским, Н. И. Мордвиновым и А. П. Ермоловым) к работе Временного правительства, чья деятельность планировалась на переходный после восстания период².

Служивший под непосредственным началом Киселева декабрист Басаргин вспоминал о творческой и доверительной атмосфере в штаб-квартире 2-й армии в Тульчине³, а И. Д. Якушкин, рассказывая о том, как Пестель читал своему начальнику штаба выдержки из «Русской правды», прямо утверждал, что Киселев знал о существовании тайного общества и смотрел на его деятельность «сквозь

II. Исторический фон лирики изгнания

пальцы»⁴. На фоне этой своего рода симпатии к генералу со стороны декабристов как необъяснимое или по крайней мере проблемное выглядит отношение к нему со стороны Пушкина. И. П. Липранди, один из самых достоверных летописцев кишиневской жизни поэта, вспоминал: «Дуэль Киселева с Мордвиновым очень занимала его <Пушкина>; в продолжение нескольких и многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других: что на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т. п. — Он предпочитал поступок Н. И. Мордвинова как бригадного командира, вызвавшего начальника главного штаба, фаворита государя <...> Пушкин не переносил, как он говорил, “оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего священного”»⁵.

Дуэли Киселева с бригадным генералом Н. И. Мордвиновым, имевшей место в июне 1823 г., предшествовали весьма драматические обстоятельства: офицеры Одесского полка, недовольные своим командиром, подполковником Ярошевицким, решились на коллективную отставку. Чтобы спасти полк (ибо коллективная отставка была бы расценена как бунт), штабс-капитан Рубановский нанес Ярошевицкому оскорбление действием во время полкового смотра. Этот поступок стоил Рубановскому офицерского чина и свободы: он был сослан в Сибирь, на каторгу. Мордвинова же, как командира бригады, Киселев заставил уйти со службы, поскольку подозревал в том, что тот знал о «заговоре» офицеров, но не сообщил об этом начальству.

Пушкин (или Липранди) в приведенной цитате был не совсем прав, утверждая, что Киселев являлся начальником Мордвинова: к моменту дуэли последний был уже отставлен от военной службы и вызывал начальника 2-й армии как частное лицо.

Отношение поэта к Киселеву было сложным уже в петербургские годы. Их знакомство состоялось сразу после выпуска Пушкина из Лицея⁶. Тогда генерал обещал ему свою протекцию при переводе в гвардию, но не сдержал своего обещания, по поводу чего Пушкин писал:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;

За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.

(«Орлову», 1819; II, 85)

Но, конечно, не это обстоятельство (или не только оно) формировало отношение Пушкина к Киселеву в последующие годы, хотя определение Киселева как «придворного», чьи обещания «не стоят ничего», близко к позднейшей оценке, данной Пушкиным генералу: «временщик, для которого нет ничего священного». Тем не менее современники донесли до нас сведения о спокойных и доброжелательных (по крайней мере внешне) беседах Пушкина с Киселевым в 1820–1821 гг., на основании чего Т. П. Ден был совершенно необоснованно, с нашей точки зрения, сделан вывод о конфиденциальном характере этого общения⁷. Во всяком случае, когда Киселев в своем известном исследователям письме М. Ф. Орлову писал о том, что его образ мыслей будет осужден некоторыми «пылкими учениками Лицея»⁸, то, скорее всего, имел в виду именно Пушкина.

И все-таки при том, что холодность и известное недоверие между Киселевым и Пушкиным были, скорее всего, обоюдными, до июня 1823 г. поэт явно не выказывал своего отрицательного отношения к генералу.

Размышляя о том, чем было вызвано столь нелюбезное мнение Пушкина относительно начальника штаба 2-й армии летом 1823 г., Л. П. Гроссман в качестве причины назвал предположительно увлечение (или даже серьезное чувство) женой Киселева Софьей Станиславовной, урожденной Потоцкой⁹.

Софья Потоцкая — одна из нескольких кандидатур на «утаенную» (хотя и не настолько, чтобы об этом не догадывались пушкинисты) любовь Пушкина. Нам бы не хотелось углубляться в этот вопрос, заметим только, что знакомство Пушкина с Потоцкой-Киселевой С. С., начавшееся в Петербурге зимой 1818–1819 гг., благополучно продолжалось во время их встреч в Тульчине в 1821 г., между тем как резкое высказывание поэта о Киселеве имело место два года спустя.

Нам представляется, что ухудшение отношения Пушкина к Киселеву в тот момент (в середине 1823 г.) вызвано вполне определенными обстоятельствами, в первую очередь — следствием и процессом по делу близкого друга поэта, «первого декабриста» В. Ф. Раевского.

В «Деле» Раевского (которому посвящена значительная исследовательская литература¹⁰), роль Киселева прояснена недостаточно. Так, главным обвинителем и человеком, инспирировавшим процесс, как мы видели в предыдущей главе (и с этим согласно большинство современников и исследователей) был командир 6-го корпуса, входившего во 2-ю армию, генерал И. В. Сабанеев¹¹. В значительной степени это и было так, но за действиями Сабанеева во всех стадиях с начала тайного надзора, а затем следствия и суда над Раевским стоял Киселев.

Об этом свидетельствует прежде всего то, что именно начальник штаба 2-й армии стал первым, кто обратил внимание на деятельность Раевского. Так во всяком случае утверждал сам Киселев в своей записке о декабристах¹² (см. предыдущую главу). В письме к дежурному генералу Главного штаба А. А. Закревскому Киселев относит начало надзора за Раевским к июлю 1821 г.¹³

Именно тогда во 2-й армии по инициативе Киселева была создана тайная полиция. В заметке «О предметах наблюдения для тайной полиции в армии» он так определил ее задачи: «Не существует ли между некоторыми из офицеров особой сходимости, под названием клуба, логи и проч.? — Вообще какой дух в полку и нет ли суждений о делах политических и правительства?.. Какие учебные заведения в полковых, ротных или эскадронных штабах; учреждены ли ланкастерские школы, какие в оных таблицы: печатные или писанные и если писанные, то не имеют ли правил непозволительных»¹⁴.

Все перечисленные в этой инструкции пункты имели отношение к Раевскому: Раевский выступил в полку организатором подписного листа и своего рода дружеского общества, он язвительно и неосторожно высказывался о правительственных мерах и позволил себе с похвалой отозваться о восстании Семеновского полка, наконец, он, став во главе дивизионной ланкастерской школы взаимного обучения, использовал здесь не официально рекомендо-

ванные (печатные) таблицы, а рукописные собственного сочинения и острой политической направленности. Все эти поступки Раевского породили целую серию доносов и послужили для его обвинения в ходе следствия¹⁵.

В конце декабря 1821 — начале января 1822 г. Киселев разослал командирам своих корпусов, 6-го и 7-го, тайные циркуляры, где просил генералов Сабанеева и Рудзевича соответственно расследовать, не принадлежал ли кто-либо из их офицеров к масонским ложам. В ответе Сабанеева упоминался Раевский, посещавший собрания недавно закрытой ложи «Овидий»¹⁶. Ответ генерала Рудзевича не имеет прямого отношения к «делу Раевского», но все-таки стоит того, чтобы привести из него выдержку, поскольку по ней можно судить об отношении командира 7-го корпуса к начальнику штаба 2-й армии: «Относительно тайного письма вашего, на которое я сим отвечаю вам, — вам известны, любезнейший Павел Дмитриевич, все генералы и полковые командиры корпуса моего. Кажется от них нельзя ожидать, чтобы кто-то из них был главою Масонских лож.. Однако мое подозрение падает только на Дрентельна одного и, как кажется мне, он действительно принадлежит к ложе Масонской — ибо умеет деньги выманывать от людей любящих их»¹⁷. Все письмо написано в таком слегка глумливом тоне. Дело в том, что Рудзевич, будучи старше чином и годами, не скрывал своего отношения к Киселеву как к выскочке. Важно и то, что на служебный запрос, посланный специальной почтой, Рудзевич отвечает нарочито приватным письмом. Сложные взаимоотношения между командиром 7-го корпуса и начальником штаба 2-й армии сыграют свою роль, когда встанет вопрос о том, где именно проходить суду и следствию по «делу Раевского».

Итак, вопреки устоявшемуся мнению, инициатором слежки за Раевским выступил не Сабанеев, а Киселев. Видимо, он и отдал приказ об аресте «первого декабриста». Здесь мы можем опереться на воспоминания самого Раевского, который в мемуарном очерке «Мой арест» так передает (со слов Пушкина) разговор, произошедший между генералом И. Н. Инзовым, выполнявшим в это время обязанности Новороссийского наместника, и Сабанеевым 5 января 1822 г.: «Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать;

II. Исторический фон лирики изгнания

наш Инзушко, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго еще продолжался разговор, я многого не дослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что *ему приказано*, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован»¹⁸ (курсив мой. — И. Н.).

Обратим внимание на то, что Сабанеев не просто настаивает на аресте Раевского, но и ссылается на чью-то волю («ему приказано»). Только один человек мог приказать Сабанееву, им был Киселев. До более высокого начальства, т. е. в Петербург, дело дошло несколько позднее, уже после ареста Раевского. Слова о том, что «ничего нельзя открыть», пока не арестован Раевский, свидетельствуют о том, что надзор за «первым декабристом» уже велся, что подтверждается как перепиской Киселева с командованием 6-го корпуса¹⁹, так и признанием генерала неизменному confidentу, А. А. Закревскому: «Давно я имел под надзором некоего Раевского, майора 32-го егерского полка, который известен мне был вольнодумством совершенно необузданным; нынче по согласию с Сабанеевым производится явное и тайное исследование о всех его поступках, и, кажется, суда и ссылки ему не миновать»²⁰.

Наконец, когда уже после ареста Раевский выражает желание, чтобы следствие по его делу производилось не в 6-м корпусе (неприятель Сабанеева к «первому декабристу» была общеизвестна), а в 7-м, и на это согласились и Рудзевич, и командующий армией Виттенштейн²¹, Киселев умело и осторожно игнорирует решение своего командующего. В результате Раевский остается в штаб-квартире 6-го корпуса, в Тирасполе. И все потому, что Сабанеев действовал совершенно в духе получаемых им от Киселева инструкций, тогда как Рудзевич в силу своего неприятельного отношения к начальнику штаба вел бы следствие более самостоятельно.

После ареста «первого декабриста» и перемещения его в Тираспольскую крепость перед Киселевым встала нелегкая задача сузить следствие, по возможности исключить из него деятельность непосредственного начальника Раевского, Михаила Орлова.

Вместе с тем и речи не может идти о том, что командование 2-й армии каким-то образом пыталось скрыть расследование от вышестоящего начальства. Достаточно сказать, что к допросам было привлечено 50 офицеров и 600 солдат²², отменены знаме-

нитые «приказы» Орлова по дивизии, а солдаты Охотского полка, выступившие на защиту своего достоинства и поддержанные в этом Орловым, подвергнуты публичной военной казни. Зачинщики забиты досмерти. Как следует из архивных документов, руководил казнью Киселев²³.

При этом, как уже говорилось в предыдущей главе, Киселев и подчиненные ему следователи оставили без внимания существование в 16-й дивизии отделения Союза Благоденствия, несмотря на то что буквально накануне ареста Раевского майор И. М. Юмин обратился к Сабанееву с признанием в своей принадлежности к Союзу²⁴, а спустя еще месяц произошла странная история с передачей Киселевым списка членов Союза Благоденствия, найденного во время обыска на квартире Раевского И. Г. Бурцеву, адъютанту генерала, чье имя в списке фигурировало. Эта история (упоминавшаяся нами в предыдущей главе) всплыла во время следствия по делу декабристов и доставила Киселеву много неприятностей²⁵.

Это и дало основание позднейшим исследователям утверждать, что Сабанеев сознательно стремился ограничить расследование сугубо дисциплинарной сферой поступков, не переводя дело Раевского в плоскость политическую²⁶. Однако, как показано в предыдущей главе, именно Сабанеев не был склонен «сужать» дело Раевского и недооценивать значение существования отделения Союза Благоденствия в дивизии Орлова. Цитировавшееся письмо Сабанеева Киселеву (в котором прозвучали слова о «государственном заговоре») было написано 2 марта 1822 г., когда следствие только начиналось; спустя несколько недель вопросы о принадлежности к Союзу были заданы Непенину²⁷ и Юмину. Однако в дальнейшем следствие перестало этим интересоваться. Естественно встает вопрос: почему?

Впоследствии Раевский вспоминал, что «когда еще производилось надо мною следствие, ко мне приезжал начальник штаба 2-й армии генерал Киселев. Он объявил мне, что государь император приказал возвратить мне шпагу, если я открою, какое тайное общество существует в России под названием “Союза Благоденствия”. Натурально, я отвечал ему, что “ничего не знаю. Но, если бы и знал, то самое предложение вашего превосходительства так

II. Исторический фон лирики изгнания

оскорбительно, что я не решился бы открыть. Вы предлагаете мне шпагу за предательство?» Киселев несколько смешался. — “Так вы ничего не знаете?” — “Ничего...”»²⁸. Видимо, об этом же эпизоде и, скорее всего, со слов самого Раевского (встреча «первого декабриста» с Киселевым проходила без свидетелей, даже конвой был выслан генералом) вспоминает один из свидетелей подполковник Ф. П. Радченко: «По прошествии нескольких недель генерал Киселев прибыл в г. Тирасполь и, почти не выходя из коляски, отправился в крепость к майору Раевскому, вошедши в камеру его, он выслал внутренний караул. Киселев начал разговор свой обвинением Орлова. Казалось, сама добродетель боролась с деспотизмом. Ответы Раевского были коротки, но ясны: “Я не знаю, сказал он, виноват ли г-н Орлов или нет, но, кажется, до сих пор Вы казались быть его другом. Я ничего прибавить к этому не имею, кроме того, что ежели бы действительно был виноват г-н Орлов, и тогда бы я не перестал уважать его”. Разговор об Орлове прекратился, Киселев сделал запрос об союзе. Ответ Раевского для него был столь неясен, что генерал Киселев решился требовать письменного объяснения по сему предмету <...>. Через два дня получен нижеследующий ответ: “Я ничего не могу сказать о вопросе, который Вы мне сделали, ибо ничего не знаю о союзе <...>”»²⁹.

Конфиденциальные посещения Киселевым Раевского в тираспольской крепости имели место дважды, 16 и 23 февраля 1822 г., т. е. сразу после ареста «первого декабриста», когда и были опрошены те, чьи имена «всплыли» в связи с Союзом: Юмин и Непенин. Поскольку последний сознался, что был принят в общество Ф. А. Бистромом, запрос был сделан и тому. Однако это были люди, за исключением умершего к этому моменту Бистрома, действительно находившиеся на периферии Союза Благоденствия, они ничего не могли о нем рассказать. Таким образом, расследование зашло в тупик, а Раевский, единственный, кто мог бы прояснить ситуацию, отказался давать какие-либо пояснения. Конфиденциальное общение Киселева с Раевским свидетельствует, казалось бы, о том, что в этот момент декабрист стал испытывать определенное давление следствия. В действительности все обстояло как раз наоборот: никакой ответ не устраивал генерала больше, чем

фактическое обещание Раевского хранить молчание относительно деятельности Союза вообще и Михаила Орлова в частности. Об этом, помимо всего прочего, свидетельствует и то обстоятельство, что после последнего посещения Киселевым Раевского режим заключения «первого декабриста» был значительно смягчен. Все это, казалось бы, полностью повторяет сложившуюся в мемуаристике и отчасти в исследовательской литературе точку зрения о том, что Киселев, пусть ценой трагической судьбы Раевского, спас от разгрома Южное общество (фактически речь шла уже не о Союзе Благоденствия, распавшемся к началу 1821 г., а о новой тайной организации).

Анализ реальной ситуации 1821–1823 гг., сделанный видным историком общественного движения С. Н. Черновым, показал, что в этот период правительство приняло весьма активные меры с тем, чтобы не допустить распространения в армии новых идей: были удалены в отставку или же лишены командных постов офицеры, известные своим свободомыслием и пользующиеся популярностью среди солдат³⁰.

Именно таким образом действовал и Киселев: практически все офицеры, замешанные в «деле» Раевского, были им удалены.

Особую проблему составляет отношение Киселева к генералу Орлову. Несомненно, что самим назначением на пост командира 16-й дивизии последний был во многом обязан начальнику штаба 2-й армии, своему другу, однополчанину (они вместе начинали службу в Кавалергардском полку) и до известной степени единомышленнику. Однако за те полтора года, в течение которых Орлов находился во главе дивизии, между друзьями выявились существенные разногласия, особенно обострившиеся после восстания Семеновского полка³¹.

Наибольшую тревогу начальника штаба 2-й армии вызывала просветительская деятельность командира 16-й дивизии среди нижних чинов. Именно апелляция Орлова к широкой солдатской массе, по мнению Киселева, и стала косвенной причиной беспорядков, имевших место в конце 1821 г. в Камчатском и Охотском полках 16-й дивизии. С этого времени, а именно с декабря 1821 г., Киселев стал осторожно, но настойчиво внушать командующему

2-й армии генералу Витгенштейну, что Орлову не следует командовать дивизией. При этом, будучи практически инициатором отставки Орлова, Киселев сумел остаться в тени и даже сохранил с Орловым внешне приятельские отношения, используя действительно имевшие место разногласия между Орловым и генералом Сабанеевым³². Правда и то, что на определенном этапе следствия Киселев защитил своего приятеля, сумев убедить правительство в том, что «цель, которую преследовал себе Орлов, несомненно есть цель похвальная: уничтожить варварство в управлении людьми — было всегда желание благомыслящих начальников, но с желанием сим надлежит сохранить дисциплину, и потому жестокость могла быть искореняемой постепенно, через посредство начальников, без участия в том нижних чинов, т. е. вынуждением скромности первых, а не дерзости последних. Способ им <Орловым> принятый был совершенно противный, пагубные последствия показали оное»³³.

Несомненно, в действиях Киселева можно усмотреть своего рода сословную стыдливость (не случайно Раевский отметил «смущение», в котором генерал предложил ему предательство). Начальник штаба 2-й армии вовсе не желал крови и в свободных разговорах со своими подчиненными мог сам высказать весьма смелые мысли (отсюда его репутация, вполне заслуженная, просвещенного человека). В то же время он безжалостно отправлял в отставку тех, кто, по его мнению, нарушал корпоративные принципы. «Удалите от военной службы тех, кто не действует по смыслу правительства, — писал Киселев А. А. Закревскому, — они в английском клубе безопасны, а в полках чрезмерно вредны»³⁴.

Оценивая устойчивую репутацию генерала Киселева среди членов Южного общества как «прогрессиста», несмотря на ряд служебных репрессий, обрушенных им на свободомыслящих офицеров, хотелось бы отметить, что большая часть последних достаточно случайно примкнула к Союзу Благоденствия и никто из них (за исключением, может быть, М. Орлова) не был причастен к деятельности последующих тайных обществ. Это не означает, что их деятельность имела менее радикальный характер, чем деятельность тех, кто принадлежал к тайным обществам впоследствии. Более того, они (как например в случае с Раевским) выступали гораздо

более решительно и открыто, чем декабристы. Не случайно в истории освободительного движения этот период получил название «просветительского», что подразумевало отличия не только в тактике, но и в идеологии: просветители не были склонны заводить «секретнейшие союзы» и планировать военные перевороты, а обращались к солдатской массе непосредственно³⁵. Идеалом для них был не дворцовый переворот (наподобие 11 марта 1801 г.), а революция в Испании, когда корпус, предводимый молодым офицером Риэгой, прошел по стране среди бела дня, без единого выстрела, радостно встречаемый населением. Так, когда Пушкин поздравил участника царевубийства генерала Д. П. Бологовского с годовщиной 11 марта, это было воспринято как величайшая бестактность (и Пушкин был вынужден объясняться)³⁶. Между тем Раевский в дивизионной школе рассказывал о горячей встрече, устроенной Квироге жителями Мадрида³⁷.

В результате политические процессы начала 1820-х гг. и более всего «дело Раевского» значительно способствовали тому, что дворянское освободительное движение в целом ушло в подполье. Правительство хорошо понимало опасность такого «скрытого» развития дворянской оппозиционности и запрещало масонские ложи, заставляло чиновников и офицеров давать расписку в непринадлежности к тайным обществам и т. д.; одновременно спешно создавались различные тайные полиции в армии, в гвардии, в военных поселениях. Характерной фигурой русского общества стал тайный агент.

В подобном же духе действовал Киселев, но он был осторожным и умным исполнителем высочайшей воли, постоянно учитывающим общественное мнение. Безусловно, он дорожил своей репутацией, большой политический процесс во 2-й армии был ему не нужен, и именно поэтому он и вывел из-под удара М. Орлова и других офицеров 16-й дивизии. Тем большая тяжесть политических обвинений легла на одного Раевского: итоговые документы следствия рисуют его дерзким одиночкой, подстрекавшим солдат к мятежу³⁸.

Первоначальный приговор Раевскому был весьма суров: лишение жизни («живота»). Однако после конфирмации он был (казалось бы, немотивированно) смягчен: вменить в наказание годы,

II. Исторический фон лирики изгнания

проведенные в крепости, и сослать в Соловецкий монастырь, не лишая чинов и дворянства³⁹. Несомненно, что своим непреклонным поведением Раевский сам определил оба приговора. Так, утверждая, что он действовал совершенно самостоятельно, и отказываясь давать показания против Орлова и других членов Союза Благоденствия, Раевский на себя принимал всю тяжесть возводимых на него обвинений. С другой стороны, его скромность несомненно устраивала Киселева и способствовала смягчению итоговых документов следствия.

Двойственное поведение Киселева в «деле Раевского» не укрылось от современников. С. И. Тургенев записывает в своем дневнике от 28 мая 1822 (со слов И. П. Липранди): «Раевский, о котором говорил с ним <Липранди>, тот самый Владимир Федосеевич, которого я и знал в пансионе. <...> Об обществе он ничего не слышал; но подозревает многих в том, что они агенты Орлова в Армии. Что за агентство! и чёё!!! <...> Киселев, по словам Липранди, как начальник штаба мог успокоить бурю, но он приязнь свою с Орловым употребил во зло»⁴⁰. С тревогой и недоверием следили за происходящим в Тирасполе тульчинские заговорщики, члены Южного общества. С. Г. Волконский подделал печать, чтобы иметь возможность распечатывать письма, посылаемые Сабаневым Киселеву⁴¹. Особенно же резко оценивал роль осведомленный лучше других и уже упомянутый нами аудитор Ф. П. Радченко: «Генерал Киселев, начальник штаба 2-й армии, здесь (в «деле Раевского». — *И. Н.*) показал всю недалководность свою, ибо возбуждать неосновательные подозрения государя — значило не быть ему преданным и открывать средства к неправосудию, но так как он обязан своим возвышением более стройной наружности тела, приятности лица и природным способностям ума, нежели опыту и познаниям, то опрометчивость и ошибка его извинительны. Но генерал Сабанев уже 35 лет в службе, сделать этот проступок было весьма непροститительно. Оба они весьма скоро опомнились и рассмотрели дело, узнали, что г-н Орлов совершенно прав и вместо поправления своей ошибки они решились обогатить и погубить Раевского, дабы оправдать себя в глазах государя. Какая адская политика! *Политика, достойная веков Тиберия и Калигулы*»⁴² (курсив мой — *И. Н.*).

Процитированная выше «статья» Ф. П. Радченко датируется концом 1823 г. В основе ее лежит знаменитый «Протест» В. Раевского, написанный в сентябре 1823 г., после того как следствие по его делу было закончено и он наконец получил в руки обвинительные документы. Исследователь творчества Раевского А. Г. Колесников высказал предположение о том, что «Протест» был адресован не только судебным властям и командованию 2-й армии, но и представлял собой своеобразный публицистический очерк самой широкой направленности, имевший целью познакомить публику с незаконными, с точки зрения Раевского, действиями его судей и следователей⁴³. Возможно, что и написание статьи Радченко было инспирировано «первым декабристом». Именно в таких случаях он давал прочитывать, а иногда списывать свой «Протест»⁴⁴.

Стремление Раевского привлечь общественное внимание к собственной судьбе значительно облегчает решение вопроса, *что именно Пушкин мог знать* о «деле» первого декабриста.

В 1822–1823 гг. поэт общался со многими, прямо или косвенно причастными к процессу Раевского: П. С. Пузиным, А. Г. Непениным, И. П. Гамалеей, И. М. Юминым (предположительно) и, конечно же, с И. В. Сабаневым и П. Д. Киселевым. Список этот далеко не полон, поскольку, как нам уже приходилось упоминать, к процессу было привлечено примерно 50 офицеров дивизии Орлова, расквартированной в Кишиневе. Вспомним также, что именно Пушкин был свидетелем разговора между Инзовым и Сабаневым накануне ареста. Наконец, имя поэта встречается в переписке последнего с Киселевым: «В Кишиневской шайке, кроме известных Вам лиц, никого нет, но какую цель имеет сия шайка, еще не знаю. Пушкин, щенок, всем известный, во всем городе прославляет меня карбонарием и выставляет виною всех неустройств. Конечно, не без намерения, и я полагаю органом той же шайки»⁴⁵.

Трудно понять, что именно имел здесь в виду Сабанев. Возможно, Пушкин распространял слух, инспирированный Раевским, о том, что император Александр не доверяет генералу, поскольку тот «доживши до седых волос <...> не видит, что у него в 16-й дивизии делается»⁴⁶. Дело в том, что, как указано выше, «первый декабрист» строил свою защиту на тонком понимании того, что мно-

II. Исторический фон лирики изгнания

гие действия Сабанеева могут выглядеть незаконными не только с точки зрения арестанта, но в глазах правительства; что, между прочим, и произошло, когда в 1827 г. специальная комиссия пересматривала «дело Раевского». Любопытно, что и тогда все обвинения в незаконных действиях были возложены только на одного Сабанеева, имя Киселева не было даже упомянуто⁴⁷.

Наиболее информированным собеседником Пушкина был несомненно И. П. Липранди, выступивший посредником между поэтом и «первым декабристом» оба раза, когда последний адресовал Пушкину стихи. Получению же стихотворения «Певец в темнице» предшествовало свидание Липранди с Раевским на гласисе Тираспольской крепости без свидетелей⁴⁸.

Основная тема стихотворения Раевского «Друзьям в Кишинев» — тема клеветы, предательства и лжесвидетельства: «Вам чужды темные угрозы, / Как лед, холодного суда, / И не коснулась клевета / До ваших дел и жизни тайной, / <...> И торжествующее мщенье, / Склонясь бессовестным челом, / Еще убийственным пером / Не пишет вам определенья / <...> Наемной лжи перед судом / Грозил мне смертным приговором / “По воле царской” трибунал...»⁴⁹.

Исследователи стихотворения полагают, что в этом стихотворении Раевский передал свои впечатления от встречи с Киселевым в феврале 1822 г.: «С каким-то рабским торжеством, / В пороках рабских закоснелый, / Предатель рабским языком / Дерзнул вопрос мне сделать смелый. / Но я умолк перед судом!»⁵⁰.

Однако в подобной точке зрения следует относиться с осторожностью, поскольку предательским в деле Раевского было поведение не только Киселева. Ряд доносов предшествовал аресту «первого декабриста»; неосторожность, возможно намеренная, лейтенанта Гамалеи привела к тому, что письмо «первого декабриста», адресованное полковнику Непенину, попало в руки Сабанеева. Шпионство и доносительство становились характерной чертой кишиневского быта. М. Орлов жаловался на это в письме к П. А. Вяземскому: «Сижу в безмолвии и не смею поверить непросвещенным цензорам те мысли, кои без страха и без всякого взыскания мог бы объявить самому начальству. Тут-то и вся беда. Донесения частных и подлых шпионов всегда более или менее

позлащены клеветой. Их выгода явственна. От них требуются известия, и они места свои потеряли бы, ежели бы не доставляли каких-нибудь донесений»⁵¹.

Естественно, что поднадзорный Пушкин должен был быть особенно осторожным в своей переписке с друзьями. Поэтому для передачи важных сведений он пользуется оказией. Так, например, чтобы сообщить о кишиневских делах Вяземскому в Москву в январе 1822 г., он посылает ему письмо через Липранди. Характерно, что оно содержит в себе характеристику последнего, указывающую на то, что ему можно доверять: «Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его» (XIII, 34). К Вяземскому же и тоже с оказией посылает Пушкин письмо и в апреле 1823 г. На этот раз его везет в Москву К. А. Охотников, давно известный Вяземскому и также пользующийся безусловным доверием Пушкина («Охотников приехал? привез ли тебе письма и прочее?» — XIII, 61).

Только постоянным ощущением опасности, которое испытывал Пушкин в эти годы, можно объяснить обстоятельство, беспрецедентное в жизни поэта: в 1824 г., находясь в Тирасполе, Пушкин отказывается от свидания с Раевским (притом, что с генералом Сабанеевым, от которого исходило это предложение, поэт совершенно помирился). Как показал ход дальнейших событий, осторожность Пушкина оказалась нелишней: в 1826 г. было проведено специальное расследование того, с кем именно встречался Раевский в период своего заточения⁵², и поэт легко бы мог оказаться среди тех, кто был привлечен к следствию.

С Киселевым же Пушкин встретился уже в Одессе в конце 1823 г. К этому времени относится отзыв о поэте Н. В. Басаргина, адъютанта генерала: «В Одессе я встретил также нашего знаменитого поэта Пушкина. Он служил тогда в Бессарабии при генерале Инзове. Я еще прежде этого имел случай видеть его в Тульчине у Киселева. Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. Как человек, он мне не понравился. Какое-то бретерство, *suffisance* [высокомерие — *франц.*], и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли. В Кишеневе он имел несколько поединков»⁵³.

II. Исторический фон лирики изгнания

Н. Я. Эйдельман высказал предположение, что негативное отношение к Пушкину со стороны некоторых декабристов, знавших Пушкина на юге, было вызвано клеветой, которую распространял, возможно, А. Н. Раевский⁵⁴. Однако представляется, что отзыв Басаргина вряд ли определен чем-либо еще, кроме личного впечатления декабриста. Басаргин признается, что видел Пушкина у Киселева. Следовательно, именно в обществе «надменного временщика» поведение Пушкина отдавало бретерством и повышенным самолюбием — обратной стороной ощущения социальной незащищенности.

Заметим, что П. Д. Киселев был близким другом М. С. Воронцова («полумилорда»); последний откровенно, вполне надеясь на сочувствие, делился планами удаления Пушкина из Одессы⁵⁵.

Нам представляется, что Киселев и Воронцов в восприятии Пушкина принадлежали к одному типу государственного деятеля Александровского царствования, отличительной чертой которого была лицемерная двойственность, выраженная, в частности, в форме «оскорбительной вежливости».

Интересно, что в таком же ключе Пушкин одно время был склонен воспринимать и самого императора Александра:

Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

(III, 206)

Одним из ключевых моментов творческой биографии поэта считается «психологический кризис 1822–1823 гг.». Так пушкинисты называют тяжелое настроение поэта, ознаменованное созданием нескольких стихотворных отрывков крайне пессимистического звучания — послания В. Ф. Раевскому, «Бывало в сладком ослепленье...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...»⁵⁶.

К факторам, определявшим это настроение, исследователи обычно относят наступление политической реакции в России и в Европе. Среди прочего называют, конечно, и процесс Раевского. Вполне принимая подобную точку зрения, нам хотелось бы отметить, что кризис 1823 г., осложненный конфессиональным ни-

гилизмом⁵⁷, имел не только социальный характер. Конечно, одной из его составляющих стало убеждение Пушкина в том, что «Народы тишины хотят / И долго их ярем не треснет», но не менее того Пушкин разуверился в разумной и доброй основе человеческой природы: «человек» / тиран — лстец / Иль предрассудков раб послушной». Эти строчки отчетливо прочитываются в черновике послания, которое М. А. Цявловский атрибутировал как стихотворное обращение к В. Ф. Раевскому в ответ на его стихи, адресованные Пушкину⁵⁸.

Именно с поэтического обращения к Раевскому эта строка начинает своеобразное путешествие по пушкинскому творчеству, постепенно усиливаясь в своем звучании. В стихотворении «Мое беспечное незнание / Лукавый демон возмутил...» ее пессимизм приобрел характер почти универсальный: «И взор я бросил на людей, / Увидел их надменных, низких, / Жестоких ветреных судей, / Глупцов, всегда злодейству близких» (II, 293).

Несомненно, что знакомство с П. Д. Киселевым, с человеком, для которого «не было ничего священного», по выражению Пушкина, во многом определило этот вывод.

1. См.: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1–4; *Дружинин Н. М.* Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.; Л., 1946. Т. 1–2; *Семенова А. В.* Начальник штаба 2-й армии // Она же. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 142–176; *Гордин Я. А.* Судьба генерала Киселева // Он же. Право на поединок. Л., 1989. С. 56–74, 412–431.

2. См.: *Семенова А. В.* Начальник штаба 2-й армии.

3. *Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 58–59.

4. *Якушкин И. Д.* Записки. М., 1951. С. 36.

5. *Липранди И. П.* Из дневника и воспоминаний // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 326–327.

6. *Пушкин И. И.* Записки о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 86.

7. *Ден Т. П.* Пушкин в Тульчине // Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. I. С. 225.

II. Исторический фон лирики изгнания

8. Цит. по: *Милютин Д. А.* П. Д. Киселев и М. Ф. Орлов в 1819–1820 гг. // Русская старина. 1887. Июль. С. 232.

9. *Гроссман Л. П.* У истоков «Бахчисарайского фонтана» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. III. Л., 1960. С. 65–66.

10. См. обзор литературы во вступительной статье А. А. Брегман и Е. П. Федосеевой «Владимир Федосеевич Раевский» (Раевский. Материалы. I. С. 5–7).

11. Наиболее полно эта точка зрения выражена в работе: Воспоминания В. Ф. Раевского. *Публ. М. К. Азадовского* // Литературное наследство. Т. 60. Декабристы-литераторы. II. Кн. 1. М., 1956. С. 55–64; перепечатано: *Азадовский М. К.* Страницы истории декабризма. [Иркутск], 1992. Т. 2. С. 237–285.

12. *Киселев П. Д.* Записка о декабристах // ИРЛИ. Ф. 143. № 29. 6. 135. Прилож. 2. Л. 1 об.

13. См.: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* П. Д. Киселев и его время. Т. 1. С. 157.

14. *Киселев П. Д.* Заметки о предметах наблюдения для тайной полиции // РГИА. Ф. 958. Оп. 1. № 619. Л. 1, об.

15. См.: Определение комиссии военного суда, образованной при корпусной квартире 6-го пехотного корпуса, о майоре 32-го егерского полка В. Ф. Раевском // Раевский. Материалы. I. С. 339–342.

16. См. письмо Сабанеева Киселеву от конца декабря 1821 г. (Раевский, I, 158–159).

17. Письмо А. Я. Рудзевича П. Д. Киселеву // ИРЛИ. Ф. 143. № 2969. 102. Л. 38 об.

18. Раевский, II, 309.

19. Раевский, I, 148–160.

20. Цит. по: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* П. Д. Киселев и его время. Т. 1. С. 158.

21. См.: Раевский, I, 179, 183, 186.

22. Там же. С. 36.

23. См.: РГИА. Ф. 1018 (П. Е. Щеголева). Документы, относящиеся к служебной деятельности П. Д. Киселева во 2-й армии.

24. Раевский, I, 30–31.

25. См.: Восстание декабристов. Т. 10. М., 1953. С. 64; Т. 11. М., 1954. С. 125; Т. 12. М., 1969. С. 196; а также см.: *Нечкина М. В.* Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 367–368 (здесь приведены показания самого И. Г. Бурцева). Объяснения Киселева см.: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* П. Д. Киселев и его время. Т. 4. С. 38–39.

26. Воспоминания В. Ф. Раевского. *Публ. М. К. Азадовского* // Литературное наследство. Т. 60. Декабристы-литераторы. II. Кн. 1. М., 1956. С. 57.

27. Раевский. Материалы. I. С. 267–269. Подробнее о роли Сабанеева в следствии по делу Раевского см. гл. 3 «Дело Раевского...» наст. изд.

28. Раевский, II, 377–378.

29. *Радченко Ф. П.* Дело Раевского // Раевский, II, 99.

30. *Чернов С. Н.* У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 416.

31. См.: *Ланда С. С.* О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816–1821 гг.: (Из политической деятельности П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. Орлова) // Пушкин и его время. Л., 1962. С. 140–150.

32. Раевский, I, 395.

33. РГВИА, ВУА. № 28.

34. *Заблоцкий-Десятовский А. П.* П. Д. Киселев и его время. Т. I. С. 159.

35. См.: *Лотман Ю. М.* Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 167. Тарту, 1965. С. 3–32.

36. *Липранди И. П.* Из дневника и воспоминаний. С. 315.

37. Раевский, I, 341.

38. Там же. С. 343–345.

39. Там же. С. 341 и след.

40. *Тургенев С. И.* Дневник // ИРЛИ. Ф. 309. № 23. Л. 46–46 об.

41. Восстание декабристов. Т. 10. С. 151.

42. Раевский, II, 102.

43. *Колесников А. Г.* В. Ф. Раевский о положении в царской армии накануне восстания декабристов // Филологические этюды. Русская литература. Р/Дон, 1971. С. 5–27.

44. См. об этом: *Бейсов П. С.* Дело Мозевского // Пушкинский юбилейный сборник Ульяновск, 1949. С. 58–73.

45. Раевский, I, 164.

46. Раевский, II, 96.

47. Там же. С. 251–286. Подробнее см. гл. «Дело» Раевского..., с. 165–180 наст. изд.

48. *Липранди И. П.* Из дневника и воспоминаний. С. 342. Очень может быть, что при написании «Записок» память несколько изменила И. П. Липранди. Он упоминает о двух посланиях Раевского, адресованных Пушкину. Первое, «Певец в темнице», Пушкин получил в середине 1822 г., второе было передано ему значительно позже, по словам Липранди, уже в Одессе, следовательно, не ранее лета 1823 г. Между тем в июне 1822 г. Раевский закончил и послал в Кишинев свое стихотворение «Друзьям в Кишинев». Послание «Певец в темнице», действительно адресованное преимущественно Пушкину, было закончено им позднее. Следовательно, в середине 1822 г. Липранди передал поэту не «Певца в темнице», а стихотворение «Друзьям в Кишинев». В ином случае остается предположить, что в Одессе Липранди передал Пушкину какое-то *третье* стихотворение Раевского, нам неизвестное, на что нет никаких указаний ни в воспоминаниях Раевского, ни в его хорошо сохранившемся поэтическом наследии. Правда, рассказывая о реакции поэта на послание Раевского, Липранди цитирует (вернее, заставляет это делать Пушкина) строки именно из «Певца в темнице». Остается предположить, что при написании «Записок» мемуарист перепутал очередность стихотворений.

II. Исторический фон лирики изгнания

49. Раевский В. Ф. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1967. С. 191–192. В ранней редакции вторая цитируемая строчка звучит «Как мрамор холодного суда» (там же, с. 198), две последние: «Я слышал голос двуязычный, / И презрел вид ее двуличный» (с. 199).

50. Там же. С. 199–200 (редакция, опубликованная в Русской старине (1890. № 5)).

51. Орлов М. Ф. Письмо П. А. Вяземскому от 25 ноября 1821 г. из Кишинева // Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 235.

52. Раевский, II, 115–158.

53. Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. С. 68.

54. Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 158.

55. Сиверс А. А. Письмо гр. М. С. Воронцова П. Д. Киселеву (с отзывом о Пушкине) от 6 марта 1824 // Пушкин и его современники. Л., 1928. Вып. 37. С. 140 (оригинал по-французски — с. 137).

56. См.: Медведева И. Пушкинская элегия 1820-х годов и «Демон» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М.; Л., 1941. С. 51–71; Вацуро В. Э. К генезису пушкинского «Демона» // Сравнительное изучение литературы: Сб. статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976. С. 253.

57. См. об этом наст. изд., раздел 1, гл. «Исторический фон послания Пушкина В. Л. Давыдову (1821)».

58. Существует давняя полемика по поводу этих строк. Ю. Г. Оксман оспаривал конъектуры Б. В. Томашевского («везде», «иль»). Позднее точку зрения Ю. Г. Оксмана поддержал В. В. Пугачев. Он утверждает, что и слова «человек» в послании нет (Пугачев В. В. О полемике вокруг пушкинского послания В. Ф. Раевскому. К спорам о пушкинском понимании нравственной сущности человека // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1988. С. 166). Это суждение представляется нам основанным на недоразумении: слово «человек» определенно есть в черновике пушкинского послания. См. также публикацию: Немировский И. В., Рогова А. И. Послание В. Ф. Раевскому «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел...» (1822) // Временник Пушкинской комиссии. СПб., 1996. С. 100–110. Подробнее о полемике по поводу текстологии послания В. Ф. Раевскому (с приведением стенограммы XI Пушкинской конференции с выступлениями Оксмана и его оппонентов) см. в статье: Рак В. Д. О тексте пушкинского послания «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел...» // Он же. Пушкин, Достоевский и другие. СПб., 2003. С. 183–245. Здесь же — корректное прочтение пушкинского черновика.

III.

Когда потребовал поэта...

Два «воображаемых» разговора Пушкина

8 сентября 1826 года, после разговора императора Николая с Пушкиным, закончилась его ссылка. С этого момента изменился не только статус Пушкина, стала меняться его социальная роль: из поэта-бунтаря, ссыльного, друга декабристов и т. д. он стал превращаться в «друга монархии», свободного не только от полицейского надзора, но и, как опрометчиво показалось в тот момент, от цензуры. Роль эта была непривычна для автора «Кинжала», тем более, что еще незадолго до решающих сентябрьских событий, 14 августа 1826 года, оправдываясь перед Вяземским за «холодность и сухость» письма, адресованного императору, Пушкин писал: «иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь (после казни декабристов. — *И. Н.*) у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291). Но вот проходит меньше месяца, и, как свидетельствует современник, «государь принял его <Пушкина> с великодушной благосклонностью, легко напомнил о прежних проступках и давал ему наставления, как любящий отец»¹. Мнение о том, что Пушкин «осыпан милостивым вниманием» императора, расходится настолько широко², что поэт был вынужден объяснять как публике, так и самому себе, что эти «милости» не были получены в результате моральных уступок с его стороны.

Между тем определенная двойственность в поведении поэта по отношению к власти имела место на протяжении всего последнего года пребывания его в Михайловском. Так, с одной стороны, в письмах к друзьям Пушкин не раз заявляет о своей близости к декабристам: «Что делается у вас в П.<етер>Б.<урге?>? я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит» (П. А. Плет-

III. Когда потребовал поэта...

неву, вторая половина января. — XIII, 256); «Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности <...> Узнай, где он и успокой меня» (А. А. Дельвигу, двадцатые числа января 1826 г. — XIII, 256); «В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пуциным и Орловым. Я был массон в Киш<еневской> ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи. Я наконец был в связи с большею частию нынешних заговорщиков» (В. А. Жуковскому, 20-е числа января 1826 г. — XIII, 257); «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова» (П. А. Вяземскому, 10 июля 1826 г. — XIII, 286).

С другой стороны, делается попытка определенным образом дистанцироваться от заговорщиков в глазах правительства: «Я нижеподписавшийся <...> свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них» (Николаю I, 11 мая — первая половина июня 1826 г. — XIII, 284). Эта внешняя двойственность в поведении поэта на самом деле отражала достаточно последовательную тактику Пушкина по оправданию в глазах правительства. Пушкин исходил из того, что его письма перлюстрируются (он основывался на своем прежнем жизненном опыте, считая ссылку в Михайловское следствием перлюстрации письма). Так, например, Жуковский понимает, что письмо, формально адресованное ему Пушкиным, фактически написано не только для него, и в ответном письме (от 12 апреля 1826 г.) спрашивает: «Для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Есть ли оно *только ко мне*, то оно странно. Есть ли ж для того, чтобы его *показать*, то безрассудно» (XIII, 271).

При этом Пушкина беспокоило то, что официально к следствию его не привлекли; поэтому письма к друзьям, прежде всего к Жуковскому, Пушкин использует для оправдания в глазах правительства. Жуковскому (как видно из процитированного письма) это очень не нравится, и он советует (а вслед за ним и Вяземский) обратиться «прямо». Но только тогда, когда стало ясно, что Следственная комиссия не нашла ничего, что могло бы свидетельствовать о

фактической принадлежности его к движению декабристов, поэт обращается к императору непосредственно: «Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку» (Николаю I, 11 мая — первая половина июня 1826 г. — XIII, 283); одновременно — с просьбой вернуть сына — к императору обратилась мать поэта³.

Утверждение своей независимости, прокламация близости к декабристам, горькие сетования по поводу несправедливости и непропорциональной тяжести наказания («шемякин суд») и просьбы о прекращении ссылки еще не создавали у современников впечатления непоследовательности и двойственности в поведении поэта. Однако Пушкин справедливо предвидел, что подобное впечатление может возникнуть у его современников после его феерического возвращения из ссылки, поэтому буквально с первых часов своего пребывания в Москве он начал распространять несколько сюжетов о том, как *он, поэт и друг декабристов, был спасен от участия в восстании и от ссылки силами судьбы, независимо от собственной воли.*

Первый сюжет — о том, как *Пушкин собирался посетить Петербург в канун восстания декабристов и как таинственные обстоятельства помешали ему это сделать.* Непосредственно к Пушкину восходит версия М. П. Погодина: «Вот рассказ Пушкина не раз слышанный мною при посторонних лицах. Известие о кончине императора Александра I и о происходивших вследствие одного колебаниях по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 Декабря. Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решил отправиться туда, но как быть? <...> Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, <...> и от него запастись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с Тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское —

еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой»⁴. Придирчивый Вяземский в целом подтвердил версию Погодина, что означало, что и Вяземский слышал эту историю в том же виде, что и Погодин: «О предполагаемой поездке Пушкина incognito в Петербург в декабре 25-го года верно рассказано Погодиным в книге его “Простая речь” <...> Так и я слышал от Пушкина. Но, сколько помнится, двух зайцев не было, а только один. А главное, что он бухнулся бы в самый кипяток мятежа у Рылеева в ночь <с> 13-го на 14-е декабря: совершенно верно»⁵. В форме, претендующей на максимально точное воспроизведение пушкинского устного рассказа, воспоминания о несостоявшейся поездке поэта в Петербург содержатся в статье С. А. Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина»: «Вот еще рассказ <...> незабвенного моего друга, не раз слышанный мною при посторонних лицах. Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решил отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорта; у великосветских друзей тоже опасно — огласится тайный приезд ссыльного. Он положил захватить сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него записать сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское — еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь — в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим баринном. Всех этих встреч — не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. “А вот каковы бы были последствия моей поездки, — прибавлял Пушкин. — Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером,

чтоб не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые»⁶. (Этот рассказ прямо просится в «Случай» Хармса своим доведенным до абсурда правдоподобием.) Между тем важные противоречия остались; так, не объясненной осталась решимость Пушкина приехать именно к Рылееву, с которым поэт был знаком только по переписке и у которого не был вообще никогда. Но, конечно, если бы Пушкин поехал не к Рылееву, а к любому другому из своих петербургских знакомых, весь рассказ потерял бы свою новеллистическую остроту и поучительность. В качестве побудительной причины, толкнувшей Пушкина на поездку в Петербург, Погодин и Соболевский называют «известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии», которое «дошло до Михайловского около 10 декабря». Между тем, о смерти императора Александра, как это явствует из письма П. А. Катенину, Пушкин знал уже не позднее 4 декабря (XIII, 247). Тогда же он советуется с П. А. Плетневым о том, как «просить или о въезде в столицы или о чужих краях» (XIII, 248). Конечно, и речи не шло о самовольном приезде. Оба приведенных выше рассказа восходят к Пушкину непосредственно и были услышаны Погодиным и Соболевским в первые месяцы или даже дни по возвращении поэта из ссылки.

Несколько иначе звучит рассказ о несостоявшейся поездке Пушкина в Петербург, приведенный Н. И. Лорером со слов Льва Сергеевича Пушкина:

«Однажды Александр Сергеевич получает от Пуштина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает его, что едет в Петербург и очень бы желал увидаться там с Александром Сергеевичем. Не долго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу. Недалеко от Михайловского, при самом почти выезде, попался ему по дороге поп, и Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «не будет добра!» и вернулся в свой мирный уединенный уголок. Это было в 1825 году и Провидению угодно было осенить своим покровом нашего поэта. Он был спасен» (Н. И. Лорер со

III. Когда потребовал поэта...

слов Льва Пушкина)⁷. Это рассказ Лев Пушкин мог услышать не ранее 1829 года, когда братья впервые увиделись после пяти лет разлуки. Возможно даже, что Лев Сергеевич знал о несостоявшейся поездке в Петербург старшего брата не только и не столько от него самого, поскольку его версия рассказа отличается от тех, которые исходят от Пушкина непосредственно: в последних отсутствуют упоминания о письме Пушина как о побудительной причине поездки поэта в Петербург.

Лев Пушкин делает попытку объяснить странное и иначе ничем не мотивированное решение ехать в Петербург письмом Пушина. Но Пушин сам приехал из Москвы в Петербург только 8 декабря⁸, тогда как для того, чтобы письмо от него дошло до Михайловского не позднее 10 декабря (в противном случае Пушкин не успел бы приехать в Петербург до восстания), оно должно было быть отправлено из Москвы не позднее 20 ноября (письма из Москвы в Михайловское шли около двадцати дней, из Петербурга — не менее десяти), а из Петербурга не позднее 1 декабря. Скорее всего, письма от Пушина с приглашением приехать в Петербург Пушкин не получал. Ведь и поездка Пушина, да и само восстание, были событиями в значительной степени спонтанными.

В воспоминаниях Погодина, Соболевского и Лорера важнейшим и одновременно самым уязвимым является утверждение о желании Пушкина приехать в Петербург до восстания декабристов.

Существует другая версия рассказа о несостоявшейся поездке поэта из Михайловского в Петербург, точно не восходящая к Пушкину и вообще среди современников поэта не бытовавшая. Ее рассказала одна из тригорских барышень, М. И. Осипова, М. И. Семевскому в 1866 году: «Арсений рассказал, что в Петербурге бунт <...> всюду разъезды и караулы <...> Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. <...> На другой день <...> Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попало навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием. Пушкин отложил свою поездку в Петербург, а между тем

подоспело известие о начавшихся в столице арестах, что окончательно отбило в нем желание ехать туда»⁹. Итак, М. И. Осипова относит намерение поэта посетить Петербург ко времени *сразу после* восстания, что, конечно, лишает всю историю мистической поучительности. В качестве источника сведений Пушкина о волнении в Петербурге она называет не «известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии», дошедших до Михайловского около 10 декабря, а новости о «бунте», привезенные из столицы поваром Арсением.

Второй важный сюжет, который Пушкин распространял в Москве по возвращении из ссылки, касался уничтожения неких стихотворных текстов. А именно, речь идет о том, что, *когда фельдъегерь неожиданно и, как представлялось поэту, «не на добро» увозил его из Михайловского, поэт успеваает захватить (или уничтожить) некоторое резко антиправительственное сочинение, отождествляемое со стихотворением «Пророк»*. Этот сюжет вариативен, так сказать, изначально; по версии, изложенной Пушкиным Нащокину, поэт успеваает сжечь «Пророка» еще в Михайловском¹⁰, тогда как Соболевский утверждает, что «Пророк» приехал в Москву в бумажнике Пушкина¹¹. Конечно, история Соболевского, как обычно, значительно более драматична; по его словам выходило, что Пушкин не просто привез в Москву сочинение редкой дерзости, но и выронил его «к счастью — что не в кабинете императора», а потом нашел¹². Следовательно, об уничтожении «Пророка» поэт рассказывал Нащокину, а о том, что взял — Соболевскому, Погодину, Шевыреву, возможно, еще кому-нибудь из круга «Московского Вестника», где и было распространено мнение, что Пушкин привез с собой из Михайловского это стихотворение.

Эти различия на самом деле не столь важны, поскольку рассказы Нащокина и Соболевского совпадают в главном: у Пушкина были оппозиционные сочинения, которые могли навлечь на него беду, и только случайность спасла его от этой беды.

Глубинный же смысл обеих версий один и тот же: силы судьбы не просто хранят поэта, как это следует из рассказа о несостояв-

III. Когда потребовал поэта...

шейся поездке Пушкина в Петербург, они к тому же не дают разойтись его оппозиционным сочинениям и вообще ограничивают его оппозиционность.

Сюжет о привезенном из Михайловского оппозиционном сочинении имеет еще один позднейший вариант, восходящий к рассказу А. В. Веневитинова (брата поэта): «Являясь в кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем, вручить Николаю Павловичу на прощание это стихотворение. Счастливая судьба сберегла для России певца “Онегина”, и благосклонный прием государя заставил Пушкина забыть о своем прежнем намерении. Выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал, ласково указывая на него своим приближенным: “Теперь он мой”»¹³. Этот рассказ отличается от версий Нащокина и Соболевского тем, что, хотя здесь и упоминается «счастливая судьба», перемены, происшедшие с Пушкиным, объясняются исключительно «благосклонным приемом императора». В отличие от безыскусной версии М. И. Осиповой, передающей семейное предание, А. Веневитинов передает точку зрения, глубоко укоренившуюся среди современников, прежде всего среди любомудров, и состоявшую в том, что перемены в умонастроении Пушкина произошли под влиянием беседы с императором, а это было именно то мнение, с которым осенью 1826 года сам Пушкин активно боролся; пуант пушкинских рассказов был иной и состоял в том, что сам он прежний, только судьба его переменилась. Поэтому ясно, что рассказ Веневитинова к Пушкину не восходит и вообще имеет другой смысл, определенный более поздними особенностями восприятия личности поэта, чем это имело место в сентябре 1826 года.

Вместе с тем, рассказ А. В. Веневитинова обнажает связь между означенными выше сюжетами и третьим слагаемым «социальной репутации поэта» (термин В. Э. Вацуро) — *сюжетом о разговоре с императором 8 сентября 1826 года*.

Поскольку никто, кроме Николая и Пушкина, при этом не присутствовал, а к рассказу императора непосредственно восходит лишь одна версия этого сюжета (М. Корфа; записана была в

1848 году)¹⁴, все остальные — около тридцати — так или иначе инспирированы Пушкиным¹⁵. В. Э. Вацуро обратил внимание на то, что версии рассказа об этом событии «варьируются, однако не противоречат друг другу»¹⁶.

Представляется возможным привести наиболее нейтральную версию в записи случайной знакомой Пушкина, А. Г. Хомутовой. Трудно определить, имела эта запись дневниковый или мемуарный характер, скорее всего — комбинированный; важно, что она восходит к Пушкину и лишена всякой тенденциозности, для этого, в частности, слова Пушкина передаются в форме прямой речи:

«Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непроизвольно-го уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет императора, который сказал мне: “А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?” Я отвечал как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня: “Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?” — “Неизбежно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за это Небо”. — “Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас впредь не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором”»¹⁷. Бесспорно, Хомутовой Пушкин представил наиболее упрощенную, предназначенную для самого широкого круга версию рассказа о своем счастливом избавлении. В отношении собственного присутствия на Сенатской площади Пушкин дважды употребляет такие выражения как «неизбежно» и «невозможность отстать», подчеркивая тем самым действие, которое должно было совершиться помимо его воли; в отношении же того, почему это не произошло, еще более строго исключается момент личного участия, благодарность выражается «Небу». Тем самым имплицитно рассказ приобретает еще и провиденциальный характер.

Можно предположить, что сама ситуация неожиданного разговора с Николаем укрепляла Пушкина в уверенности в собственных пророческих способностях, поскольку главное в ней (вызов к императору и разговор с ним с глазу на глаз) было предсказано

III. Когда потребовал поэта...

Пушкиным в 1824 г. в тексте, условно названном «Воображаемый разговор с Александром I»: «Когда б я был царь, то позвал бы А<лександр> П<ушкина> и сказал ему: “А<лександр> С<ергеевич>, вы прекр<асно> сочиняете стихи...”» (XI, 23). Однако сюжетное сходство между двумя разговорами на этом заканчивается. Можно сказать, что пушкинские рассказы о свидании с императором Николаем строятся по контрасту с «Воображаемым разговором» с императором Александром. Разговаривая с Николаем, Пушкин как бы учел уроки «воображаемого разговора» с Александром, который кончился нехорошо: «Тут бы П<ушкин> разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму *Ермак* или *Кочум* русским <?>размером с рифмами» (XI, 24). Совсем иначе, царственно и благородно, а главное чрезвычайно благоприятно для Пушкина завершается его разговор с императором Николаем: «Надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас впредь не будет»¹⁸.

Вместе с тем важнейшей своей темой «оправдания в глазах императора в произведениях, которые ложно приписываются поэту» «Воображаемый разговор» был связан с реальным: «Ваше величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову. От дурных стихов не отказываюсь, надеюсь на добрую славу своего имени, а от хороших признаюсь, и силы нет отказываться» (там же). Так легковесно и безуспешно Пушкин пытается оправдаться перед императором Александром. Разговор с императором Николаем тоже содержал в себя момент оправдания, но Пушкин не рассказывал об этом современникам в своих устных новеллах. Мы знаем об этом из редких источников, одним из которых является письмо Вяземского А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому из Москвы в Германию 20 сентября 1826 года, описывающего свидание Пушкина с императором: «Пушкин здесь и на свободе. Вследствие ли письма его к Государю, или доноса на него, или вследствие того и другого Государь посылал за ним фельдъегеря в деревню, принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею. Отрывки из его Элегии Шенье, не пропущенные Цензурой, кем-то были подогреты и пущены по

свету под именем 14-го Декабря. Несколько молодых офицеров сделались жертвою этого подлога, сидели в заточении и разосланы по полкам <...> Государь обещался сам быть его Цензором. Вот и это хорошо! Какое противоречие! Государь, или Правительство может давать привилегии в ущерб казне, но как давать привилегии в ущерб нравственности народной? Одно из двух: или Цензура притеснительна, тогда отмени ее, или она истинный страж, не пропускающий заразы, и тогда как можно давать кому-нибудь право миновать его»¹⁹. Свидетельство Вяземского подтверждается письмом А. Я. Булгакова брату, К. Я. Булгакову, от 1 октября 1826 года: «Стихи точно Пушкина; он не только сознался, но и прибавил, что они давно напечатаны в его сочинениях»²⁰. Письма Вяземского и Булгакова свидетельствуют в пользу точки зрения П. Е. Щеголева о том, что «полная свобода», которую обрел поэт после разговора с императором, явилась следствием объяснений, данных Пушкиным в том числе и по поводу «Андрея Шенье»²¹.

Точка зрения Щеголева почему-то не прижилась и в классическую биографию Пушкина пера Ю. М. Лотмана не вошла²², хотя, например, Н. Я. Эйдельман позицию Щеголева разделял²³.

Именно не пропущенные цензурой строфы «Шенье» и фигурировали, по-видимому, в среде «любомудров» под названием «Пророк»²⁴.

Из сказанного понятно, какое большое значение поэт придавал своему пророческому дару и насколько важно было для него, в качестве его демонстрации, читать публике не пропущенные цензурой строфы «Шенье», где поэт как бы предсказал смерть своего гонителя — императора Александра и по поводу каковых Пушкин восклицал: «Я пророк, ей Богу пророк». Как уже говорилось, и написанный за два года до разговора с императором Николаем «Воображаемый разговор с императором Александром» также укреплял Пушкина в этом ощущении.

Осенью 1826 года происходят кардинальные изменения в представлениях поэта о судьбе, которая еще незадолго до переломного сентября виделась ему «огромной обезьяной, которой дана полная воля» (письмо П. А. Вяземскому не позднее 24 мая 1826 года — XIII, 278). «Игре счастья», понимаемого, как немотивиро-

III. Когда потребовал поэта...

ванное (т. е. не зависящее от воли человека) проявление слепых сил судьбы («Но злобно мной играет счастье: / Давно без крова я ношусь, / Куда подует самовластье; / Уснув, не знаю, где проснусь» («К Языкову». — II, 322), противопоставлено «счастье» («Теперь должно начаться счастье», — признается Пушкин Д. Веневитинову 11 сентября 1826 года²⁵). В этом смысловом контексте «счастье» становится синонимом слова «Провидение», а случаи (не один и не два, а целая цепь), спасшие поэта и подарившие ему свободу, понимаются Пушкиным как «мощное, мгновенное орудие Провидения» (О втором томе «Истории русского народа» Полевого — XI, 127). В этом и состоит смысл распространяемых поэтом рассказов о своем счастливом избавлении. Пушкин уверяется сам и пытается уверить в этом современников, что только воле Провидения, наделившего его пророческим даром, он обязан своим спасением «в общей буре».

1. [Попов М. М.] Александр Сергеевич Пушкин // Русская старина. 1874. Август. С. 691.

2. Письмо А. А. Дельвига П. А. Осиповой из Петербурга от 15 сентября 1826 года (Дельвиг А. А. Сочинения. Л., 1986. С. 319).

3. См. об этом: Модзалевский Б. Л. К истории ссылки Пушкина в Михайловское // Он же. Пушкин и его современники. М., 1999. С. 149.

4. Погодин М. П. Простая речь о мудреных вещах. М., 1875. Отд. 2. С. 24.

5. Вяземский П. А. Письмо к Я. К. Гроту. См.: Грот К. Я. Пушкинский Лицей. СПб., 1998. С. 139.

6. Соболевский С. А. Из статьи «Таинственные приметы в жизни Пушкина» // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 10–11.

7. Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 204.

8. См.: Мироненко М. П., Мироненко С. В. Декабрист Иван Пушин // Пушин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 17.

9. М. И. Осипова. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семевским // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 431.

10. <Рассказ П. В. Нащокина, записанный П. И. Бартевым>. См.: Бартев П. И. О Пушкине. М., 1992. С. 350.

11. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851–1860 гг. М., 1925. С. 34.

12. *Соболевский С. А.* Квартира Пушкина в Москве // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 12.

13. Цит. по: *Пятковский А. П.* Пушкин в Кремлевском дворце // Русская старина. 1880. Т. 27. С. 674.

14. *Майков Л.* Пушкин в изображении М. А. Корфа // Русская старина. 1899. Август. С. 310.

15. См. об этом: *Эйдельман Н. Я.* Сентябрь 1826-го // Эйдельман Н. Я. Пушкин. Из биографии и творчества. М., 1987. С. 23.

16. *Вацуро В. Э.* Пушкин в сознании современников // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 11.

17. Цит. по: *Эйдельман Н. Я.* Сентябрь 1826-го. С. 29.

18. Там же.

19. Переписка Александра Ивановича Тургенева с Петром Андреевичем Вяземским. Пг., 1921. С. 42–43.

20. Письма из Москвы А. Я. Булгакова к его брату в Петербург. 1824–1827 гг. // Русский архив. 1901. Кн. 2. С. 403.

21. *Щеголев П. Е.* Император Николай I и Пушкин в 1826 году // Он же. Первенцы русской свободы. М., 1987. С. 332–333.

22. *Лотман Ю. М.* Пушкин: Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. Биография писателя. СПб., 1995. С. 113.

23. См.: *Эйдельман Н. Я.* Указ. соч. С. 29. Другой точки зрения придерживается В. М. Есипов (См.: *Есипов В. М.* «К убийце гнусному явись...» // Московский пушкинист. V. М., 1998. С. 128–129).

24. См. об этом ниже в гл. «О «Пророке» и Пророке».

25. См.: *Погодин М. П.* Из «Дневника» // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 18.

О «Пророке» и Пророке

Проблемы атрибуции

В предыдущей главе мы рассмотрели известный сюжет о некоем оппозиционном сочинении поэта, привезенном им с собой из Михайловского в Москву 8 сентября 1826 г., в связи с темой «судьбы» и «чудесного спасения». Проанализируем этот сюжет в несколько ином контексте, подробнее цитируя уже упомянутые в предыдущей главе свидетельства; попробуем понять, о каком именно сочинении могла идти речь. Московский знакомый Пушкина, С. П. Шевырев, вспоминал об этом так: «Во время коронации, государь послал за ним <Пушкиным> нарочного курьера (об этом всем сам Пушкин рассказывал) везти его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе, и теперь, воображая, что его везут не на добро, дорогою обдумывал далее это сочинение; а между тем известно, какой прием сделал ему великодушный император. Тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал об нем»¹.

Близкий друг Пушкина, П. В. Нащокин, повторяя рассказ Шевырева в основных деталях, называет это, по мнению Шевырева, уничтоженное произведение. Им оказывается стихотворение, которое Нащокин (вернее, с его слов — Бартенев) называет «Пророком»: «Встревоженный <...> и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он <Пушкин> тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки <...> и некоторые стихотворные пьесы, между прочим, стихотворение “Пророк”, где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря»².

Историю с несостоявшимся представлением стихотворения царю повторяет С. А. Соболевский: «выронил (к счастью — что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!!»³ Рукою

М. П. Погодина в автограф воспоминаний Соболевского внесено исправление: вместо «стихотворения о повешенных» написано «стихотворение на 14 декабря»⁴. Соболевский, таким образом, внес в воспоминания Нащокина важнейшее дополнение, состоявшее том, что, «Пророк» не был уничтожен, а «приехал в Москву в бу-мажнике Пушкина»⁵.

Как видим, история о стихотворении «в возмутительном духе написанном», изобилует противоречиями. Возможно, по этой причине П. А. Вяземский полагал, что «Соболевский немножко драматизировал анекдот о Пушкине. Во-первых, невероятно, чтобы он имел эти стихи в кармане своем, а во-вторых, я видел Пушкина вскоре после представления его Государю и он ничего не сказал мне о своем испуге. Нечто подобное случилось с Дмитриевым. Он мне рассказывал, что когда он был взят под арест при императоре Павле, у него была в кармане книга Махиавеля о тирании. Тут было чему испугаться, но, по счастью, Архаров до книги не добрался. Кажется, этой подробности в записках его нет»⁶. То, что Вяземский усмотрел в этом аналогию, почти анекдотическую, с другой ситуацией, конечно, свидетельствует в пользу ее вымышленности, но очевидно, что в рассказах Нащокина и Шевырева нет сознательной установки на шутку или розыгрыш. Поэтому нет никаких оснований сомневаться в том, что Нащокин услышал эту историю от самого Пушкина, который ему, Шевыреву и Соболевскому рассказывал ее, а вот Вяземскому почему-то не стал.

В рассказах Шевырева, Нащокина и Соболевского, таким образом, вызывает вопрос не то, существовало или нет некое стихотворение оппозиционного характера, в этом они едины, а в том, не было ли это стихотворение пушкинским «Пророком». Так называет его только далекий от литературы Нащокин, Шевырев оставляет его вовсе без названия, а Соболевский обозначает лишь его тему — «о повешенных», исправленную Погодиным на «14 декабря». Кроме того, сам Шевырев публиковался в том же номере «Московского Вестника», где в 1828 г. был напечатан пушкинский «Пророк». Важно отметить, что «Пророком» пушкинское стихотворение, прочитанное в Москве в кругу литераторов «Московского вестника» по возвращении поэта из Михайловского в сентябре 1826 г., назвал не

III. Когда потребовал поэта...

сам Пушкин, а Погодин в своих позднейших признаниях Бартеневу («Пушкин прочел “Пророка” (который после “Бориса” произвел наибольшее действие»⁷)).

Между тем, в пушкинском списке 1827 г. стихотворение значится под названием «Великой скорбию томим»⁸. М. А. Цявловский, комментировавший «Пророка» в Большом академическом собрании, специально указывает на то, что само заглавие — «Пророк» — было дано Пушкиным тексту, напечатанному в «Московском вестнике», только в апреле — августе 1827 г. (III, 1130).

Необходимо понять, как тогда загадочное стихотворение, привезенное Пушкиным из Михайловского, соотносится с тем, которое под названием «Пророк» и без указания года Пушкин опубликовал в «Московском Вестнике».

Сразу отметим, что в контексте «Московского вестника», и шире — в контексте пушкинского творчества 1827–1828 гг., «Пророк» (в дальнейшем изложении мы будем без специальной оговорки называть «Пророком» стихотворение, опубликованное в «Московском вестнике») совершенно не выглядел как произведение оппозиционного характера и не содержал в себе никаких указаний на декабрьское восстание. Незадолго до «Пророка» «Московский вестник» опубликовал «Стансы» и в течение 1827 г. в обществе с разрешения императора в списках распространялось послание «Друзьям». Оба стихотворения трудно причислить к числу «возмутительных», а ведь именно в их контексте воспринимался «Пророк». Вспомним также, что Нащокин от самого Пушкина слышал о том, что в привезенном поэтом стихотворении «предсказывались совершившиеся события 14 декабря», чего категорически невозможно усмотреть в тексте известного нам, «канонического», так сказать, «Пророка». Заметим также, что свидетельство Нащокина недвусмысленно указывает на то, что это, привезенное Пушкиным произведение, было написано до 14 декабря, иначе указание на пророческий («профетический») его характер теряло бы смысл.

Имеется также позднейшее свидетельство А. С. Хомякова (в письме И. С. Аксакову), которое совершенно невозможно отнести к стихотворению, опубликованному под названием «Пророк» в «Московском вестнике»: «“Пророк”, бесспорно, великолепней-

шее произведение русской поэзии, получил свое значение, как вы знаете, по милости цензуры (смешно, а правда)⁹. Дело в том, что никаких цензурных трудностей с публикацией «Пророка» не было, поэтому весьма сложно отнести приведенное свидетельство именно к нему.

Таким образом, отождествление произведения, о котором говорят мемуаристы, со стихотворением, опубликованным Пушкиным в «Московском вестнике» под названием «Пророк», не представляется очевидным, несмотря на то, что все приведенные выше свидетельства в исследовательской практике традиционно относятся именно к нему. Отметим при этом, что Шевырев, Погодин, Аксаков, Хомяков и Соболевский, т. е. почти все упомянутые мемуаристы, принадлежали к тому кругу московских друзей и знакомых Пушкина, где в сентябре — октябре 1826 г. действительно происходили публичные чтения его произведений, и все они слышали «Пророка» гораздо прежде его появления в печати¹⁰.

Определенные подозрения относительно того, что в сентябре — октябре 1826 г. Пушкин читал какое-то одно стихотворение, а опубликовал в «Московском вестнике» какое-то другое, связанное с первым общей темой «пророка», «пророчества» и/или сходным названием, получают свое подтверждение в переписке Погодина с П. А. Вяземским, относящейся к 1837 г., когда Вяземский занимался после смерти Пушкина разбором его рукописей. В это время Погодин интересуется, не сохранился ли среди прочих произведений автограф «Пророка», а получив отрицательный ответ, сам сообщает Вяземскому: «Пророк он написал, ехавши в Москву в 1826 году. Должны быть четыре стихотв<орения>, первое только напечатано (Духовной жаждою томим etc.)»¹¹.

Свидетельство Погодина обладает особой ценностью, потому что, во-первых, он сам слышал осенью 1826 г. какое-то стихотворение, впоследствии определенное им как «Пророк», во-вторых, будучи издателем «Московского вестника», получил от Пушкина (через Соболевского) в конце 1827 г. текст стихотворения, которое было названо «Пророком» самим поэтом. Если это было одно и то же стихотворение, то остается непонятным, почему Пушкин не передал его издателю «Московского вестника» уже после пер-

вого прочтения, несмотря на большой интерес, как было сказано, к этому произведению со стороны Погодина. Примечателен тот факт, что, получив стихотворение, которое вскоре опубликует, Погодин не называет его «Пророком»: «Восхищался стихами Пушкина из Исаии» (запись от 12 ноября 1827 г.)¹².

Утверждение Погодина (1837 г.) о существовании четырех стихотворений, одноименных с «Пророком» или составляющих вместе некоторый цикл под этим заглавием, дополняется его же свидетельством, записанным Бартевым в 1851 г. Тогда Погодин рассказал о том, что «Пророк» имел не вошедшую в публикацию строфу:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием вкруг шеи,
К У.<бийце> Г.<нусному> явись.

(Конъектуры в последней строке принадлежат М. А. Цявловскому¹³.)

При том, что это утверждение было подтверждено впоследствии Соболевским, Хомяковым и А. Веневитиновым (братом поэта), остается совершенно непонятным, когда именно этот весьма определенный круг лиц мог познакомиться с таинственной и «возмутительной» строфой? Произошло ли это при их слушании «Пророка» в сентябре—октябре 1826 г., (если, конечно, Пушкин читал тогда именно это стихотворение), при получении его Погодиным от Соболевского в конце 1827 г. для публикации в «Московском вестнике» или же когда-либо еще?

Биографическая и историческая ситуация 1826–1827 гг. исключают возможность публичного прочтения или распространения записанной Бартевым строфы. Совершенно невозможно также предполагать, что Пушкин прислал текст «Пророка» с этой строфой для публикации в «Московском вестнике» (хотя бы потому, что в последнем случае у Погодина был бы ее исправный текст). Еще менее вероятным представляется распространение этой строфы в кругу любомудров и «Московского вестника» после публикации «Пророка», т. е. после 1828 г., когда личные и деловые связи Пушкина с этими людьми или пресекались или весьма осложнились.

Отметим также, что дефектный характер списков¹⁴, а также имеющиеся разночтения между вариантами последней строки практически исключают возможность существования пушкинского оригинала, лежащего ее в основе. Мнение Н. Ф. Сумцова о том, что текст строфы представляет из себя не обработанный Пушкиным черновик¹⁵, ничего не проясняет, поскольку известно, что Пушкин никогда не распространял черновые свои отрывки.

Оставив пока вопрос о пушкинском авторстве этой строфы в стороне, подчеркнем, однако, что он — один из самых конъюнктурных в уже более чем столетней истории изучения «Пророка»; были и есть как горячие сторонники авторства, так и столь же непримиримые противники. Защищали авторство Пушкина Н. О. Лернер¹⁶, М. А. Цявловский¹⁷. Сомневались — П. О. Морозов¹⁸, Б. В. Томашевский¹⁹, Ю. Г. Оксман²⁰ и В. Э. Вацуро²¹. В последние годы точка зрения о пушкинском авторстве стала явно преобладать, представленная в двух работах о «Пророке», каждая из которых претендует на обобщение его исследовательской истории: мы имеем в виду статьи С. В. Березкиной²² и С. А. Фомичева²³. Последний предлагает ввести четверостишие в новую, реконструированную им, редакцию «Пророка»²⁴.

* * *

И нам в дальнейшем нельзя будет обойти вопрос о пушкинском авторстве четверостишия, пока же зададимся целью понять, как соотносится читанное или просто привезенное из Михайловского в сентябре 1826 г. в качестве оппозиционного стихотворение с произведением, опубликованным Пушкиным в феврале 1828 г. под названием «Пророк»?

Из приведенных выше слов Погодина очевидно, что речь не шла о разных редакциях стихотворения, что имело бы место в случае, если бы он сначала познакомился с включающей в себя гипотетическое четверостишие версией, а потом для публикации в «Московском вестнике» получил бы усеченную. Напротив, Погодин настаивал на существовании четырех различных стихотворений, связанных, по всей вероятности, темой «пророка» или «пророчества».

III. Когда потребовал поэта...

В списке стихотворений, составленных Пушкиным ориентировочно в середине 1828 г. (когда «канонический» «Пророк» был уже опубликован в «Московском вестнике»), значится стихотворение под названием «Пророчество»²⁵. Список, в котором помещено стихотворение, не был списком произведений, предназначенных исключительно для грядущего в 1829 г. издания стихотворений поэта. Как установил комментатор списка в первом издании «Рукою Пушкина», М. А. Цявловский, из 53 означенных в списке стихотворений, ни в одну из двух частей издания 1829 г. не вошло одиннадцать стихотворений²⁶. Поскольку произведение Пушкина с названием «Пророчество» неизвестно, то современный исследователь (С. А. Фомичев) категорически отнес его к «Пророку». (Заметим, притом, что текст «Пророка» не содержит в себе никаких пророчеств, а само стихотворение фигурирует в другом авторском списке 1828 г. под названием «Великой скорбию томим».)

Нам хотелось бы высказать гипотезу о том, что названию «Пророчество» в пушкинском списке соответствуют выпущенные цензурой строки из «Андрея Шенье», а именно от ст. 21 («Приветствую тебя, мое светило!») до ст. 64 («Так буря мрачная минет»). Пушкин распространял их как отдельное произведение с начала 1826 г. Об этом свидетельствуют два списка выпущенных цензурой строф; один принадлежал А. Н. Вульф, другой А. Ф. Леопольдову. Последний список имел заголовок «На 14-е декабря», написанный Леопольдовым.

Нам представляется, что именно не пропущенные цензурой строки из «Андрея Шенье», оформленные отдельным списком как самостоятельное произведение, Пушкин привез из Михайловского в сентябре 1826 г., именно его имел в виду в рассказах о представлении императору и, весьма вероятно, именно его читал будущим сотрудникам «Московского вестника».

Возникает вопрос: почему все-таки Пушкин рискнул публично читать строки «Андрея Шенье» после того, как «дело» об их распространении уже началось. Иными словами, понимал ли Пушкин, читая эти крамольные стихи публично, что он подводит или даже ставит под удар тех, кто его слушает? Можно определенно ответить, что Пушкин этого не понимал. Ему казалось, что объяс-

нений, которые он дал императору, достаточно для того, чтобы вывести «Андрея Шенье» из-под подозрений. В том, что поэт и император совершенно по-разному поняли смысл договоренности, и является источником фатальных разногласий между Пушкиным и властью, обнаружившими себя на рубеже 1826 и 1827 гг.

Предположение о том, что Погодин и Нащокин «за давностью лет» перепутали «Пророка» и «Андрея Шенье», первым, насколько нам известно, высказал В. М. Есипов²⁷. Напомним, что «предсказывающим события 14 декабря» назвал гипотетическое стихотворение Нащокин, «на 14 декабря» — Погодин, исправив определение Соболевского «о повешенных», о которых в «Андрее Шенье» ничего не говорится.

Замечательную характеристику выпущенным строфам дал Н. Я. Эйдельман: «Мы сможем говорить об особом стихотворении великого поэта, авторски “вырванном из контекста” уже готовой элегии, но лишенном конкретных черт своего происхождения: имя Шенье не названо, французская революция, конечно, угадывается по смыслу — но отсутствие реальных названий, событий делает описание максимально обобщенным и применительным к различным историческим ситуациям <...> Ассоциативность этого отрывка, неожиданная, не существовавшая ранее связь с нахлынувшими политическими событиями, конечно, не укрылась от Пушкина, и, может быть, явилась стимулом к “автономии” текста <...> сорок четыре строки, вероятно, были выделены Пушкиным как отдельное стихотворение в первые месяцы 1826 года <...> <и> предназначались для чтения в самом узком, *своем*, кругу»²⁸. И действительно, стихотворение содержало строки, которые в сентябре 1826 г. приобретали характер исторического пророчества в силу туго сплетенного пучка ассоциаций, который они вызывали в тот исторический момент:

Но ты священная свобода, <...>
Но ты придешь опять со мщением и славой, —
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им»

(II, 398–399).

III. Когда потребовал поэта...

Для тех читателей, которые знали, что стихотворение было написано до 14 декабря 1825 (а тем, кто не знал, как Нащокин, сам Пушкин объяснял при чтении) пророческими могли представляться строки «Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу, / Я слышал братский их обет, / Великодушную присягу / И самовластия бес-трепетный ответ» (II, 398). Вспомним свидетельство Нащокина, ссылавшегося на самого Пушкина, о том, что в якобы уничтоженном стихотворении поэт «напророчил события 14 декабря».

И уж совсем вызывающе после казни декабристов звучали строки: «О горе! о безумный сон! / Где вольность и закон? Над нами / Единый властвует топор. / Мы свергнули царей. Убийцу с палачами / Избрали мы в цари» (Там же).

Пушкин сам испытал некоторый мистический восторг, когда сбылось первое, как он считал, пророчество, сделанное им в «Андрее Шенье». Так, узнав о неожиданной смерти императора Александра, как представлялось поэту, им предсказанной в «Андрее Шенье», он писал Плетневу 4–6 декабря 1825 г.: «Душа! я пророк, ей Богу пророк! Я Андрея Ш.<ень> велю напечатать церковными буквами во имя от.<ца> и сы<на> etc.» (XIII, 249). Характерно, что в письме Плетневу уже фигурирует ключевое слово «пророк», и вполне возможно, что эта автохарактеристика впоследствии трансформировалась в заглавие для соответствующих «пророческих» строф.

Пророческий характер стихотворения «Андрей Шенье» определялся не только случайным совпадением описанных Пушкиным обстоятельств казни французского поэта с событиями русской истории. Как раз к реальной истории казни, которую Пушкин знал из биографического очерка А. Де Латуша, пророчество Шенье не имело никакого отношения. Как показал В. Э. Вацуро, Пушкин ориентировался на традицию провиденциальной французской литературы, в частности, на трагедию Франсуа-Жюста-Мари Ренуара (1761–1836) «Тамплиеры» (1805). Сюжетную основу трагедии составляет легенда о великом магистре ордена тамплиеров, Жаке Моле, сожженном на костре в 1314 г. и перед гибелью предсказавшем смерть своим палачам, папе Клименту V и королю Филиппу²⁹.

Таким образом, широкий круг исторических ассоциаций, могущих восприниматься как предсказания и пророчества, был определен некоторой составляющей прагматики текста «Андрея Шенье». Это же обстоятельство делало, по мысли Пушкина, возможным распространение стихотворения, поскольку оно на самом деле было написано до восстания декабристов. До декабря 1826 г., когда поэт был привлечен к следствию по делу о распространении «Андрея Шенье», у Пушкина существовало ложное впечатление о политической неуязвимости как автора, так и его возможных слушателей. А в том, что он распространял не пропущенные цензурой строки, имеются его собственные показания³⁰.

Можно, между прочим, дать объяснение тому, что Пушкин рассказывал историю о «возмутительном» и одновременно «предсказательном» стихотворении многим, но не Вяземскому; дело в том, что Вяземский был единственным из москвичей, кто еще в 1825 г. получил полный текст «Андрея Шенье» (ср. письмо П. А. Вяземскому от 13 июля 1825 г. — XIII, 188).

Как известно, следствие по делу об «Андрее Шенье» не смогло выявить всех причастных к его распространению лиц, кроме А. И. Алексеева, А. Ф. Леопольдова и Л. А. Молчанова. Мужественная скромность Алексеева и самого Пушкина, к счастью, навсегда оставили предположение о распространении выпущенных строк «Андрея Шенье» среди московских любомудров в области гипотез. Однако рассказ Шевырева, Соболевского и Погодина о пушкинском стихотворении в «возмутительном духе», так и не представленном императору, удивительным образом совпадает с историей другого осведомленного мемуариста, Ф. Ф. Вигеля, дяди А. И. Алексеева. Последний за распространение «Андрея Шенье» был приговорен к смертной казни; приговор был впоследствии значительно смягчен. Рассказывая о представлении Пушкина императору (примерно с такой же степенью исторической достоверности, как Соболевский, Погодин, Шевырев и Нащокин), Вигель, вместо означенного другими мемуаристами стихотворения «Пророк» называет «Андрея Шенье», а именно «небольшую только часть его стихотворения», которую «цензура не пропустила»³¹. Неопубликованные строки из «Андрея Шенье» никогда

III. Когда потребовал поэта...

не появлялись в печати при жизни поэта, а были впервые опубликованы в России в относительной полноте только в 1870 г., т. е. после смерти всех тех, кто мог его слышать в сентябре — октябре 1826 г. Таким образом, никто из них, исключая Погодина (ум. в 1875 г.), не имел возможности их идентифицировать. Кроме того, период распространения «Андрея Шенье» — с сентября 1826 г., когда Пушкин приехал в Москву, до января 1827 г., когда поэт был привлечен к следствию об «Андрее Шенье» — оказался очень коротким; что, возможно, и создало у мемуаристов впечатление, что Пушкин его уничтожил.

Гипотеза о том, что читаемое Пушкиным в сентябре — октябре 1826 г. под названием «Пророк» (или под сходным названием, возможно, «Пророчество») было совсем не тем стихотворением, которое под заглавием «Пророк» появилось в «Московском вестнике», позволяет по-новому взглянуть на вопрос о пушкинском авторстве последней строфы стихотворения. Если с текстом «канонического» «Пророка» Шевырев, Хомяков, Погодин, Соболевский, А. Веневитинов познакомились только из публикации в «Московском вестнике» (или незадолго до этого срока, когда Соболевский привез стихотворение в Москву), то и с текстом «спорной» строфы они могли познакомиться только тогда или позже. При этом совершенно невероятно, чтобы они получили ее от самого Пушкина (по причинам, изложенным выше). Идеино и тематически «Пророк» занимает место между «Стансами» (1826) и посланием «Друзьям» (1828); последнее произведение, безусловно, продолжает тему «пророческого служения», начатую в «Пророке»:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу» (III, 90).

Манифестируемая (как вскоре выяснилось, ошибочно) Пушкиным «близость к престолу... небом избранного певца» и стала тем обстоятельством, которое весьма осложнило взаимоотношения поэта не только с кругом московских любомудров, но и со значительно менее оппозиционно настроенными друзьями,

А. И. Тургеневым, П. А. Катениным, П. А. Вяземским, Н. М. Языковым³². Однако любомудры переживали отступничество, как им представлялось, своего кумира Пушкина сильнее всего. Именно из этого круга раздавалась весьма резкая критика поведения поэта. По словам С. П. Шевырева, «Москва неблагородно поступила с ним: после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной, что он оставил Москву»³³. Точку зрения любомудров на Пушкина эпохи «Стансов» и послания «Друзьям» сформулировал Мицкевич (напомним немаловажное обстоятельство: перевод «Биографического и литературного известия о Пушкине» был сделан Вяземским, не менее хорошо осведомленным о настроениях в этом кругу): «Либералы, однако же, смотрели с неудовольствием на сближение двух potentатов <Николая I и Пушкина>. Начали обвинять Пушкина в измене делу патриотическому; а как лета и опытность возродили в Пушкине обязанность быть воздержнее в речах своих и осторожнее в действиях, то начали приписывать перемену эту расчетам честолюбия»³⁴.

Возможно, что в кругу московских любомудров уже после публикации «Пророка» в «Московском вестнике» и родилось четверостишие, которое является не чем иным, как призывом к «не оправдавшему» возлагавшихся на него надежд Пушкину:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди и с вервием на выи
К У<бийце> Г<нусному> явись.

Отводя пушкинское авторство четверостишия, мы не настаиваем на какой-то определенной гипотезе авторства. Впрочем, уже довольно давно в пушкиноведении существует точка зрения Морозова о том, что автором мог быть Соболевский³⁵. Соглашаясь с издателем первого «академического» Пушкина, признаемся в том, что вопрос о подлинном авторстве четверостишия не представляется нам особенно важным по сравнению со значимостью утверждения, что сам Пушкин не мог быть его автором.

III. Когда потребовал поэта...

1. *Шевырев С. П.* Рассказы о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 45.

2. *Нащокины П. В. и В. А.* Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартевым // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 226.

3. *Соболевский С. А.* Квартира Пушкина в Москве // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 12.

4. Замечено В. Э. Вацуро (Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 451).

5. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851–1860 гг. М., 1925. С. 34.

6. *Бартев П. И.* О Пушкине. М., 1992. С. 408. Упомянутая книга *Макиавелли*, очевидно, какое-то из сочинений Никколо Маккиавелли, возможно, «Государь».

7. Там же. С. 396.

8. Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовка текста и комм. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 177. (Далее: Рукою Пушкина, с указанием страницы).

9. Хомяков А. С. — И. С. Аксакову // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 1904. С. 366.

10. Вот кого Погодин называет Бартеву: «Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновых, два брата Хомяковых, два брата Киреевских, Шевырев, Титов, Мальцов, Рожалин, Раич, Рихтер, Оболенской, Соболевской» (*Бартев П. И.* О Пушкине. М., 1992. С. 396). Ср. в «Дневнике» Погодина (Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 20–21).

11. Цит. по: *Цявловский М. А.* Погодин о «посмертных» произведениях Пушкина // Он же. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 404–405.

12. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 23.

13. *Шевырев С. П.* Рассказы о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 31.

14. Кроме списка, записанного Бартевым со слов Погодина и с исправлениями Соболевского, известен и другой, опубликованный А. П. Пятковским со слов А. Веневитинова:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вокруг смиренной выи
К царю явись!

(*Пятковский А. П.* Пушкин в Кремлевском дворце в 1826 г. // Русская старина. 1880. Т. 27. С. 674). Существенные разночтения между списками практически исключают существование пушкинского инварианта.

15. *Сумцов Н. Ф.* Исследования о поэзии Пушкина // Харьковский университетский сборник в память Пушкина. Харьков, 1900. С. 28, 192–193.

16. *Лернер Н. О.* «Пророк России» // Он же. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 94–107.

17. Цявловский М. А. Погодин о «посмертных» произведениях Пушкина. С. 406.
18. Морозов П. О. Комментарий к стихотворению «Пророк» // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. СПб., 1916. Т. 4. С. 304–310.
19. В комментариях к «Пророку» в одном из последних подготовленных крупнейшим пушкинистом при своей жизни собранием стихотворений Пушкина в «Библиотеке поэта» (Большая серия) Б. В. Томашевский привел сомнительную строфу только в комментарии, сопроводив ее публикацию следующими словами: «Сообщенный текст вызывает сомнения, а последняя строка расшифровывается по догадке» (Пушкин А. С. Стихотворения. Л., 1955. Библиотека поэта (Большая серия). Т. 3. С. 815).
20. Ю. Г. Оксман, возмущаясь включением этих строчек в собрания пушкинских стихотворений, писал (в письме к К. П. Богаевской от 19 мая 1949 г.): «Это ведь в лучшем случае какой-нибудь пиит из семинаристов 30-х годов» (Богаевская К. П. Возвращение. О Юлиане Григорьевиче Оксмане // Литературное обозрение. 1990. № 4. С. 105).
21. «Есть сведения, что <...> стихотворение имело другой вид, но ранней его редакции мы не знаем. Автограф «Пророка» не сохранился, и нам известен только тот его текст, который сам Пушкин напечатал в 1828 году» (Вацуро В. Э. «Пророк» // Он же. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 9).
22. Березкина С. В. «Пророк» Пушкина: современные проблемы изучения // Русская литература. 1999. № 2. С. 27–42.
23. Фомичев С. А. Служенье муз: О лирике Пушкина. СПб., 2001. С. 111–119.
24. Там же. С. 117.
25. Рукою Пушкина. С. 242.
26. Рукою Пушкина. С. 243.
27. Еситов В. М. «К убийце гнусному явись...» // Московский пушкинист. V. М., 1998. С. 122.
28. Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 331–332.
29. Вацуро В. Э. Пророчество Андрея Шенье // Он же. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 87–91.
30. «Стихотворение мое Андрей Шенье было всем известно вполне гораздо прежде его напечатания, потому что я не думал делать из него тайну» (24 ноября 1827 г. С.-Петербург — Рукою Пушкина. С. 619).
31. Вигель Ф. Ф. Записки // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 221–222.
32. Подробнее об этом см. ниже в этом разделе, в главе «Декабрист или сервилит? (Биографический контекст стихотворения “Арион”)».
33. Цит. по: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899. С. 330.
34. Вяземский П. А. Мицкевич о Пушкине: Биографическое и литературное известие о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 125.
35. Морозов П. О. Комментарий... С. 310.

Опрометчивый оптимизм

Историко-биографический фон стихотворения «Стансы»

Единственный сохранившийся автограф «Стансов» записан на неровно оборванной сверху части листа. На линии обрыва можно различить буквы, по краям — зачеркнутый текст письма к неизвестной. При этом сами строфы почти не содержат исправлений, что указывает на беловой характер записи, под которой имеется дата «22. Декабря. 1826. году. Москва у Зуб.<кова>»¹.

От полного текста стихотворения, опубликованного в «Московском вестнике» в январе 1828 года, автограф отличается отсутствием строф «В надежде славы и добра...», «Но правдой он привлек сердца...» и первой строки в строфе «Семейным сходством будь же горд». Кроме того, порядок строф в автографе иной, чем в публикации: текст начинается со второй строки («Во всем будь пращуру подобен») строфы «Семейным сходством будь же горд». Однако эти отличия не обязательно свидетельствуют в пользу того, что сохранившийся автограф соответствует какой-то особой редакции стихотворения и что отсутствующие здесь строфы были написаны позднее. Дело в том, что строфы автографа полностью совпадают с опубликованными. Это говорит за то, что Пушкин в период между написанием автографа и публикацией не возвращался к работе над стихотворением. Отсутствующие строфы и строка, скорее всего, находились на несохранившейся части листа. Можно без оговорок согласиться с публикатором автографа, Н. В. Измайловым, в том, что перед нами «обрывок» стихотворения (III, 1134).

Важным соображением, подтверждающим, что стихотворение было закончено именно в декабре 1826 года, является и то, что, таким образом, оно оказывается приурочено к годовщине восстания; на декабрь же приходится и день Николая Мирликийского, т. е. тезоименитство императора Николая, к которому «Стансы» обращены.

Итак, единственное содержательное отличие текста автографа от публикации заключается в том, что в «Московском Вестнике» строфа «Семейным сходством будь же горд...» становится завершающей, и строка «И памятью, как он, незлобен» оказывается последней и содержит, таким образом, смысловую рему стихотворения.

Чем вызвано это изменение и почему «Стансы», завершенные в конце декабря 1826 года, были опубликованы только более года спустя?

1

Вторая половина пребывания Пушкина в Москве, после повторного возвращения поэта из Михайловского в декабре 1826 года, была омрачена значительными неприятностями: в январе 1827 года Пушкина привлекли к следствию по «делу» о распространении не пропущенных цензурой строк «Андрея Шенье»; до этого следствие шло без непосредственного вовлечения в него поэта. Последнее обстоятельство не было случайностью и вовсе не означало, что до января 1827 года («дело» началось в августе 1826 года) у следователей до Пушкина просто не доходили руки. Как показано в главе «Два “воображаемых” разговора Пушкина», разговор о хождении в обществе не пропущенных цензурой строк «Андрея Шенье» имел место при встрече поэта и императора 8 сентября 1826 г. Об этом имеются свидетельства Вяземского² и А. Я. Булгакова³. На эти свидетельства опирался и П. Е. Щеголев, придерживавшийся той же точки зрения⁴. Действительно, ведь список стихотворения, попавший в руки правительства, имел заглавие «На 14 Декабря», и если бы поэт не объяснил, что стихотворение было написано до восстания, благополучный исход беседы был бы под вопросом. Что же изменилось всего за четыре месяца, между сентябрем 1826 года и январем 1827 года, когда Пушкина все-таки «привлекли» к «делу» об «Андрее Шенье»? Неужели данных им императору в сентябре 1826 г. объяснений оказалось недостаточно?

Непосредственная тому причина, как нам кажется, заключается в неосторожном поведении самого поэта. Именно в сентябре —

III. Когда потребовал поэта...

октябре 1826 года он, по-видимому, читает не пропущенные цензурой строфы «Андрея Шенье» (те самые, по поводу которых пришлось объясняться); возможно, под заглавием «Пророчество» или, по крайней мере, как доказательство пророческого дара, которым поэт, как ему казалось, обладал⁵.

Неосмотрительное поведение Пушкина явилось следствием неправильного понимания поэтом статуса, который он обрел после разговора с царем. Только так можно объяснить то, что Пушкин оставил без внимания письменное обращение к нему А. Х. Бенкендорфа о том, что «в случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до напечатания или распространения оных в рукописях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных, или через посредство мое, или даже и прямо, его императорскому величеству» (XIII, 307). О том же, что обращение шефа жандармов к поэту имело место не позднее середины сентября 1826 года, т. е. до того, как двор после коронации покинул Москву, мы узнаем из повторного письма Бенкендорфа Пушкину от 22 ноября 1826 года. Между тем не приходится сомневаться в том, что Пушкин получил и первый «отзыв» шефа жандармов; как язвительно замечает Бенкендорф, «я должен <...> заключить, что оный к вам дошел; ибо вы сообщали о содержании оного некоторым особам» (XIII, 307).

Бенкендорф в своем не раз цитировавшемся нами письме действительно ставит в упрек Пушкину только публичное чтение «Бориса Годунова» и ничего не говорит о запрещении других произведений, которые Пушкин также читал публично. Это можно объяснить тем, что сведения о чтении Пушкиным других произведений еще не дошли до Бенкендорфа, однако косвенным свидетельством того, что правительству стало известно о публичном чтении Пушкиным «Андрея Шенье», является то обстоятельство, что поэта привлекли к делу об «Андрее Шенье» уже в начале января 1827 г., притом, что после известного объяснения Пушкина с Николаем во время царской аудиенции этого не произошло.

Итак, Пушкин, получив в сентябре 1826 года от Бенкендорфа письменный запрет читать свои произведения, не прошедшие цензуру; сообщает о его содержании «некоторым особам» и активно продолжает публичные чтения своих произведений, не прошед-

ших цензуру. Более того — он обнаруживает строфы из стихотворения, по поводу которого ему уже пришлось объясняться с императором, — из «Андрея Шенье». Если к этому прибавить, что поэт не стал встречаться с шефом жандармов, то можно не сомневаться, что такое поведение производило на современников впечатление бешеной фронды.

«Стансы» были закончены после того, когда поэту «вымыли голову» за публичные чтения (ноябрь 1826 года), но еще до того, как привлекли к следствию об «Андрее Шенье» (начало января 1827 года) — в конце декабря 1826 года. Начавшееся следствие сделало прямое обращение к императору с панегирическим произведением неудобным. Снова предстояло оправдываться.

Ухудшение отношений с правительством сопровождалось одновременным ухудшением взаимоотношений с «московскими друзьями»⁶.

Лежащая на поверхности причина этих осложнений имела взаимно меркантильный характер; так, Пушкин не получил всей обещанной ему за сотрудничество с «Вестником» суммы в десять тысяч рублей, в то же время редакция журнала справедливо обижалась на поэта за то, что тот не соблюдал эксклюзивный характер их отношений и щедро раздавал (или обещал отдать) свои произведения в другие издания⁷.

Но, конечно, не только материальные проблемы с «Московским вестником», обостренные запретом на публикацию «Бориса Годунова» и остановкой цензурного прохождения ряда других произведений поэта, стали причиной тому, что в мае 1827 года Пушкин оставил Москву и приехал в Петербург. Ухудшение отношений Пушкина с «московскими юношами» стало частным выражением того охлаждения, которое переживала по отношению к Пушкину оппозиционная Москва.

Слова С. П. Шевырева и Адама Мицкевича об обвинениях Пушкина в «ласкательстве» и даже «наушничестве <...> перед государем»⁸, в «измене делу патриотическому» и «расчетах честолюбия»⁹ уже цитировались в предыдущей главе. Что же касается П. А. Катенина, в те месяцы также жившего в Москве, то он и вовсе отрицает за Пушкиным пристрастие к либерализму: «...после вступ-

ления на престол нового Государя явился Пушкин налицо. Я заметил в нем одну только перемену: исчезли замашки либерализма. Правду сказать, они всегда казались угождением более моде, нежели собственным увлечением»¹⁰.

Вяземский, Катенин, в меньшей степени Адам Мицкевич и С. Шевырев — люди из ближайшего московского окружения поэта. Их мнения (даже Мицкевича) о позиции Пушкина после его возвращения из ссылки звучат значительно менее остро (как передача «чужого» мнения), чем суждения других москвичей, с Пушкиным лично не знакомых, например, члена конспиративного кружка братьев Критских, Михаила Лушников: «Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стишках, нежели о благе отечества»¹¹. А. С. Хомяков также лично Пушкина почти не знал; и его мнение (правда, позднейшее) о поэте близко к тому, что говорил Лушников: «Пушкин измельчался не в разврате, а в салоне»¹².

На чем же основано столь негативное и распространенное в первопрестольной весной 1827 года мнение о Пушкине, ведь «Стансы», единственное посвященное Николаю стихотворение этого периода, было еще не известно?

Все приведенные выше негативные отзывы о Пушкине характеризуют второй период пребывания поэта в Москве — между декабрем 1826 года, когда он вернулся из Михайловского, и маем 1827 года, когда уехал в Петербург. Именно в это время поведение Пушкина стало резко не соответствовать тому образу недавно опального и ныне независимого поэта, в котором он явился перед изумленными москвичами в сентябре — октябре 1826 года. Именно тогда поэт устраивал публичные чтения «Бориса Годунова» и других не пропущенных цензурой произведений. Утверждению образа «не смирившегося» во многом способствовал сам Пушкин, активно распространяя среди москвичей сведения о своем свидании с императором. Смысл пушкинских рассказов об этом разговоре состоял в том, что между ним и властью был установлен равноправный договор и что свобода (в том числе от цензуры) пришла к нему без моральных уступок с его стороны. Вспомним также, что другой важной составляющей пушкинских рассказов о самом себе осенью 1826 года стали устные новеллы о силах судьбы,

хранивших поэта в трагических обстоятельствах декабря 1825 года и оградивших его от появления на Сенатской площади вопреки его намерениям¹³.

Действия поэта после повторного возвращения в Москву перестали соответствовать этому образу. Эпоха публичных чтений Пушкиным своих новых произведений закончилась, и поэт чаще, чем это хотелось бы его молодым друзьям, начал упоминать о «милостях царских» по отношению к нему. Именно в это время Бенкендорф докладывает императору: «Пушкин автор в Москве и всюду говорит о Вашем императорском Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью»¹⁴.

При этом возникшие проблемы во взаимоотношениях с властью скрывались даже от близких друзей. Так, Вяземский сразу после разговора с Пушкиным относительно возможности публиковать в скором времени «Бориса Годунова» сообщает А. И. Тургеневу и Жуковскому в Дрезден 6 января 1827 года: «Пушкин получил обратно свою трагедию из рук высочайшей цензуры. Дай Бог каждому такого цензора. Очень мало увечья»¹⁵. И это при том, что письмо Бенкендорфа Пушкину от 14 декабря 1826 года уже содержало резолюцию императора, делавшую публикацию «Бориса Годунова» невозможной: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с *нужным очищением* переделал Комедию свою в историческую повесть или роман, на подобие Валтера Скота» (XIII, 313) и 3 января 1827 года Пушкин уведомил Бенкендорфа о том, что «не в силах уже переделать <...> однажды написанное» (XIII, 317).

Более сложным видится вопрос, насколько широко стало известно о привлечении поэта к «делу» о распространении «Андрея Шенье». Представляется, что и здесь Пушкин хранил не свойственную ему при других обстоятельствах скромность; единственный отзыв об этом принадлежит Н. Д. Киселеву и содержится в письме последнего к брату, П. Д. Киселеву (оба брата к кругу друзей поэта не принадлежали, но были весьма осведомлены в полицейской жизни империи¹⁶).

Итак, «незнание» Вяземского не случайно; Пушкин сам стремится придать своим отношениям с правительством значительно более благополучный характер, чем это было на самом деле. При

том, что именно зимой 1827 года, в пору значительного ухудшения отношений поэта с властью, ухудшения, грозившего ему действительными, а не мнимыми, как весной 1820 года, неприятностями, Пушкин не останавливается перед отправкой декабристам посланий «Пушину» и «В Сибирь». Но об этом почти никто не знает, а всем бросается в глаза «осторожность» и «осмотрительность» поэта. В декабристской среде рождается легенда о том, что Пушкин будто бы сам стыдится собственного поведения и в январе 1827 года говорит А. Г. Муравьевой на прощанье: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести»¹⁷. (Здесь Муравьева, скорее всего, проецирует свои представления о Пушкине, опосредованные его поведением в 1827 г., на события и отношения, предшествовавшие декабрьскому восстанию.)

Отрицательное отношение москвичей к «измененному», «новому» Пушкину в ситуации, когда поэт, казалось бы, мог рассчитывать на взаимопонимание, определялось тем, что Москва находилась в сильной оппозиции по отношению к новому императору и первоначальный «взрыв восторгов» по поводу возвращения поэта из ссылки был формой выражения этой оппозиционности. Современница поэта не случайно сравнила «впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в московском театре <...> с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Алексей Павлович Ермолов, только что оставивший кавказскую армию»¹⁸.

Кажется, что и декабрьскую трагедию, и июльскую казнь москвичи переживали чуть более аффектированно, чем в иных областях России. Осведомленный современник так вспоминал о настроении в Москве после восстания. В Москве «люди высшего сословия или, лучше сказать, люди высшего образования, смотрели на это событие иначе, чем в провинции. Кроме весьма естественного сочувствия либеральным идеям, многие, весьма многие семейства лишились своих лучших членов, которые по прямому или косвенному участию в заговоре или даже по тесным связям с обвиняемыми были взяты, отвезены в Петербург и томились в крепости, находясь под следствием»¹⁹.

Особенно резко оппозиционной по отношению к императору была позиция членов того московского кружка, из которого, в ос-

новном, и составил «Московский вестник». Так об этом рассказывал А. И. Кошелев: «Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречащие <...> мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначили <...>

Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас, между собой знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня»²⁰.

Возможно, что Пушкин не вполне осознавал, что в сентябре 1826 года москвичи и «короновали» его в пику императору, чьи собственные коронационные торжества в Москве проходили кисло-вато: «Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми (после казни декабристов. — *И. Н.*) — нет возможности: словно каждый лишился своего брата или отца. Вслед за этим известием пришло другое о назначении дня коронации Императора Николая Павловича. Его въезд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых Московских вельможей, — все происходило под тяжким впечатлением совершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях; и принимали участие в упомянутых торжествах только люди к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен; вид его производил на всех отталкивающее действие; будущее являлось более, чем грустным и тревожным»²¹. Характерно, что, когда Кошелев сам переехал в Петербург и стал встречать Пушкина в салоне Карамзиных, отношения двух бывших москвичей не сохранили и следа того восторга, с которым любомудры встретили поэта после его возвращения из Михайловской ссылки: «Пушкина я знал довольно коротко; встречал его часто в обществе; бывал я и у него; но мы друг к другу не чувствовали особенной симпатии»²².

III. Когда потребовал поэта...

Стремление молодых друзей Пушкина «стяжать известность и мученический венец» разделяли многие молодые москвичи, в основном, бывшие и настоящие студенты Московского университета. Именно оттуда раздавалась самая резкая критика в адрес Пушкина²³.

Много позже описываемых событий А. И. Герцен утверждал, что «Николай <...> своею милостью <...> хотел погубить его в общественном мнении, а знаками своего расположения — покорить его»²⁴. Это мнение отражало представления не только самого юноши Герцена, но и того околоуниверситетского круга, к которому он тогда принадлежал. Двадцать девятого декабря 1826 года Н. М. Языков пишет брату, П. М. Языкову, в Симбирск: «Пушкин в большой милости у Государя» (25). О «милостях» императора к Пушкину без обиняков писал анонимный поэт: «Я прежде вольность проповедал, / Царей с народом звал на суд, / Но только царских щей отведал / И стал придворный люзоблюду»²⁶.

В Петербурге, куда Пушкин приехал в мае 1827 года, общественная ситуация была иной, чем в Москве. Главный конфидент Бенкендорфа, М. Я. Фон Фок, характеризовал ее следующим образом: «Общественное настроение никогда еще не было так хорошо, как в настоящее время <...> нравственная сила правительства так велика, что ничто не может противустоять ей. Это до такой степени справедливо, что если бы злонамеренные вздумали теперь явиться в роли непризнанных пророков, то были бы жестоко освистаны»²⁷.

Многие из тех, кто составил пушкинское окружение в Петербурге, в декабре 1825 года оказались буквально на краю пропасти, и прямо или косвенно были привлечены к следствию. Таковы судьбы А. Дельвига, Ореста Сомова. В марте 1826 года за помощь Пушкину в осуществлении его публикаций под полицейский надзор попал Плетнев²⁸. Эти люди совершенно не склонны были осуждать поэта за осмотрительное поведение. Литература — это то, чем они зарабатывают себе на хлеб, и они напряженно ждут, как будут складываться отношения новой власти с литературой. Милости императора — пусть скорее мнимые, чем действительные по отношению к Пушкину — не только не настораживают их, но, как сообщает информированный Фон Фок, «особое попечение Государя

об отличном поэте Пушкине совершенно уверило литераторов, что Государь любит просвещение»²⁹.

В Петербурге Пушкин, наконец, обрел давно искомую им профессиональную среду.

Осмотрительное и осторожное поведение этих людей, находившихся под самым пристальным вниманием правительства, совсем не означало полного примирения с существующим порядком вещей. Так, Дельвиг на страницах «Северных Цветов» на 1826 год анонимно печатал Н. Бестужева и В. Кюхельбекера³⁰. Именно петербуржцы, включая, конечно, Вяземского, составили «пушкинский круг писателей», по определению М. И. Гиллельсона³¹.

Однако и по приезде в Петербург Пушкин не спешит обнаруживать «Стансы». Но теперь это в первую очередь объяснялось отношениями с правительством; «дело» о «Шенье» продолжается и, как кажется, ничего хорошего Пушкину не сулит; 29 июня 1827 года, после очередного весьма энергичного допроса, Пушкин был вынужден обратиться к Бенкендорфу с просьбой о личном свидании.

Это свидание, состоявшееся 6 июля 1827 года, определило очень многое в пушкинской судьбе, но поскольку никаких высказываний о нем не существует, мы скорее догадываемся о том, что произошло во время этой встречи, чем знаем определенно.

После встречи с шефом жандармов Пушкин перестал привлекаться к следствию об «Андрее Шенье», при том, что само «дело» продолжалось и определение суда имело крайне неблагоприятный для Пушкина характер («О непредоставлении Пушкиным суду доказательств в том, что стихи «Андрей Шенье» сочинены и пропущены цензурой ранее декабрьских происшествий, и о небрежном хранении им цензурою не пропущенного сочинения, которое могло бы произвести вредное влияние на умы»³²).

Именно после свидания с Бенкендорфом, 20 июля 1827 г., «Стансы», так долго ждавшие своего часа, были отправлены в жандармскую цензуру. Посланы они были, конечно, в том виде, в котором были и напечатаны, т. е. свой окончательный вид стихотворение получило не позднее этого дня.

Шестнадцатого июля, в годовщину казни декабристов и сразу после разговора с Бенкендорфом, был написан «Арион». Нам пред-

III. Когда потребовал поэта...

ставляется, что смысл этого стихотворения в значительной степени определен именно этими, столь разными в исторической перспективе обстоятельствами: восстанием декабристов и примирением Пушкина с властью³³. Ведь для Пушкина, как и для многих его друзей, сочувствовавших декабристам, но не связанных с движением организационно, «буря» разразилась не столько во время самого восстания, сколько потом, когда общество переживало правительственные репрессии. Для Пушкина возвращение из ссылки и беседа с императором в сентябре 1826 г. явились не избавлением, вопреки его первоначальным ощущениям, а началом новых серьезных испытаний. Свидание с Бенкендорфом в июле 1827 года положило им предел и по своим последствиям имело не менее важное значение в жизни Пушкина, чем свидание с императором в сентябре 1826 года. Надежда «на милость царскую», подкрепленная очередным «отпущением», обрела новую пищу и позволила поэту сделать именно на ней смысловой акцент «Стансов»; так, строка «И памятью, как он, незлобен» из середины стихотворения переместилась в его финал.

2

22 августа Бенкендорф извещает поэта о том, что «стихотворения ваши государь изволил прочесть с особенным вниманием» и что «Стансы» дозволяются к печати (XIII, 335). И почти сразу после получения разрешения на публикацию Пушкин начинает распространять стихотворение в обществе. Первое известное нам (по донесениям Фон Фока) чтение «Стансов» имело место 31 августа на новоселье у Ореста Сомова, где среди приглашенных были К. С. Сербинович, в недавнем прошлом ближайший помощник Карамзина, и Дельвиг. Последний подобрал к стихотворению музыку. Присутствовавшие выпили за «здоровье цензора Пушкина <...> обмакивая стансы Пушкина в вино»³⁴.

А. А. Дельвиг, в присутствии которого «Стансы» были прочитаны публично впервые, выражает желание напечатать стихотворение в альманахе «Северные Цветы» на 1828 год, о чем Пушкину

сообщает П. А. Плетнев (XIII, 345) и в ноябре получает на это разрешение цензуры. Однако вместо того, чтобы опубликовать «Стансы» в Петербурге, в «Северных Цветах» Дельвига, Пушкин в декабре 1827 г. не позднее семнадцатого декабря, отправляет стихотворение в Москву, Погдину (XIII, 350), и оно выходит в первом номере «Московского вестника» за 1828 год. Обративший внимание на это обстоятельство В. Э. Вацуро не дал ему никакого объяснения, отметив только его поспешный характер, не мотивированный большими «долгами» поэта перед «Московским вестником», потому что несмотря на них Пушкин отдает в «Северные Цветы на 1828 год» «Графа Нулина», произведение значительно более объемное и дорогое, чем «Стансы»³⁵.

Цензурное разрешение на альманах было получено Дельвигом 3 декабря 1827 года; «Стансов» не было среди дозволенных к печати произведений Пушкина³⁶. Цензурное разрешение на публикацию первого номера «Московского вестника» датируется 9 января 1828 года³⁷. «Вестник» поступил в продажу месяцем позже «Цветов», и Пушкин, забирая стихотворение из уже составленного Дельвигом альманаха и посылая его в журнал, понимал, что публикация стихотворения несколько откладывается.

Между обнародованием «Стансов» (осень 1827 года) и его первой публикацией (январь 1828 года) Пушкин работает над посланием «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю»), где он объясняет свою позицию, выраженную в «Стансах».

Упреки в сервилизме адресовались Пушкину еще до того, как «Стансы» получили публичную известность. Но тогда, в первую половину 1827 года, они исходили не от друзей. «Стансы» обострили взаимоотношения с друзьями. По всей видимости, это были друзья не столько из петербургского окружения поэта, сколько из оставленной поэтом Москвы, скорее всего, Катенин и Вяземский.

Катенин обратился к Пушкину со своим посланием «Старая бль» 27 марта 1828 года (XIV, 8), но его невысокое мнение о природе пушкинского либерализма, цитированное выше, относится к более раннему периоду.

III. Когда потребовал поэта...

Об ухудшении взаимоотношений поэта с Вяземским во второй половине 1827 года мы можем судить по косвенным признакам, таким, как, например, прекращение переписки между друзьями более чем на полгода с момента отъезда Пушкина из Москвы. По позднему свидетельству Вяземского, Пушкин затаил на него обиду за критический отзыв о «Цыганах»³⁸. Но, как мне представляется, были и более серьезные поводы для ухудшения взаимоотношений между старыми друзьями: конец 1827 года — пик оппозиционных настроений Вяземского, и очень вероятно, что та часть послания, где отводятся упреки в сервилизме, была адресована в том числе и Вяземскому.

Черновая редакция стихотворения «Друзьям» в качестве важнейшего содержит мотив «клеветы» («я жертва мощной клеветы»). Можно понять это так, что в период «допечатного» обращения «Стансов» (начало сентября 1827 года — середина января 1828 года) среди друзей циркулировал некий клеветнический и весьма обидный для поэта слух. Между тем, смысл послания «Друзьям» состоит в утверждении свободного характера того исторического оптимизма, который поэт испытал после возвращения из ссылки после встречи с императором; как уже совсем прозрачно Пушкин выразился в черновой редакции послания «Он <император> не купил хвалы» (III, 644). Следовательно, самым болезненным для поэта было то, что свободный характер его «хвалы» ставился под сомнение. Именно таким образом отозвался о «Стансах» А. М. Тургенев (1772–1862, родственник А. И., Н. И. и С. И. Тургеневых, мемуарист) 10 января 1828 года, посылая список «Стансов» своему приятелю, жившему в провинции, А. И. Михайловскому-Данилевскому: «Прилагаю вам стихи Пушкина, impromptu, написанные автором в присутствии государя, в кабинете его величества»³⁹.

А. М. Тургенев к числу друзей поэта не принадлежал, при этом он посылает приятелю в провинции не просто не опубликованное пушкинское стихотворение, но и сопровождает его «биографическим» комментарием. Это указывает на то, что «Стансы» широко разошлись в списках и что переданный Тургеневым слух к январю 1828 года стал общим достоянием.

Нет ничего удивительного, что в таких условиях поэт вынужден оправдываться, и что оправдание это в первую очередь было

адресовано тем, чьим мнением Пушкин дорожил более всего, т. е. друзьям. Но вероятно и то, что «Стансы» содержали в себе нечто такое, что задевало не только А. М. Тургенева, но и его родственников — братьев Тургеневых, а вместе с ними Вяземского.

«Стансы» своей строкой «И был от буйного стрельца / Пред ним отличен Долгорукой» отсылают не только к знаменитому эпизоду, когда Яков Долгорукий порвал некий несправедливый указ Петра Великого и был за это не только прощен, но и поощрен великодушным монархом. В свете прозрачной параллели «Петр — Николай» прорывается еще одна: Долгорукий — Н. И. Тургенев.

Н. И. Тургенев, член Коренной управы Союза Благоденствия, в восстании участия не принимал, но за свою роль одного из идеологов движения декабристов был приговорен к смертной казни, замененной на бессрочную каторгу. Пушкин хорошо представлял себе особое положение Н. Тургенева в тайном обществе и написал об этом в записке «О народном воспитании»: «Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттинг.(енском) унив.(ерситете), не смотря на свой политический фанатизм, отличался среди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью — следствием просвещения и положительных познаний» (XI, 45). Создание «Записки» (ноябрь с 10-го по 15-е. — XI, 310) отделял от написания «Стансов» всего один месяц.

Пушкин имел представление не только об особой роли Н. И. Тургенева в движении декабристов, но и о том, что он как инициатор уничтожения крепостного права «сверху», был близок императору Александру⁴⁰. Кроме того, Н. Тургенев был одним из немногих заметных деятелей александровского царствования, явно выступавших против военных поселений. По мысли друзей декабриста, прежде всего его старшего брата, А. И. Тургенева, это должно было расположить к нему Николая, еще цесаревичем выступавшего против военных поселений⁴¹.

Беспокойство за судьбу Н. Тургенева друзья стали выражать сразу же после восстания, как только причастность его к движению декабристов сделалась известной правительству. В это время и встал вопрос о том, чтобы декабрист сам по своей воле приехал в Петербург из-за границы и оправдался. На этой позиции стояли

Карамзин и Жуковский. Вяземский и, конечно, А. И. Тургенев были против возвращения. Вяземский, как и Пушкин, знал об особой роли Николая Тургенева в движении в качестве идеолога, но, с его точки зрения, это был не плюс, а минус в глазах правительства: «Я уверен, что братья твои чужды того, что было безрассудного и злодейственного в замыслах, но все это их не спасет. Поверь мне, что люди истинно благомыслящие в этом деле страшнее и ненавистнее для них самих головорезов. О последних скажут: в них была хмель, она выдохнется. Но хладнокровные, глубокомысленные и честные заговорщики не подадут той же надежды. С ними мира не будет. Я убежден в этом и потому более страшусь за брата твоего, Николая, Орлова, чем за самых бешеных. Что ни говори, а я от него всего страшусь и *ничего не надеюсь* (курсив П. А. Вяземского. — *И. Н.*), потому что чудесам не верю <...> Ты окружен в Петербурге людьми *qui sont sous le charme*, и мне показалось, что голос мой не соблазненный может предостеречь тебя в чем-нибудь и вывести на свежий воздух из атмосферы околдованной. Разумеется, Карамзин и Жуковский лучшие создания Провидения, но увы! и они под колдовством и советы их в таком случае могут быть не совершенно здравы»⁴².

Вяземский значительно лучше представлял себе позицию правительства, чем находившиеся в момент восстания за границей Жуковский и А. Тургенев.

Взгляд на декабрьское восстание как на стихийный мятеж и событие, которое не может иметь большого влияния на текущее состояние дел, был выражен только в первом правительственном сообщении о нем, о чем ниже. В дальнейшем эта точка зрения ушла из официальных сообщений, где начал доминировать совсем другой взгляд на восстание, а именно: оно стало восприниматься как следствие разветвленного заговора, пронизавшего не только Россию, но и Европу. И это совершенно естественно, потому что только такой подход оправдывал размах следствия, последующих репрессий и казнь тех декабристов, которые, как Пестель и Рылеев, формально в восстании не участвовали и ничьей крови не пролили, но были идеологами. Об этом особо говорилось в правительственном «Манифесте» от 19 декабря, написанном М. М. Сперан-

ским под давлением императора Николая: «по первому обозрению обстоятельств, следствием уже обнаруженных, два рода людей составляли сие скопище: одни заблудшие, умыслу не причастные, другие — злоумышленные их руководители»⁴³.

Таким образом, «буйные стрельцы», вопреки пушкинскому стихотворению, понесли подчас не большее, а меньшее наказание, чем идеологи. Приговор Верховного Уголовного Суда в отношении Николая Тургенева подтвердил наихудшие опасения друзей и родственников. Говорили, что М. М. Сперанский плакал после того, как был вынужден его подписать⁴⁴. 13 июля 1826 года, в день казни декабристов, А. И. Тургенев уехал из Петербурга, так и не добившись пересмотра приговора своему брату и рассорившись с другом юности, старым «арзамасцем», Д. Н. Блудовым, автором «Донесения Следственной комиссии», за отзывы о Николае Тургеневе, там содержащиеся⁴⁵.

Именно о Блудове как об авторе первого правительственного сообщения о восстании на Сенатской площади — «Подробное описание происшествия, случившегося в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года» — современники говорили, что он сделал «сие поспешно тут же, не выходя из его <императора> кабинета»⁴⁶.

И Пушкин, якобы также написавший «Стансы» «в кабинете государя», вписывается современниками в один ряд с такими людьми как Блудов и Сперанский, попавшими под зловещее обаяние молодого императора и действовавшими под его давлением. А. И. Кошелев, расположенный к Пушкину значительно менее, чем к Блудову, вспоминал о последнем: «В большой упрек ему ставили написанное им донесение следственной комиссии по делу 14-го Декабря. Конечно, оправдывать его я не буду; но в извинение его, могу сказать, что он в этом уступил воле Императора, как по слабости характера, так и потому, что он надеялся смягчить меру наказания для виновных, выставив многих менее преступными, чем увлеченными даже до крайностей»⁴⁷. И как здесь не вспомнить рассуждение Вяземского о «колдовстве» императора, под которым находились Карамзин и Жуковский.

Тема «колдовского» влияния императора на собеседника широко обсуждалась в обществе после восстания декабристов. Было

III. Когда потребовал поэта...

известно, что молодой император проявил себя не только как усмиритель бунта, но и как незаурядный следователь. В собственных мемуарах Николай подробно рассказывает о проведенных им допросах и о том давлении, которое он оказывал на декабристов П. Г. Каховского, С. И. Муравьева-Апостола, Пестеля, Артамона Муравьева, С. Г. Волконского и, в особенности, на Михаила Орлова⁴⁸. Было хорошо известно, что помимо «гипнотических свойств» император мог использовать прямой обман и шантаж; именно на это, возможно, намекал А. М. Тургенев, передавая историю создания «Стансов» в письме Данилевскому в столь далеком от правды свете. Бесспорно, этот кислый отзыв указывал на то, что у стихотворения есть еще один «создатель», кроме Пушкина, а именно инспирировавший его император Николай.

Подобное прочтение не позволяло увидеть того, что «Стансы», при всей своей «бодрости», полемизировали с официальными оценками роли Николая Тургенева в движении. Пушкин глубоко сочувствовал декабристу и посвятил ложному, к счастью, слуху о его насильственной выдаче одно из самых горьких своих стихотворений «Так море, древний душегубец...». Этот текст содержался в письме Вяземскому от 14 августа 1826 года. Вяземский же, вопреки обыкновению, не послал его А. И. Тургеневу, и последний впервые услышал его от самого Пушкина за несколько дней до смерти поэта⁴⁹; так стихотворение осталось не известным не только широкой публике, но и друзьям. Не ясно также, знали ли «друзья» о том, что в «Записке о народном воспитании» Пушкин заступился за Николая Тургенева. При том, конечно, что этот документ никогда не был обнародован при жизни поэта, тот секрета из него не делал и рассказал о «Записке» А. Н. Вульфу. В пересказе последнего упоминание о Николае Тургеневе отсутствует⁵⁰. Но в «Стансах» Пушкин защищает его, пожалуй, еще более определенно, чем в «Записке». Увы, это не поколебало мнения современников о «казанном» характере стихотворения. Причина, возможно, заключается в том, что сам Н. И. Тургенев строил свою защиту не прося «милости» у императора, а доказывая свою полную невиновность⁵¹.

В 1827 году обращение к имени Николая Тургенева было особенно актуально для друзей декабриста и болезненно для прави-

тельства. Летом 1827 года Ф. В. Булгарин написал донос о публикации в «Московском телеграфе» цикла статей А. И. Тургенева под общим заглавием «Письма из Дрездена». Имя Н. И. Тургенева здесь явно не упоминалось, но Булгарин увидел намек на него там, где «явно обнаружено сожаление о погибших друзьях и прошедших золотых временах»⁵².

3

К осени 1827 года, ко времени обнаружения «Стансов», стало совершенно очевидно, что все надежды друзей в отношении Н. Тургенева не оправдались, само выражение надежды на «славу и добро» находилось в противоречии с тяжелым настроением, царившим в обществе. Вяземский писал А. Тургеневу и Жуковскому в конце ноября 1826 года: «Зачем Козлов приплел к своей Абидосской Невесте дедикацию, отзывающуюся семидесятью годами? Досадно и грустно. Хотел бы похвалить поэму, но рука не поднимается упомянуть об эпистоле. Не наше дело судить, а все-таки сто двадцать братьев на каторге. Можно бы пол жизнью купить забвение 14-го Декабря, а не то что воспевать его, разве с тем, чтобы призывать милосердие на головы виновных и жертв. Не говорю уже о чувстве, но досаду на неприличие. *C'est aussi un manque de tact*: уж лучше еще печатать детские сказки у Булгарина... Я уверен, что все пойдет по-старому. Полетика говорил мне, что он дает год срока, а пока все еще надеется, но что если после года ничего твердо лучшего не будет, то и он откажется от надежды»⁵³. Упомянутый в письме Вяземского поэт И. И. Козлов посвятил свой перевод «Абидосской невесты» Байрона императрице Александре Федоровне. Недовольство Вяземского вызвали, скорее всего, следующие строки посвящения:

...Русского Царя, любви земли родной,
Чей первый царства день был днем безмерной славы,
Спасеньем Алтарей, России и Державы;
Кто с Братом доблестным пример величья дал,
Какого мир земной не зрел и не слышал.

III. Когда потребовал поэта...

По форме выражения эти стихи, конечно, отличаются от «Стансов», но по содержанию они были не так уж далеки от них, и оценка Вяземского пушкинского стихотворения (нам не известная), скорее всего, была еще более горькой. Тем более, что поэтических откликов «на день восшествия на престол» было мало. Даже русская официозная литература скупно отозвалась на это событие. Сплошной просмотр периодики за 1826 год дал относительно небольшое число поэтических откликов. Их общий тон скорее сдержанный, чем бодряческий. Вот характерный пример, стихотворение Степана Висковатова, интересное использованием поэтической риторики, восходящей к пушкинской «Вольности»:

Восшел на Трон... и в прах мятежны...
И адский умысел открыт.

<...>

А тот не Росс, кто аду внемлет,
Мятежным пламенем горит...
Его душевна казнь объемлет;
Ему громами в слух гремит
Проклятие из рода в роды;
Он ужас Неба, срам природы,

<...>

Монарх! Забудь сих жертв геенны:
Россияне прямые — верны,
Привыкли обожать Царей⁵⁴.

Эсхатологическим ужасом веет от строк Михаила Суханова, представившего события воцарения в форме народной песни:

Не средь вечера, средь весення дня;
Вдруг затмилось небо ясное,
Накатились тучи черные,
Громы грянули по всему свету,
И рассыпались из конца в конец
Огнекрылые страшны молнии.
Ветры вырвались из пещер своих...
И вселенная содрогнулась:
Воды хлынули из берегов своих,
Поглощали все, что встречалось;

Птицы с гнезд вспорхнув, их покинули,
И летели в даль незнакомую;
На лугах стада разбежались;
Устрашенные за работою
Земледельцы все с поля бросились.
Лишь одни только звери хищные
Рыщут по лесу, ищут жертв себе,
Утолить свою алчность лютую.

Вдруг явилось солнце красное!
Вмиг рассеялись тучи черные
Громы, молнии — все утихнули; —
В лес сокрылися звери хищные...
<...>
Николай в венце, скипетр приемлет Он
<...>
Блещет правдою, блещет милостью.
Твердый доблестью, как Великий Петр,
Он опорю Царству Русскому⁵⁵.

Литературный полуофициоз весьма чутко, в отличие от «Стансов», выражал содержание официальных документов, дававших оценку восстанию. Утверждением исторического оптимизма пушкинское стихотворение не соответствовало ни общественному настроению, ни официозу.

Император так рисовал французскому послу, Лаффероне, картину развития русского общества после восстания: «К несчастью, оно <восстание> оставит в России продолжительное и мучительное впечатление. Мятеж, подавленный в зародыше, будет иметь для нас некоторые из тех злополучных последствий, которые влечет за собой мятеж совершившийся. Он внесет смуту и разлад в великое число семей, умы долго еще останутся в состоянии беспокойства и недоверия. Со временем терпением и мудрыми мерами мне, надеюсь, удастся окончательно рассеять это тягостное впечатление, но потребуются годы, чтобы исправить зло, причиненное нам в несколько часов горстью злодеев»⁵⁶. Возможно, что Лаффероне и был первым, кто уподобил Николая Петру Великому в письме графу Рибопьеру от 20 декабря 1826 года:

III. Когда потребовал поэта...

«У вас есть властелин, какая речь, какое благородство, какое величие, и где до сих пор он скрывал все это»⁵⁷. Император Николай явился ему, как он выразился, «образованным Петром Первым».

Общественные настроения в интересующий нас период охарактеризованы в донесении Фон Фока Бенкендорфу от 27 июля 1827 года: «Вот картина настроения умов и рассуждений, написанная на основании впечатлений, вынесенных из многих разговоров о различных партиях и мнениях.

Левая сторона или, лучше сказать, врали и недовольные, стараются представить все в мрачном свете. Краски их до того темны, что можно подумать, будто бы мы находимся накануне страшных бед. По их словам все приходит в упадок, все разрушается и никакие усилия правительства не в состоянии восстановить доверие и радикально излечить зло, — не потому что оно застарело, а вследствие недостатка любви к врагу. — Правая сторона видит вещи совсем в другом свете и не только не замечает ничего тревожного, но уверена, что все пойдет отлично.

По мнению некоторых благонамеренных исследователей оба приведенных мнения преувеличены. <...> Если бы ничего решительно тревожного не было бы в эпоху, столь близкую общественному бедствию, если бы можно было бы все сделать по мановению волшебного жезла, — такой порядок вещей действительно возбуждал бы опасения, потому что пришлось бы допустить два предположения: или, что все управляемые — не более как автоматы, или же, что под пеплом таится огонь»⁵⁸.

Пушкина, по классификации Фон Фока, следует отнести к числу тех, не достаточно осведомленных, кто «не замечал ничего тревожного, но <был> уверен, что все пойдет отлично». Оптимизм, по мысли проницательного жандарма, основан на представлении о том, что «все управляемые — не более, чем автоматы».

Последнее соображение мы оставляем без комментариев, отметим только, что Пушкин был все-таки не одинок в выражении исторического оптимизма, связанного с началом нового царствования. Этот оптимизм в значительной степени восходил к Н. М. Карамзину.

Карамзину принадлежат и определение восстания как «трагедии безумных либералистов», и, одновременно, как это ни парадоксально на первый взгляд, самая восторженная оценка начала нового царствования, выраженные в письме постоянному корреспонденту, И. И. Дмитриеву, от 19 декабря 1825 года: «Новый император оказал неустрашимость и твердость <...> Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж <...> Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Дай Бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ними не так много! <...> Иногда прекрасный день начинается бурей: да будет так и в новом царствовании! <...> да будет славен Николай 1-й между венценосцами, благотворителями России!»⁵⁹

Д. Н. Блудов в самом первом правительственном донесении о событиях 14 декабря, представляя восстание как мятеж «безумцев», которые «пробыв четыре часа на площади, в большую часть сего времени открытой, не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных»⁶⁰, вопреки распространенному мнению, был гораздо ближе к Карамзину, чем к императору (именно историк рекомендовал своего младшего друга Николаю, когда нужно было срочно составить «Обозрение» для «Санкт-Петербургских Ведомостей»⁶¹). Император был склонен рассматривать восстание иначе — как следствие разветвленного заговора, о чем он писал Великому Князю Константину в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое декабря: «Я посылаю вам копию рапорта об ужасном заговоре, открытом в армии, и который я считаю необходимым сообщить вам в виду открытых подробностей и ужасных намерений; судя по допросам членов здешней шайки, продолжающимся в самом дворце, нет сомнений, что все составляет одно целое, а что также достоверно, на основании слов наиболее смелых, это то, что речь шла о покушении на жизнь покойного императора, чему помешала его преждевременная кончина. Страшно сказать, но необходим внушительный пример, и так как в данном случае речь идет об убийцах, то их участь не может быть достаточно сурова»⁶².

III. Когда потребовал поэта...

Пушкин, конечно, не мог не читать «Обозрения». В «Стансах» слова о «буйных стрельцах» представляют собой довольно прозрачную аллюзию на недавние события; такая оценка ближе всего именно к этому правительственному документу («Вчерашний день будет без сомнения эпохой в истории России. В оный жители узнали с чувством радости и надежды, что государь император Николай Павлович воспринимает венец своих предков <...> Но Провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать и печальным происшествием, которое внезапно, но лишь на несколько часов возмутило спокойствие в некоторых частях города»⁶³). Очень скоро тон правительственных заявлений меняется, и уже в «Манифесте» от 19 декабря концепция «заговора» торжествует над концепцией «мятежа». Карамзин от работы над «Манифестом» фактически отстраняется.

В созданных больше чем год спустя после написания «Обозрения» «Стансах» Пушкин близок по тону именно к этому документу, не заслоненному более поздними правительственными сообщениями, прежде всего, знаменитым «Донесением», писанным все тем же Блудовым, но уже без всякой ориентации на Карамзина. Промелькнувшее в «Обозрении» определение восставших как «безумцев» было в определенной степени близко Пушкину; и когда Дельвиг называет В. К. Кюхельбекера, самого близкого Пушкину участника восстания, «наш сумасшедший <у Пушкина «сумасшедчий». — И. Н.> Кюхля» (XIII, 260), Пушкин подхватывает эту мысль «Кюхля <...> охмелел в чужом пиру» (XIII, 262) и развивает ее во время разговора с императором (в пересказе Л. С. Пушкина, переданном Н. И. Лорером): «— Можно ли любить такого негодяя как Кюхельбекер? — продолжал государь. — <Пушкин:> Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь»⁶⁴. Оценка восставших как «безумных либералистов» содержалась в упомянутом выше письме Карамзина И. И. Дмитриеву от 19 декабря 1825 года.

Возможно, что Пушкин знал содержание этого письма от самого Дмитриева, с которым поэт возобновил знакомство в сентябре 1826 года. 29 сентября он читает «Бориса Годунова» в доме у Вяземского специально для Дмитриева и Д. Н. Блудова. После чте-

ния следует обсуждение трагедии, во время которого речь могла пойти и о недавно ушедшем из жизни Карамзине, памяти которого Пушкин посвятил «Бориса Годунова».

При очевидно отрицательном отношении Карамзина к восстанию и восставшим в его оценке последних как «безумных либералистов», а самого восстания как спонтанного мятежа крылось желание умалить вину декабристов и защитить общество от правительственного террора. И этим же мотивом руководствовался Пушкин; при этом и его представление о восставших как о безумцах, посягнувших «на силу вещей», скорее всего, соответствовало сложившемуся у него к концу 1826 года взгляду на историю. Подобная позиция не вызывала восторгов у либерально настроенной части общества, в том числе и у самих декабристов, но давала возможность и Карамзину, и Пушкину просить власть о милосердии к восставшим. У Пушкина это «Стансы»; что же касается Карамзина, то молва приписывала ему прямое заступничество за декабристов. Мнение многих выражал декабрист А. Е. Розен, передавая слова, якобы сказанные Карамзиным Николаю: «Ваше величество! Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века»⁶⁵. Считалось, что если бы Карамзин дожил бы до суда над декабристами, то смертных казней не было бы вообще. Осведомленный современник вспоминал: «Никто не верил <...> что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы и не было — в этом убеждены были все»⁶⁶.

Пушкина сближало с Карамзиным и положительное отношение к новому императору. Кажется цитатой из письма Карамзина Дмитриеву строка из «Стансов» «неутомим и тверд», что, конечно, свидетельствует не о формальном заимствовании, а об общности восприятия фигуры нового императора Пушкиным и Карамзиным.

Оптимизм Пушкина в отношении нового императора понятен: поэт очень не любил прежнего, считал его двоедушным, ленивым, трусливым («в двенадцатом году дрожал»), пренебрегающим национальными интересами. М. Г. Альтшуллер в своей недавней статье, посвященной гражданской лирике Пушкина, показал, что образ нового царя в «Стансах» строится «как противопоставление положительного начала отрицательному опыту предшествующей эпохи»⁶⁷.

III. Когда потребовал поэта...

О суровой критике Карамзиным императора Александра было известно. Об этом вспоминал Н. И. Тургенев: «В России преобразовательные планы императора Александра порой встречали протест не со стороны общественного мнения, не имевшего силы, а со стороны узкого круга честных и искренних людей. Среди них выделялся придворный историограф Карамзин; пожалуй, это был единственный человек, осмеливавшийся энергично и откровенно выражать свои мнения самодержцу»⁶⁸. О своей критике покойного императора в кругу его семьи сам Карамзин рассказывал Погодину: «Пощадите сердце матери, Николай Михайлович <...> Государыня меня останавливала <...> как будто я говорил только для осуждения! Я говорил так, потому что любил Александра, люблю отечество и желаю преемнику избежать его ошибок, исправить зло им невольно причиненное»⁶⁹. Конечно, Карамзин критиковал императора Александра совсем не так, как Пушкин, который «подсвистывал ему до самого гроба»; Карамзин был близким другом покойного императора. Сближало отрицание прошлого и надежды на будущее.

Погодин, с которым Пушкин много общался по приезду в Москву, мог многое рассказать поэту об отношении историка к декабристам и восстанию: «Припоминаю теперь, что Карамзин говорил очень раздраженным тоном о происшествиях 14 Декабря, которое только что перед тем случилось, бранил предводителей: “каковы преобразователи — Рылеев, Корнилович, который переписывался с памятью Петра Великого”»⁷⁰.

Погодин, будущий биограф Карамзина, незадолго до смерти историка, специально ездил в Петербург для бесед с ним. В приведенном им отзыве Карамзина о декабристах обратим внимание на то, что историк почти ревнует декабриста Корниловича к Петру Великому.

На фоне значительного схождения в оценках восстания и начала нового царствования между Пушкиным и Карамзиным весьма значимым представляется разница в оценках Петра Великого как исторической личности. Так пушкинское «Не презирал страны родной: Он знал ее предназначенье» находится в резком противоречии с утверждением Карамзина о полном отсутствии у Петра уважения к собственной стране:

«Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия <...> Искоренная древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? <...> Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр»⁷¹.

И уж совсем не в унисон пушкинскому призыву к Николаю в «незлобливости» походить на пращура звучит карамзинское:

«Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного. <...> Ничто не казалось ему страшным»⁷².

Скорее всего, в 1826 году записка Н. М. Карамзина «О древней и новой России», содержащая приведенные выше пассажи о Петре, текстуально не была известна Пушкину, поскольку представляла из себя документ государственной конфиденциальности. В то же время можно предположить, что Пушкину было известно мнение Карамзина о Петре из личного общения, которое до конца 1819 года было частым, и/или от общих друзей, в первую очередь, от Вяземского.

Главный же наш вывод состоит в том, что, независимо от разницы в оценках Петра, «Стансы» показывают серьезное идейное движение Пушкина в сторону Карамзина, что нашло отражение не только в этом стихотворении, но и в воспоминаниях поэта о недавно ушедшем из жизни историке. Как показал В. Э. Вацуро, они писались одновременно со «Стансами»⁷³.

5

Пушкин хотел бы строить свои взаимоотношения с императором Николаем по той же модели, по которой строил взаимоотношения с императором Александром Карамзин. Однако этому мешало не только глубокое нежелание императора Николая видеть в Пушкине Карамзина, но и то, что большинство современников, пожалуй, разделяло эту позицию. В глазах общества Пушкину недоставало

III. Когда потребовал поэта...

главного для того, чтобы претендовать на роль Карамзина, а именно: независимости. Вот почему поэт так тяжело переживал подхваченный, к сожалению, даже близкими друзьями слух о том, что «Стансы» инспирированы императором.

Конечно, это было не так; «Стансы» скорее противоречили официальной позиции, чем находились в согласии с ней.

Попытка объяснить независимый характер своего творчества, предпринятая Пушкиным в стихотворении «Друзьям», успеха не имела; «Стихи Пушкина “К друзьям” просто дрянь», — писал по их поводу недоброжелательный Н. Языков⁷⁴.

Оскорбительной на послание «Друзьям» была и реакция императора: «Можно распространять, но нельзя печатать» (ориг. по-франц. — III, 1154). Власть не хочет иметь под рукой совершенно ручного, как ей кажется, поэта. Принадлежность, действительная или мнимая, Пушкина к недавней оппозиции представляется более ценным товаром.

В этот критический момент своей жизни Пушкин публикует стихотворение, где роль «небом избранного певца» («Друзья») из поэтической метафоры становится почти фактом биографии; в третьем номере «Московского вестника» на 1828 год появляется «Пророк».

Достоверных данных о времени создания стихотворения нет. Определенно можно утверждать лишь то, что стихотворение было послано Погодину в ноябре 1827 года, как это следует из дневниковой записи последнего от 17 ноября 1827 года⁷⁵ и что в те же недели Пушкин забирает из «Северных Цветов» «Стансы» и также отправляет их в «Московский вестник». Ноябрьем 1827 года ПСС датирует начало работы Пушкина над посланием «Друзьям» (III, 1155), и уже 5 марта 1828 года Пушкин получает от Бенкендорфа запрещение на публикацию.

Те же поводы, которые способствовали завершению стихотворения в декабре 1826 года — годовщина декабрьского восстания и тезоименитство государя — заставили Пушкина в конце 1827 года перенести публикацию «Стансов» с декабря на январь и переместить из Петербурга в более нейтральную Москву. Поэт хотел избежать возможных аллюзий.

«Стансы» были неудачной попыткой разговаривать с властью на традиционном для русской культуры языке поэта, обращающегося к царю; отсюда риторическая близость стихотворения к поэзии Державина⁷⁶; «Друзьям» — неудачной попыткой поэтического объяснения с обществом.

«Пророк» совершенно по-новому осмысливает то сложное положение по отношению к обществу и власти, в котором Пушкин ощущал себя в 1827–1828 годах. Это стихотворение обнажает скрытые причины такого положения, декларируя, что поэт во всех своих действиях выполнял высшую волю. Таким образом, все три стихотворения, предназначенные для публикации в «Московском вестнике», образовали некий цельный сюжет о взаимоотношениях Поэта с обществом, властью и Всевышним. Это, между прочим, указывает на то, что «Пророк» мог существовать в биографическом контексте не только 1828 года, когда был опубликован, но и со второй половины 1826 года, когда сам Пушкин с охотой рассказывал знакомым и не очень знакомым собеседникам о том, как в результате цепи случайностей (читай «по воле Провидения»), он был избавлен от участия в восстании декабристов.

1. См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. М.; Л., 1937. С. 36 (№ 86).

2. Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому из Москвы от 29 сентября 1826 г. (№ 30) (Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. Пг., 1921. С. 42. Далее: Переписка Тургенева с Вяземским, с указанием страницы).

3. Письма Александра Яковлевича Булгакова к его брату. 1826 // Русский архив. 1901. Кн. 2. С. 403.

4. *Щегалев П. Е.* Император Николай I и Пушкин в 1826 году // Он же. Первенцы русской свободы. М., 1987. С. 332–333. Другой точки зрения придерживается В. М. Есипов. См.: *Есипов В. М.* «К убийце гнусному явись...» // Московский пушкинист. V, М., 1998. С. 128–129.

5. См. об этом в главе «О “Пророке” и Пророке» третьего раздела (с. 216–229).

6. Подробно об этом см.: *Мазур Н. Н.* Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения // Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 54–105.

III. Когда потребовал поэта...

7. См. письмо Д. В. Веневитинова М. П. Погодину от 7 января 1827 г. (*Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина*. СПб., 1889. Кн. 2. С. 76).

8. Цит. по: *Майков Л. Н. Пушкин*. СПб., 1899. С. 330.

9. *Мицкевич А.* Биографическое и литературное известие о Пушкине // *Пушкин в воспоминаниях современников*. Т. 1. С. 125.

10. *Катенин П. А.* Воспоминания о Пушкине // *Пушкин в воспоминаниях современников*. Т. 1. С. 184.

11. Цит. по: *Лемке М. К.* Тайное общество братьев Критских // *Былое*. 1906. Июнь. С. 46.

12. Письма А. С. Хомякова к И. С. Аксакову (№ 11) (*Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. М., 1904. Т. 8. С. 366).

13. См. наст. раздел, главу «Два “воображаемых” разговора Пушкина» (с. 205–209).

14. Письмо А. Х. Бенкендорфа императору Николаю I от 7 января 1826 года (Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I-му о Пушкине // *Старина и новизна*. 1903. Кн. 6. С. 5).

15. Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 6 января 1827 г. (№ 34) (Переписка Тургенева с Вяземским. С. 55).

16. *Герасимова Ю. И.* Архив Киселевых // *Записки Отдела рукописей ГБЛ*. Вып. 19. М., 1957. С. 77).

17. *Якушкин И. Д.* Из «Записок» // *Пушкин в воспоминаниях современников*. Т. 1. С. 358.

18. Свидетельство Е. Н. Киселевой в пересказе ее сына, Н. С. Киселева. Цит. по: *Майков Л. Н. Пушкин*. СПб., 1900. С. 361.

19. Записки графа Дмитрия Николаевича Толстого // *Русский архив*. 1885. Кн. 2. С. 20, 24.

20. *Кошелев А. И.* Записки. Berlin, 1884. С. 15–17.

21. Там же. С. 18.

22. Там же. С. 31. Ср. отзыв о Пушкине другого москвича и члена кружка «любомудров», В. П. Титова: «Что касается Пушкина, без сомнения величайшая услуга, какую бы я мог оказать вам, это бы держать его в узде; да не имею к тому способов. Дома он бывает только в 9-ть утра, а я в это время иду на службу царскую; в гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права. К тому же с ним надобно нянчиться, до чего я не охотник и не мастер» (Из письма В. П. Титова М. П. Погодину от 18 июля 1827 г. См.: *Пушкин по документам архива М. П. Погодина*. Публ. М. А. Цявловского // *Литературное наследство*. Т. 16–18. М., 1934. С. 694).

23. Приведенный выше отзыв о поэте одного из членов кружка братьев Критских, Михаила Лушникова, прозвучал еще до публикации «Стансов». После того, как это произошло, русское освободительное движение начало свою растянувшуюся на несколько десятилетий полемику с Пушкиным, примером чему может служить стихотворение, вышедшее из круга сочувственника Лушникова С. И. Ситникова, в 1830 году; направленное против императора Нико-

лая («О Николай не мни, / Что кто-либо из сей земли / Славян тебя хоть сколько любит <...> / Не мни, чтоб ты был чем велик: / Твои дела не слава трубит, / Но купленный бродяг язык... / В журналах подлых искаженных, / Где истины ни капли нет...»), оно своим нижним концом «метит», в числе прочих «бродяг», в Пушкина, воспринимаемого уже, конечно, через призму обвинений поэта в сервилизме: «Свободы Вечевой алкают Россияне, / И скоро загремят Славянские Граждане, / <...> Падешь, злодей, уверься в том: / Тебе газеты не помогут, / Ни дар твой подлых орденов / За трусость немцам, что дается, / Ни лживый бред твоих певцов: / На рынках лишь что раздается, / Что нанят горстью серебра...» (Цит. по: *Мандрыкина Л.А.* После 14-го декабря 1825 года: (Агитаторы конца 20-х — начала 30-х годов) // *Декабристы и их время: Материалы и сообщения.* М.; Л., 1951. С. 241–242).

24. *Герцен А. И.* О развитии революционных идей в России // *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 206.

25. Письмо Н. М. Языкова П. М. Языкову из Дерпта от 29 декабря 1826 г. (№ CLXXVI) (Языковский архив. Вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 290).

26. Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 434.

27. Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая по донесениям М. М. Фока к А. Х. Бенкендорфу // *Русская старина.* 1881. № 11. С. 327.

28. См об этом: *Пушкин.* Письма. В 3 т. / Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1928. Т. 2. С. 150–151.

29. Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 68–69.

30. См об этом: *Вацуро В. Э.* «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978. С. 73.

31. *Гиллельсон М. И.* От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 9–14.

32. *Русская старина.* 1889. № 8. С. 322–324.

33. См. в этом разделе в главе «Декабрист или сервилист? (Биографический контекст стихотворения “Арион”)».

34. Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 71.

35. *Вацуро В. Э.* «Северные цветы». С. 117.

36. Пушкин в печати. 1814–1817. М., 1914. С. 48.

37. Там же. С. 50.

38. *Вяземский П. А.* Приписка к статье «Цыганы. Поэма Пушкина» // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 117–118.

39. Письмо А. М. Тургенева А. И. Михайловскому-Данилевскому из Москвы от 10 января 1828 года (Материалы, заметки и стихотворения. А. С. Пушкин и А. М. Тургенев, 1826–1828 гг. // *Русская старина.* 1890. Декабрь. С. 747–748).

III. Когда потребовал поэта...

Этот слух впоследствии повторил Дружинин (*Дружинин А. В.* А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений // Библиотека для чтения. 1855. Т. 130. № 3–4. «Науки и искусства». С. 46).

40. См. об этом: *Ланда С. С.* О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816–1821 гг.: (Из политической деятельности П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. Орлова) // Пушкин и его время. Л., 1962. С. 180–181.

41. *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001. С. 344.

42. Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу из Москвы от 20 марта 1826 г. (№ 17) (Переписка Тургенева с Вяземским. С. 25).

43. Санкт-Петербургские ведомости. 1825. 22 декабря. № 102. Об истории написания «Манифеста» см.: *Погодин М. П.* Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Т. 2. С. 467.

44. См. об этом в «Записках» Н. Басаргина (*Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 102).

45. Как сам этот отзыв, так и полемика с ним представлены в: *Тургенев Н. И.* Оправдательная записка // Он же. Россия и русские. М., 2001. С. 97–174.

46. *Вигель Ф. Ф.* Записки. Т. 2. М., 1928. С. 269.

47. *Кошелев А. И.* Записки. Berlin, 1884. С. 23.

48. *Николай I.* Записки // Николай I Муж. Отец Император. М., 2000. С. 70 и след.

49. А. И. Тургенев о кончине Пушкина // Русский архив. 1903. Кн. 1. С. 144.

50. *Вульф А. Н.* Из «Дневника» // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 423.

51. См.: *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001. С. 164.

52. *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908. С. 256.

53. Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому из Москвы от 27 ноября 1826 г. (№ 33) (Переписка Тургенева с Вяземским. С. 50–51).

54. *Висковатов Степан.* Его Императорскому Величеству Государю императору Николаю Павловичу // Сын Отечества. 1826. № 3. С. 302–303.

55. *Суханов Михайло.* Чувства Русского крестьянина при Священнейшем Короновании Императора Николая Первого // Сын Отечества. 1826. № 20. С. 349–350.

56. *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 372.

57. Там же. С. 348. См. также: Костина Н. Г. Освещение Петра I в русской периодической печати в первые годы после 14 декабря 1825 г. // Уч. зап. Горьковского университета. Сер. ист.-филологич. 1966. Вып. 78. Т. 2.

58. Петербургское общество в начале царствования императора Николая. Письма М. М. Фока к А. Х. Бенкендорфу, 1826 г. // Русская старина. 1881. № 9. С. 179–180.

59. *Погодин М. П.* Николай Михайлович Карамзин... М., 1866. Т. 2. С. 466–467.

60. Прибавление к «Санкт-Петербургским Ведомостям». 1825. 15 декабря. № 100.
61. *Вигель Ф. Ф.* Заиски. М., 1928. Т. 2. С. 269—270.
62. *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 302.
63. Прибавление к «Санкт-Петербургским Ведомостям». 1825. 15 декабря. № 100.
64. *Лорер Н. И.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 205.
65. *Розен А. Е.* Записки моего времени. СПб., 1907. С. 112.
66. *Оболенский Д. Д.* По поводу казней декабристов // Наша старина. 1917. № 2. С. 34.
67. *Альтшуллер М. Г.* Между двух царей (Заметки о гражданской лирике Пушкина 1826–1836 годов) // Русская литература. 2001. № 1. С. 12.
68. *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001. С. 500. Пер. С. В. Житомирской.
69. *Погодин М. П.* Николай Михайлович Карамзин... М., 1866. Т. 2. С. 460–461.
70. Это относится к посвящению Корниловичем его альманаха «Русская старина» «памяти Петра Великого» (Там же. С. 471).
71. *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 24, 28.
72. Там же. С. 28–29.
73. *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 64–65.
74. Письмо Н. М. Языкова П. М. Языкову из Дерпта от 20 сентября 1828 г. (№ ССXXXVII) (Языковский архив. Вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 371).
75. *Погодин М. П.* Дневниковая запись от 17 ноября 1827 года // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 23.
76. См.: *Остоват К. А.* Об «одическом диптихе» Пушкина: «Стансы» и «Друзьям» (материалы к интертекстуальному комментарию) // Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999: Материалы и исследования. С. 133–142.

Декабрист или сервилист?

Биографический контекст
стихотворения «Арион»

По своей устойчивости и распространенности миф о «Пушкине-декабристе» сравним только с противоположным по содержанию мифом о «Пушкине-сервилисте», или, как деликатно выразился А. Блок, «Пушкине — друге монархии»¹.

Естественно, что обе эти точки зрения на пушкинскую личность, при всей их несовместимости, оперируют примерно одинаковым набором обстоятельств жизни поэта и одним и тем же кругом его произведений. Ни одна из них не обходится без рассказа о свидании Пушкина с императором Николаем I в Петровском замке в сентябре 1826 г., без анализа осложнившихся взаимоотношений поэта с друзьями в 1827–1829 гг., без обращения к обстоятельствам путешествия на Кавказ в 1829 г., без изучения последних лет жизни Пушкина. Очень часто интерпретация пушкинских произведений существенным образом зависит от того, внутри какой биографической парадигмы они рассматриваются. Так, например, «Медный всадник» может быть оценен как «апофеоз Петра» и абсолютизма вообще в рамках мифа о «Пушкине — друге монархии» или же как аллегория декабрьского восстания в рамках мифа «Пушкин — несостоявшийся декабрист». «Медный всадник», пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, насколько жестко оценка произведения зависит от характера приписываемого ему биографического контекста. Но лишь очень немногие пушкинские тексты определенно и долговечно относятся только к какому-нибудь одному мифу. Любопытно при этом, что миф о «Пушкине-сервилисте» характеризуется более устойчивым набором соответствующих ему произведений. Так, по крайней мере до сих пор, никому не удалось оспорить, что в стихотворениях «Стансы», «Друзьям», «Герой», «Бородинская годовщина» Пушкин выказал свои симпатии просвещенному абсо-

лютизму. Более сложно обстоит дело с произведениями, соответствующими альтернативному мифу о Пушкине как тайном декабристе. Здесь, в особенности в последние годы, пушкиноведы не оставили ничего бесспорно относящегося к этому и только к этому мифу. Даже «Послание в Сибирь» — казалось бы, несомненное проявление декабристских симпатий Пушкина — было сравнительно недавно рассмотрено как призыв декабристам надеяться на царскую милость².

И только стихотворение «Арион», единственное, как нам кажется, сохраняло до последнего времени репутацию своеобразного поэтического манифеста, в котором Пушкин выразил свою верность декабристам. Более того, это произведение традиционно рассматривается как обобщение размышлений поэта о собственном месте среди декабристов. Все в нем как будто дает основания именно для такого прочтения: написанное 16 июля 1827 г., три дня спустя после первой годовщины казни декабристов, стихотворение связано со многими декабристскими замыслами поэта. От этого общего положения некоторые исследователи делали следующий шаг и пытались рассмотреть «Арион» как аллегорическое изображение декабрьского восстания; даже всерьез поставлен вопрос, кого же Пушкин имел в виду под «кормщиком умным»: Пестеля или Рылеева?³

Общий ход продекабристских интерпретаций стихотворения был нарушен скептическим замечанием В. В. Пугачева: «Декабристы явно не узнали себя ни в «пловцах», ни в «кормщике». Анонимность «Ариона» не могла обмануть сибирских мучеников. Публикация в «Литературной газете» делала для них авторство совершенно прозрачным. Не узнать «таинственного певца» они не могли. Никто из современников не увидел в стихотворении аллегорического изображения декабристов»⁴.

Утверждение В. В. Пугачева о «прозрачности» авторства «Ариона» не кажется нам бесспорным. Вопросы о том, почему Пушкин опубликовал стихотворение, во-первых, только три года спустя после его написания и, во-вторых, анонимно, не просты, и мы предполагаем вернуться к ним в конце этой главы. В целом же мысль исследователя представляется совершенно справедливой: аллюзионное, узко аллегорическое восприятие «Ариона» было чуждо современникам поэта.

Точка зрения на «Арион» как на аллегория не была доминирующей и в научном пушкиноведении до того момента, как в нем сложились те две альтернативные парадигмы, о которых речь уже шла. Однако уже в начале 1920-х годов утверждение Л. С. Гинзбурга о том, что «весьма возможно, что «Арион» никакого отношения к декабристам не имеет и, создавая его, Пушкин думал только о поэте»⁵, вызвало энергичные возражения Ю. М. Соколова, Н. Н. Фатова, В. В. Леоновича-Ангарского, Н. К. Пиксанова в некоторых других советских литературоведов, присутствовавших на выступлении Л. С. Гинзбурга. Дело в том, что соображения Гинзбурга об «Арионе» были изложены им не в статье, а в устном сообщении, прочитанном на заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в 1924 г. Однако выступление Гинзбурга было забыто и о его содержании можно только догадываться, причем не столько по крайне конспективному, скупому изложению его в «Хронике», сколько по гораздо более пространно представленным там замечаниям его оппонентов. Обратившись к рукописи стихотворения, хранившейся тогда в Румянцевском музее, ученый обратил внимание на «стремление поэта переделывать текст, напр., замена слов “нас” словом “их” <...> или замена “я” на “он”. <...> Получается впечатление, — отмечал докладчик, — что поэт хотел затушевать свою связь с декабристами, если стихотворение имело их в виду»⁶.

Несмотря на то, что текстологические наблюдения над стихотворением менее всего укладываются в рамки «декабристской» интерпретации «Ариона», нам хотелось бы обратить внимание на историю изменений строки 13 стихотворения (помимо того, что уже сказано об этом Гинзбургом).

Первоначально в беловом автографе (единственном сохранившемся) она звучала так: «Гимн избавления пою» (III, 593). Затем в первом слое правки строка приобрела следующий вид: «Я песни прежние пою» (III, 593), а при последующем исправлении изменилась еще раз: «Спасен Дельфином, я пою» (III, 593). В последнем, третьем, слое поправок Пушкин самым существенным образом переработал все стихотворение, повсюду, где это было необходимо, заменив форму первого лица на третье: «Их было много на челне...» (III, 593) вместо «Нас было много на челну»; «А он — беспеч-

ной веры полн» вместо «А я, беспечной веры полн»; «Пловцам он пел» вместо «Пловцам я пел»; «Лишь он — таинственный певец» вместо «Лишь я — таинственный певец». Любопытно, что и из тринадцатой строки «Спасен Дельфином, я пою» «я» было исключено, однако глагол сохранил личную форму первого лица, получилось: «Спасен Дельфином, пою». В окончательном варианте текста строка была снова изменена, приобретя привычное для нас звучание: «Я гимны прежние пою» (III, 58).

Колебания Пушкина в выборе строки 13 не прошли мимо внимания исследователей. Так, Т. Г. Цявловская, принадлежавшая к числу активнейших создателей мифа о «Пушкине-декабристе», писала об этом следующим образом: «Исследователь не может не остановить своего внимания на том, что самый ударный, выразительный стих “Ариона” — “Я гимны прежние пою” — появился в тексте далеко не сразу. Три известных нам варианта 13-го стиха, написанные в 1827 г., были заменены впоследствии тем стихом, ради которого, казалось бы, написано стихотворение. Когда? Быть может, только в 1830 г., перед публикацией стихотворения в “Литературной газете” в том окончательном виде, который всегда и печатается? — Сказать трудно»⁷.

Как видим, хотя Т. Г. Цявловская и признает ключевое значение строки 13 «Ариона» (стих, ради которого, казалось бы, написано стихотворение), она даже не пытается ответить на вопрос, чем определены колебания поэта в ее выборе.

Не дал объяснения этому обстоятельству и Ю. П. Суздальский, с методологической точки зрения безусловный союзник Т. Г. Цявловской. В своем исследовании, посвященном реконструкции культурного фона стихотворения, он только констатировал, что Пушкин в работе над стихотворением постепенно удалялся от античного мифа об Арионе и что окончательный вариант, кроме мотива чудесного спасения поэта, не содержит ничего общего с историей о рапсode, спасенном чудесной силой своего искусства⁸. Это, может быть, чересчур категоричный вывод, поскольку и в своем окончательном виде пушкинское стихотворение содержит общий с мифом мотив «спасения из морской стихии», не говоря уже о том, что в обоих случаях речь идет о певцах, поэтах. Но, конечно,

III. Когда потребовал поэта...

важно, что античный миф содержал не только мотив спасения (кстати, ни о какой буре речи в нем не идет), но и образ чудесного спасителя — Дельфина, — присутствующий в промежуточных вариантах стихотворения, но исключенный из окончательного текста.

Наиболее же содержательные отличия пушкинского «Ариона» от древнегреческого мифа таковы:

1. В мифе рапсод Арион, возвращаясь на корабле с поэтического состязания, на котором он выиграл крупный денежный приз, попадает к разбойникам. У Пушкина поэт на «чолне» находится среди друзей и единомышленников.

2. В мифе разбойники покушаются на имущество и жизнь Ариона. У Пушкина источником общей, а не только для поэта, опасности является внезапно налетевшая буря.

3. Арион спасается, получив от разбойников разрешение исполнить свой гимн. Пение рапсода привлекает дельфина. Таким образом, вся история обретает особое дидактическое звучание: оказывается, что поэт избавляется от опасности силой своего искусства. Именно здесь Пушкин проявляет наибольшие колебания, раздвигаясь между желанием объяснить спасение «таинственного певца» вмешательством чудесного спасителя («Спасен Дельфином, я пою») или же просто действием слепых сил судьбы, которые случайно пощадили его одного. Последнее объяснение находится в наиболее резком противоречии с содержанием античного мифа, поскольку элиминирует не только роль чудесного спасителя, но и мотив спасительной силы самого искусства.

4. В древнегреческой истории Арион, принесенный дельфином к берегам Коринфа, был радостно встречен здесь местным тираном Пелиандром. У Пушкина же этот мотив «радостной встречи» полностью отсутствует, и это значимо, поскольку стихотворение включает в себя описание берега.

5. И наконец, в пушкинском стихотворении «гроза» («вихорь шумный») является не только источником опасности, но одновременно и средством спасения («на берег выброшен грозою»). Таким образом, в стихотворении выстраивается некоторая цепь случайностей: неожиданны как сама буря, так и спасение от нее. Это совмещение неожиданностей парадоксально усложняет всю си-

туацию, подчиняя ее каким-то таинственным законам (отсюда «таинственный певец»).

Нам представляется, что колебанием в решении вопроса о том, кому именно поэт обязан своим спасением, слепым силам судьбы, персонифицированным в образе «грозы», или же чудесному спасителю-«Дельфину», связано возникновение другой, столь же непростой проблемы выбора между «Гимном избавления» и «песнями (гимнами) прежними». «Избавление» предполагает более тесную связь с чудесным спасителем.

Чем же определены пушкинские колебания? Очевидно, динамикой судьбы поэта, по крайней мере тех ее трех лет, которые отделили время написания стихотворения от времени его публикации. Между тем в многочисленных работах, посвященных «Ариону» и написанных в рамках биографического подхода, не дается сколько-нибудь убедительного объяснения этим колебаниям. И не только потому, что большинство советских исследователей, занимавшихся «Арионом», разделяли миф о «Пушкине-декабристе». Мы попробуем изложить свою версию биографического контекста, значимого для понимания «Ариона», но нам важно это не столько для новой интерпретации стихотворения, сколько для выявления того, что не поддается объяснению ни в рамках любого из двух мифов о Пушкине, ни в рамках узкобиографического подхода вообще.

* * *

Во второй половине июня 1826 г. поэт получает от П. А. Вяземского письмо, где впервые утверждается, что Пушкин «остался цел и невредим в общую бурю», — вывод, целиком определенный тем обстоятельством, что следствие по делу декабристов практически закончено и Пушкин не был к нему привлечен. Значит, считает Вяземский, Пушкин *теперь* вправе обратиться с письмом к императору: «На твоём месте <...> я <...> сознался бы в шалостях языка и пера с указанием, однакоже, что поступки твои не были сообщниками твоих слов, ибо ты остался цел и невредим в *общую бурю*; обещал бы впредь держать язык и перо на привязи» (письмо от 12 июня 1826 г. — XIII, 285; курсив мой. — И. Н.).

III. Когда потребовал поэта...

С того времени, когда Пушкин узнает о масштабах декабрьской катастрофы и правительственных репрессиях, с ней связанных, его постоянно преследуют два противоречивых чувства: негодование на правительство и желание обратиться к императору с просьбой о прекращении собственного изгнания. Сделать это впрямую мешает идущее по делу декабристов следствие. Поэт понимает, что обратиться к императору непосредственно можно будет только тогда, когда будет установлена его невиновность (или степень вины не будет признана большой). В письмах мотивы «опасения» и «оправдания» постоянно связаны. «Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай Бог, чтобы было понапрасну» (А. А. Дельвигу — 20-е числа января 1826 г. — XIII, 256); «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных...» (В. А. Жуковскому. 20-е числа января 1826 г. — XIII, 257).

Письмо к Жуковскому интересно, во-первых, выражением вызывающей независимости: «Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства...» (там же). При этом Пушкин прекрасно понимает, что читать его письмо будет отнюдь не только Жуковский (отсюда признание в «неблагоразумности» послания). Во-вторых, тем, что здесь впервые ясно выражается желание Пушкина рассчитывать на «счастье», т. е. на счастливый случай («Письмо это неблагоприятно конечно, но должно же доверять иногда и счастью» — там же).

В январе 1826 г., когда писалось это письмо, Пушкин весьма далек от того, чтобы идти на серьезные уступки правительству. В дальнейшем эта позиция будет меняться, и поэт сначала попросит Жуковского показать цитированное выше письмо Н. М. Карамзину, а затем императору. Уже в начале февраля 1826 г. в письме к А. А. Дельвигу Пушкин сознается в том, что готов «*вполне и искренно* помириться с правительством» (XIII, 259).

При этом 12 апреля Жуковский пишет ему чрезвычайно резкое письмо, где прямо говорится: «В теперешних обстоятельствах

нет никакой возможности ничего сделать [для тебя] в твою пользу <...> не просись в Петербург. Еще не время» (XIII, 271). Намерение Пушкина обратиться к правительству с письмом, формально адресованным Жуковскому, не вызвало никакого сочувствия последнего: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Есть ли оно *только ко мне*, то оно странно. Есть ли ж для того, чтобы его *показать*, то безрассудно» (там же; курсив Жуковского).

Полученное через два месяца письмо Вяземского стало, таким образом, для Пушкина своеобразным сигналом от друзей, что время договариваться с правительством пришло. В повторном обращении к поэту от 31 июля 1826 г. Вяземский говорит об этом еще более определенно, снова объясняя, почему он так считает: «Ты имеешь права не сомнительные на внимание, ибо остался неприкосновен в общей буре» (XIII, 289).

Так образ морской бури из необязательного сравнения становится важным мотивом переписки Пушкина — Вяземского, поскольку не просто повторяется, но и вписывается в поэтический контекст, — письмо Вяземского от 31 июля содержит стихотворение «Море», где говорится о волнах:

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святости
Не опозорена лазурь.
Кровь братьев не дымится в ней!
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной!

(XIII, 287)

Эта строфа, как известно, вызвала стихотворное возражение Пушкина:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

(XIII, 290)

Важнейшей в переписке поэтов становится и тема судьбы. Так, узнав о смерти трехлетнего сына Вяземского, Пушкин отзывается на это: «Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее. <...> Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто» (XIII, 278)..

Мысль о возможности прямого обращения к правительству возникла у Пушкина еще до совета Вяземского. Во второй половине мая он писал императору: «Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)» (XIII, 283). Это полное внутреннего достоинства письмо остается без ответа, а Вяземский находит его «сухим и холодным» и советует написать другое, адресовав его в Москву, где должна была состояться коронация.

Этот совет доходит до поэта сразу же после потрясшего его известия о казни декабристов. «Ты находишь письмо мое холодным и сухим, — отвечает он Вяземскому 14 августа 1826 г. — Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291).

Итак, второе письмо с предложением компромисса правительству принципиально не было написано. Более того, этот ответ Вяземскому от 14 августа и содержит в себе стихотворение «Так море, древний душегубец...», одно из самых горьких в пушкинском творчестве. А чтобы ни у Вяземского, ни у возможных перлюстраторов письма не оставалось сомнений, по какому поводу оно написано, Пушкин сопровождает стихотворение следующим комментарием: «Правда ли, что Николая Т.<ургенева> привезли на корабле в П.<етер> Б.<ург>? Вот каково море наше хваленое!» (XIII, 291).

Такое поведение, вопреки призывам друзей к скромности и раскаянию, являлось несомненным вызовом правительству. И Пушкин сознательно идет на него, несмотря на то что уже в середине июля молчание императора расценивается им как знак в высшей степени неблагоприятный: «Если б я был потребован комиссией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру» (XIII, 286). В этом же письме поэт горько пеняет Вяземскому за дурной отзыв о декабристах: «...кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд» (там же). Пушкин прекрасно знает, что за ним следят, а уж в том, что письма его читают, имел случай убедиться не раз. Поэтому приезд фельдъегеря в Михайловское и поездку в Москву под конвоем он считает арестом. У Н. И. Лорера были основания утверждать (со слов Л. С. Пушкина): «Зная за собой несколько либеральных выходов, Пушкин был убежден, что увезут его прямо в Сибирь»⁹.

Тем более неожиданным оказалось свидание с Николаем I, завершение ссылки, освобождение от цензуры...

«Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря, — пишет В. Э. Вацуро, — в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей не могли освободить его, сосланного без прямого политического преступления и при отсутствии твердых улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика — показания арестованных заговорщиков <...> его освобождают и обещают покровительство. Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально»¹⁰.

О знаменитом свидании Пушкина с Николаем I, состоявшемся сразу по прибытии Пушкина в Москву, мы знаем из нескольких источников¹¹. Каждое свидетельство отличается от других теми или иными акцентами. Воспоминания, записанные со слов самого императора, свидетельствуют о том, что от него не ускользнули долгие колебания Пушкина по поводу предложенного ему компромисса: «На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пушу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но

очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим¹².

Несомненно, что колебания Пушкина не в последнюю очередь были вызваны желанием оценить реальный вес уступок, которых потребует от него «царская милость». Согласие же определялось надеждой, что их не потребуется слишком много, и убеждением, что *пока* ничем жертвовать не пришлось. Поэтому в первые сентябрьские недели 1826 г. освобождение представляется Пушкину неожиданным подарком судьбы. Тема судьбы, как уже отмечалось, занимает важнейшее место в его разговорах этого времени. «Теперь должно начаться счастье», — признается он Д. В. Веневитину¹³.

Совсем иначе освобождение поэта и внешние проявления «царской милости» были восприняты определенной частью московского общества. Свидетельства на этот счет А. Мицкевича¹⁴, М. Лушников¹⁵, С. П. Шевырева¹⁶ процитированы в предыдущих главах. При этом из всех приведенных свидетельств следует, что до лета 1827 г. единственным реальным основанием для такого отношения было изменение поведения поэта. Это, в частности, может означать, что уже написанные «Стансы» еще ждут своего часа и не известны не только широкой публике, но и друзьям. Между тем люди, знавшие Пушкина коротко, осведомлены, что после внешне-го улучшения реальные отношения поэта с властью с конца осени 1826 г. становятся все хуже.

Уже в ноябре, почти сразу после возвращения, поэт почувствовал оборотную сторону «царской милости» (Николай, как известно, принял на себя цензорские обязанности). Один за другим следуют выговоры от Бенкендорфа за попытки опубликовать некоторые произведения «обычным путем», без ведома Третьего отделения, и за публичные чтения «Бориса Годунова» и, может быть, других не допущенных к печати сочинений. 14 ноября трагедия была фактически запрещена к публикации; своим чередом идет уголовное дело об «Андрее Шень»¹⁷; летом 1827 г. начнется еще одно жандармское следствие о подозрительной, с точки зрения Бенкендорфа, виньетке к поэме «Цыганы» (здесь был изображен кинжал, разрывающий цепи)¹⁸.

Тот факт, что шеф жандармов усмотрел в стандартном типографском оформлении злонамеренность Пушкина, свидетельствует о недоверчивом и подозрительном отношении властей к поэту. И Пушкин, конечно, это понимает и стремится нормализовать свои отношения с правительством, хотя молва значительно преувеличивает степень его усилий; сам он ни в кося мере не рассматривает как компромиссы ни составление записки «О воспитании», ни объяснения по делу об «Андрее Шенье», ни ответ Бенкендорфу на запрещение «Бориса Годунова» (все это пишется до лета 1827 г.). Правительство же явно усматривает в его действиях противостояние себе.

Переломным во многих отношениях стало свидание Пушкина с Бенкендорфом, состоявшееся 6 июля 1827 г. Сразу же после него следствие по делу о виньетке к «Цыганам» было прекращено, а «Стансы», лежавшие без движения более полугода, оказались у Бенкендорфа. Таким образом, примирение с правительством произошло, и вечером того же дня шеф жандармов писал императору: «<Пушкин> после свиданья со мной, говорил в английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»¹⁹.

Автограф «Ариона» имеет дату 16 июля 1827 г. Несомненно, что этот день в первую очередь переживался поэтом как день, близкий к годовщине казни декабристов (13 июля 1826 г.). Но вместе с тем всего лишь за десять дней до того произошло свидание с Бенкендорфом, событие, давшее Пушкину лишний повод задуматься о своем спасении в «общей буре». М. К. Лемке высказал мнение, что «Арион» явился поэтическим откликом на это свидание («и слабохарактерный, доверчивый Пушкин, не допускаявший и мысли о веденной против него гнусной блокаде, в порыве чувств пишет через десять дней после свидания с Бенкендорфом своего «Ариона»») ²⁰. Можно не соглашаться с категоричностью и односторонностью подобного утверждения, но нельзя отрицать, что оно имеет основание: в процессе работы над стихотворением, после ряда сомнений и колебаний, поэт остановился на варианте «Спасен Дельфином, я пою». Уже относи-

тельно давно Ю. М. Соколов осторожно высказал точку зрения о том, что «образ дельфина, на котором спасся поэт, — может быть, намек на Николая I»²¹. Осторожность явно нелишняя, поскольку в дальнейшем мнение Соколова будет приводиться как пример исследовательского аполитизма: «Это сближение неосновательно, — восклицал Г. С. Глебов, — в атмосфере декабрьской трагедии у Пушкина не могла возникнуть мысль о Николае как спасителе!»²².

Вопреки утверждению Глебова мысль о том, что именно Николаю он обязан своим спасением, не только приходила в голову Пушкину, — начиная со второй половины 1827 г. он неоднократно высказывал ее вслух. «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу: виват!» — так (по донесению секретного агента) Пушкин определил свое отношение к императору в октябре 1827 г.²³, и это было не случайное высказывание.

20 июля «Стансы» переданы Бенкендорфу (шаг символический). Чуть позже началось их систематическое распространение в обществе. «За ужином, — доносит полицейский агент, — при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты. <...> Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивался с Петром»²⁴.

Как уже сказано в предыдущих главах, какой бы смысл Пушкин ни вкладывал в стихотворение, распространяя «Стансы», он только усугублял наметившийся еще весной 1827 г. конфликт между ним и либеральной частью русского общества. Даже отношения с верным Вяземским в начале 1828 г. явно переживают кризис, и дело здесь, как нам представляется, не только в нескольких не вполне благожелательных оценках, данных Вяземским поэме «Цыганы», а прежде всего в том, что рубеж 1827–1828 гг. — это пик оппозиционности Вяземского²⁵, а для Пушкина — период наиболее явных попыток прийти к компромиссу с властью.

Пушкин остро переживает разлад между ним и обществом и понимает, что обнародование «Ариона» со строкой «Спасен Дельфином, я пою», аллюзивный смысл которой не ускользнул бы от современников, только усугубило бы его. Видимо, в этом причина того, что поэт не делает попыток опубликовать стихотворение или же распространить его в копиях. Ситуация требовала от него бо-

лее прямого ответа, и в начале 1828 г. появляется стихотворение «Друзьям», где отводится обвинение в том, что «Стансы» написаны «по заказу», и утверждается свободный характер творчества. Черновик стихотворения содержит размышления Пушкина на весьма волновавшую его в это время тему «клеветы»: «Я жертва мощной клеветы»; «Ты знаешь — жертва клеветы»; «Презрев — ты знаешь — клеветы» (III, 643).

Однако к 1830 г. отношения поэта с большинством тех, кому оно было адресовано, наладились и окрепли. И только тогда, в июле 1830 г., в 43-м номере «Литературной газеты» был впервые опубликован «Арион», без подписи и с тринадцатой строкой, измененной в четвертый раз. Теперь она звучала так: «Я песни прежние пою».

Какие же обстоятельства сделали возможной публикацию и предопределили ее анонимный характер? Нам представляется, что в первую очередь — новая волна толков о сервиллизме поэта, инспирированная литературными противниками Пушкина, которые использовали эти инсинуации как важнейшее средство газетно-журнальной полемики. В марте 1830 г. «Северная пчела» Ф. Булгарина опубликовала «Анекдот», явившийся грубым пасквилем на Пушкина («Бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан»)²⁶.

Так клевета сделалась достоянием толпы. Это произошло как раз в тот момент, когда отношения Пушкина с властью вновь испортились, а кризис во взаимоотношениях с друзьями был преодолен и сложилось то, что М. И. Гиллельсон назвал «пушкинским кругом писателей». Выпад Булгарина был мезью поэту за то, что тот не скрывал своего мнения о почтенном издателе «Северной пчелы» как о тайном агенте Третьего отделения; именно Булгарина Пушкин считал жандармским рецензентом «Бориса Годунова», из корыстных соображений отсрочившим публикацию трагедии более чем на год. В начале апреля «Литературная газета» опубликовала статью Пушкина о Видоке, агенте французской политической полиции; в последнем все без труда узнали Булгарина.

В мае журнальная война вступила в новую фазу в связи с публикацией стихотворения Пушкина «К вельможе»²⁷. «Все единоглас-

III. Когда потребовал поэта...

но пожалели об унижении, какому подверг себя Пушкин», — вспоминал в связи с этим Кс. А. Полевой²⁸, понимая под «всеми» прежде всего своего брата, Н. А. Полевого, выступившего против Пушкина вместе с Булгариным.

43-й номер «Литературной газеты», в котором был помещен «Арион», почти целиком состоял из ответных реплик писателей пушкинского круга. Стихотворение, написанное тремя годами ранее, нашло здесь свое естественное место и воспринималось как обобщение опыта трудных лет. В нем больше не было и намека на «чудесного спасителя».

Двумя важнейшими мотивами оно перекликается с посланием «К вельможе», вызвавшим такую оживленную полемику. Прежде всего общим стал мотив неожиданной бури. В «Арионе»: «Вдруг лоно волн / Измял с налету вихорь шумный...» (III, 58). В послании «К вельможе» о французской революции: «Всё изменилось. Ты видел вихорь бури, / Падение всего, союз ума и фурий...» (III, 219). Другое важное сходство — утверждение неизменной самооценности творческой личности, выключенной из исторического процесса. То, что в «Арионе» изображается Пушкиным как чудесное спасение, в послании «К вельможе» показано как сознательная позиция «героя» стихотворения.

Немаловажен вопрос о том, почему публикация «Ариона» была анонимной. Традиционная версия, объясняющая это обстоятельство цензурными причинами, не представляется нам убедительной, поскольку в 1831 г. Пушкин включил стихотворение в список для нового издания своих сочинений.

Анонимный характер публикации «Ариона», сам контекст, в котором стихотворение появилось в печати (в полемическом номере «Литературной газеты»), свидетельствуют о том, что Пушкин хотел избежать биографических «сближений». И дело здесь не только в том, что поэт боялся дать повод для очередных упреков в сервиллизме (хотя очень может быть, что мотив «чудесного спасителя» — Дельфина — исключен из стихотворения именно по этой причине). Представляется, что «Арион» призван был обобщить личный опыт не только Пушкина. Действительно, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер, П. А. Катенин, П. А. Вяземский, О. М. Сомов — каждый из

них пережил к этому времени «бурю», ставшую поистине «всеобщей», хотя порой, как это было в случае с Катениным и Вяземским, лишь косвенно связанную с событиями 14 декабря.

О стремлении Пушкина объективизировать смысл стихотворения свидетельствует характер последней правки, когда повсюду он заменил первое лицо («нас», «я») на третье («их», «он»). В этом проявилось, как кажется, желание не столько отстраниться от ситуации, сколько придать ей характер как можно более универсальный и символический. Несомненно, поэт предвидел опасность узкобиографического, а значит и аллегорического, прочтения. Напомним, что незадолго до публикации «Ариона» ему пришлось принять участие в полемике, развернувшейся вокруг «Демона». Большинство критиков увидели в этой пушкинской элегии отражение личного опыта поэта. «[Думаю, что критик ошибся], — отвечал на подобное предположение Пушкин. — Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в “Демоне” цель иную, более нравственную» (1825 г. — XI, 30).

По мысли поэта, дело совсем не в том, отражает или нет стихотворение «Демон» конкретные обстоятельства его жизни, важно и нравственно то, что здесь поэт обобщил духовный опыт своего века: «И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения? и в приятной картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оною на нравственность нашего века» (Там же). Привязка «Демона» к каким-то конкретным обстоятельствам жизни Пушкина лишала стихотворение этого обобщающего значения, делала его однозначной аллегорией, а не символом.

Можно было бы обвинить современников поэта в простом непонимании пушкинской поэзии, в неумении оценить универсальный характер его произведений. Однако несомненно, что причиной тому была некоторая инерция читательского восприятия, в значительной степени заданная самим Пушкиным, который в первой половине 1820-х годов стремился создать образ «романтического поэта». Достигалось это простым и действенным спо-

III. Когда потребовал поэта...

собом: например, в письмах поэт намекал издателю (А. А. Бестужеву, письмо от 29 июня 1824 г. — XIII, 100–101) и брату (13 июня 1824 г. — XIII, 97–98; а значит, и всем общим знакомым: «скромность» Льва была хорошо известна), что напечатанные в «Полярной звезде» лирические стихотворения имеют своим адресатом реальную женщину. Подобные же намеки создавали впечатление, что и «Бахчисарайский фонтан» вдохновлен ее образом. По поводу большинства стихотворений Пушкина первой половины 1820-х годов у современников были основания предполагать, что в них заключены интимные признания поэта. Что же касается стихотворения «Демон», то дружеская переписка Пушкина (например, письмо к поэту С. Г. Волконского от 18 октября 1824 г.) бесспорно доказывает, что в узком дружеском кругу поэт действительно называл «демоном» («Мельмотом») А. Н. Раевского, что запечатлелось в памяти многочисленных мемуаристов и спровоцировало узкобиографическую трактовку произведения, заслонившую более глубокий его смысл.

Трудно сказать, с какого именно момента, но никак не позднее 1827 г., процесс объективизации лирики, и прежде характерный для пушкинского творчества, стал доминировать. Это привело к тому, что в его стихотворениях стало маркироваться отражение опыта поколения, исторической эпохи, культуры, как ранее маркировался личный опыт.

Чем объяснить такой поворот в пушкинском творчестве? возможно, например, тем, что после 14 декабря 1825 г. Пушкин перестал воспринимать свою судьбу как некоторое исключение на фоне относительно благополучных судеб своих современников. Ведь мало кто из них до 1825 г. подвергался таким настойчивым преследованиям правительства. Трагедия, которую пережило большинство пушкинских современников после 14 декабря, показала, что в общем «челне» было немало людей со сходной судьбой. Несомненно, что это ощущение своей включенности в эпохальные процессы и сделалось важнейшим слагаемым пушкинского историзма, подобно тому как ранее ощущение исключенности (а не исключительности) было основой его романтического субъективизма.

Мифологизация пушкинского творчества подразумевала восприятие биографии и творчества как нерасторжимого единства.

В этом проявлялся специфический для мифологического сознания синкретизм слова и действия. Написание каждого лирического стихотворения осмыслялось не просто как обобщение индивидуального опыта поэта, но и рассматривалось читающей публикой как поступок.

С середины 1827 г. такой подход перестал устраивать Пушкина еще и потому, что он противоречил осторожно выбираемой поэтом новой социальной роли. Идеалом здесь стал не Байрон, а Карамзин, для которого принципиальным было выделение «частной жизни» в непроницаемую для публики сферу.

Между тем читатели продолжали воспринимать пушкинские стихотворения в рамках того романтического мифа, который сам поэт фактически инспирировал в первой половине 1820-х годов.

Пушкин боролся с этой инерцией восприятия, стремясь закрыть для широкого читателя доступ к биографическому контексту своих произведений (поэтому «Арион» был опубликован анонимно). Так, наряду с образцами «чистой» лирики появляются такие произведения, как «Стансы» и «Бородинская годовщина», где значимым оказывается надличностное, в форме «национального», например. «Арион» в этом отношении произведение пограничное, любопытное в том отношении, что Пушкин пытался его «демифологизировать», так сказать, «задним числом».

1. Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 160.

2. См.: *Непомятый В. С.* Поэзия и судьба. М., 1987. С. 88–127.

3. См., например: *Розанов И. Н.* Пушкин — певец свободы // А. С. Пушкин: Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951. С. 112; *Рождественский В. А.* Читая Пушкина. Л., 1962. С. 153–158.

4. *Пугачев В. В.* Из эволюции мировоззрения Пушкина конца 1820 — начала 1830-х годов («Арион») // Проблемы истории, взаимосвязей русской и мировой культуры. [Ч. 1]. Саратов, 1983. С. 52–53.

5. См.: Хроника // Пушкин: Сб. 1 / Ред. Н. К. Пиксанов. М., 1924. С. 291.

6. Там же.

7. *Цяловская Т. Г.* Отклики на судьбы декабристов в творчестве Пушкина // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 210.

III. Когда потребовал поэта...

8. *Суздальский Ю. П.* «Арион» Пушкина // Литература и мифология. Л., 1975. С. 7.

9. *Лорер Н. И.* Записки моего времени // Он же. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 204.

10. *Вацуро В. Э.* Пушкин в сознании современников // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 12.

11. Обзор их см.: *Эйдельман Н. Я.* Пушкин: Из биографии и творчества. М., 1987. С. 18–24.

12. Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа // Русская старина. 1900. Т. 101. С. 574.

13. *Погодин М. П.* Из «Дневника» // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 18.

14. *Вяземский П. А.* Мицкевич о Пушкине: Биографическое и литературное известие о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 125.

15. Цит. по: *Лемке М. К.* Тайное общество братьев Критских // Былое. 1906. Июнь. С. 46.

16. Цит. по: *Майков Л. Н.* Пушкин. СПб., 1900. С. 350.

17. См.: Дела III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906. С. 15–17.

18. Там же. С. 259–261.

19. Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине // Старина и новизна. 1903. Кн. 6. С. 6.

20. *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 годов. СПб., 1909. С. 484.

21. Изложение точки зрения Ю. М. Соколова см.: Хроника // Пушкин. Сб. 1. М., 1924. С. 291.

22. *Глебов Г. С.* Об «Арионе» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. Л., 1941. С. 301. Примеч. 2.

23. *Модзалевский Б. Л.* Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 73.

24. Там же. С. 70.

25. См.: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 176–177.

26. Северная пчела. 1830. 11 марта. № 30.

27. Литературная газета. 1830. 26 мая. № 30. См. об этом: *Вацуро В. Э.* «К вельможе» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. С. 177–213.

28. Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 304.

О дубиальности стихотворения «<Рефугация господина Беранжера>»

Стихотворение, озаглавленное в Большом академическом собрании сочинений Пушкина как «<Рефугация господина Беранжера>», было определено как «положительно не пушкинское» еще П. В. Анненковым¹. Эту точку зрения разделил Н. В. Гербель, так много сделавший для переатрибуции произведений, ошибочно приписываемых Пушкину². Поэтому ни в первое, ни во второе пушкинское собрание «<Рефугация...>» не вошла.

В 1861 году В. П. Гаевский опубликовал протокол лицейского заседания от 19 октября 1828 года, писанный рукою Пушкина, где, в частности, упоминалось: «Пропели рефугацию Беранжеру»³. Здесь же Гаевский привел список стихотворения, которое было исполнено лицеистами как «Рефугация Беранжеру» (в действительности стихотворение явилось ответом (рефугацией) не П.-Ж. Беранже, а другому французскому поэту-песеннику, Эмилю Дебро (Emile Debraux 1788–1831), на его стихотворение «Te souviens-tu, disait un capitaine...»). Список, приведенный Гаевским, не был пушкинским автографом и не включал в себя никаких указаний на пушкинское авторство стихотворения. То обстоятельство, что «Рефугацию...» пропели хором на лицейской сходке, конечно, автоматически не свидетельствует в пользу пушкинского авторства, поскольку здесь исполнялись песни разнообразного, в том числе и коллективного сочинения.

Пение стихотворения «хором» свидетельствует только о его распространенности среди лицейстов. На распространенность «Рефугации...» в русском обществе второй половины 20-х годов указывают также наличие копии стихотворения в известной тетради Каверина—Щербинина⁴ и, как установил Б. В. Томашевский, ноты соответствующей мелодии, расходившиеся вместе со списками⁵.

III. Когда потребовал поэта...

Хотя первый публикатор стихотворения, Гаевский, не привел никаких аргументов в пользу пушкинского авторства «<Рефутации...>», издатели собраний сочинений поэта, начиная с Г. Н. Геннади, стали включать его в основной корпус. Между тем автограф так и не был найден, а списки, как появившиеся в печати, так и входившие в различные рукописные сборники, никаких помет, указывающих на авторство Пушкина, не содержали.

Бытовавшее среди издателей отношение к «<Рефутации...>» как к пушкинскому стихотворению, можно было бы считать недо-разумением (вызванным, например, тем, что Геннади и П. А. Ефремов посчитали список Гаевского автографом Пушкина). Итак, это могло быть просто не столь уж редким в профессиональной среде предрассудком, если бы не прозвучавшее в конце 60-х годов, в ответ на публикацию Анненкова и Гербеля, мнение П. А. Вяземского, утверждавшего, что «<Рефутация...>» написана все-таки Пушкиным⁶. И это был первый серьезный аргумент в пользу пушкинского авторства.

Конечно, насколько мнение Вяземского является лишь косвенно подтверждающим авторство Пушкина, настолько не прямыми доказательствами противного являются утверждения Анненкова и Гербеля. Решающие аргументы в таких случаях дает текстология. Обращение же к ней показывает следующее: при отсутствии автографа существует значительное количество списков стихотворения, из которых Академическое собрание сочинений выделяет десять в качестве источников текста «<Рефутации...>» (III, 1152).

Анализ существующих источников (вернее, доступных нам; часть из списков, указанных в Полном собрании сочинений, обнаружить не удалось) показывает, что они не сводятся к единому инварианту. Выделяются по крайней мере три варианта текста: копии Щербинина—Каверина; Гаевского и Г. С. Чирикова⁷.

По поводу этого М. А. Цявловский в текстологической заметке к стихотворению в Полном собрании сочинений (подписанной его инициалами «М. Ц.») отмечает: «Сохранившиеся тексты воспроизводят, надо полагать, записи по памяти, чем объясняется большое количество разночтений. Этих разночтений не даем» (III, 1152).

В примечании к публикации лицейского протокола от 19 октября 1828 года Цявловский был еще определеннее, заметив, что «канонического текста стихотворения не существует»⁸. Однако именно многочисленность разночтений в списках стихотворений (объявленных самим же М. А. Цявловским источниками текста) и их характер указывают на сомнительность авторства Пушкина.

Можно определенно утверждать, что современники «Рефутации...» не относились к стихотворению как к пушкинскому тексту. Об этом свидетельствует, помимо отсутствия владельческих помет об авторстве Пушкина, слишком смелое вторжение переписчиков в текст списков.

Поясним нашу мысль следующими соображениями: известно всего лишь 11 пушкинских стихотворений, имеющих равное или большее количество списков, чем «Рефутации...»⁹, но ни одному из этих стихотворений не соответствует такое количество разночтений. Отсутствие автографа и большое количество списков (значительно превышающее количество списков «Рефутации...») имеется у стихотворения «Во глубине сибирских руд...». Однако сравнение списков послания не оставляет сомнений в том, что многочисленные переписчики его ориентировались на некий авторитетный прототип, которым, по всей вероятности, был список, принадлежавший И. И. Пущину. Это пример отношения к тексту как «пушкинскому». Списки «Рефутации...» — яркий пример другого отношения. Те из них, которые можно уверенно датировать до 1861 года (т. е. собственно Гаевского, Чирикова и Каверина) сделаны со слуха или с разных источников: единообразие в копиях начинается только после публикации Геннади. Вступает в действие механизм отношения к тексту как написанному Пушкиным.

В 1955 году вышло первое (после академического) полное научное издание лирики Пушкина — 1-й том трехтомника в Большой серии «Библиотеки поэта». Составитель и комментатор тома

III. Когда потребовал поэта...

лирики Б. В. Томашевский не включил «<Рефугатию...>» в корпус пушкинских стихотворений. К сожалению, ученый не оставил никакого объяснения этому нетривиальному обстоятельству¹⁰.

Несводимость различных вариантов «<Рефугатии...>» к единому инварианту есть косвенный, но весьма серьезный аргумент против авторства Пушкина. Однако при возможной переатрибуции стихотворения следовало бы принять во внимание еще и следующее обстоятельство. М. А. Цявловский справедливо, на наш взгляд, датирует стихотворение концом 1827 года на том основании, что более раннего списка, чем копия «<Рефугатии...>» Каверина—Щербинина, не существует. Видимо, 1828 год и стал временем активного распространения стихотворения в обществе, естественно, вне всякой цензуры. Судя по тому, что Пушкин с «хором» исполнил «<Рефугатию...>» на встрече лицеистов 19 октября 1828 года, он сам способствовал его неподцензурному распространению.

Между тем ситуация 1828 года абсолютно исключала возможность неподцензурного распространения Пушкиным своих сочинений. Именно в этот период, несмотря на внешнее улучшение отношений поэта с властью, был особенно ужесточен цензурный и полицейский надзор над Пушкиным.

Как известно, император Николай I выразил желание стать цензором поэта. Пушкин понял это как возможность обращаться к императору только в тех случаях, когда его произведения задерживаются обычной цензурой; для А. Х. Бенкендорфа, который на деле осуществлял цензуру пушкинских произведений с помощью «верных» и, между прочим, до сего времени неизвестных литературных консультантов, — для Бенкендорфа «высочайшая цензура» подразумевала просмотр абсолютно всего того, что поэт предназначал как для печати, так и для любого обнародования. Как уже не раз говорилось, в конце 1826 года Пушкин получает один выговор за другим: за попытку опубликовать стихотворения (прошедшие цензуру) без ведома III отделения, за публичное чтение «Бориса Годунова». А. Х. Бенкендорф сформулировал свое понимание взаимоотношений поэта с цензурой следующим образом: «<...>дабы вы <Пушкин>, в случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до напечатания или распространения оных в руко-

писях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных, или через посредство мое, или даже и прямо, его императорскому величеству» (XIII, 307). Получив от Пушкина (9 декабря 1826 года) на предмет прочтения «Бориса Годунова», Бенкендорф не преминул напомнить о присылке «на сей же предмет все и мелкие труды блистательного вашего пера» (XIII, 312). А в мае (3 мая 1827 года), давая Пушкину разрешение приехать в Санкт-Петербург, Бенкендорф с присущей ему тактичностью напоминал поэту: «Его величество <...> не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано» (XIII, 329).

В августе 1827 года, возвращая Пушкину среди прочих произведений, отданных на высочайшее цензурирование, «Графа Нулина», Бенкендорф отметил два места, «кои его величество желает видеть измененными; а именно следующие два стиха: “Порою с барином шалит”, и “Коснуться хочет одеяла”» (XIII, 336).

Императора волновали отнюдь не только явные или скрытые политические мотивы в пушкинских произведениях. «Благородное и пристойное» поведение, к которому Бенкендорф призывал Пушкина, фактически исключало возможность одобрения «<Рефутации...>» официальной цензурой, а без такового Пушкин не решился бы его распространять.

Никогда надзор за творчеством и личной жизнью Пушкина не был так жесток, как в 1827–1828 годы. Помимо неприятностей с вновь написанными произведениями, начиналось дело о «Гавриилиаде», возобновлялось следствие по поводу «Андрея Шенье». Неблагодарное внимание жандармов привлекают и опубликованные произведения. Так, в издании «Цыган» Бенкендорфа «пугает» двусмысленная, с его точки зрения, виньетка.

Жандармские донесения сопровождают публичные мероприятия, в которых принимает участие поэт. Пушкин сам чувствовал глубокое недоверие правительства и делал все возможное, чтобы его преодолеть, и именно поэтому никогда ранее Пушкин не был так осторожен и осмотрителен, как в 1827–1828 годах¹¹. Вот почему несанкционированное распространение «<Рефутации...>» в это время представляется нам невозможным.

Об этом свидетельствует характер бытования списков пушкинских произведений этого периода в обществе: то, что не проходит цензуру или, как стихотворение «Друзьям», не получает официального разрешения на хождение в списках, долго ждет своего часа. Так, программное стихотворение Пушкина «после возвращения» — «Арион» — было опубликовано только в 1830 году (см. подробнее предыдущую главу). К числу исключений традиция относит распространение стихотворения «Во глубине сибирских руд...», поскольку, как считается, Пушкин передал его А. Г. Муравьевой именно в начале 1827 года. Вместе с тем ни один из списков послания определенно не относится к этому периоду, все они значительно более позднего происхождения. Что, конечно, не ставит под сомнение авторство Пушкина (автограф послания отсутствует), но определенно указывает на то, что сам Пушкин стихотворение «Во глубине сибирских руд...» в интересующий нас период не распространял.

Все вышесказанное дает, как кажется, основание вывести «<Рефугацию господина Беранжера>» из числа основных, бесспорно принадлежащих Пушкину, произведений и перевести стихотворение в разряд дубиальных.

Почему все-таки дубиальных? Потому что свидетельство Вяземского остается хотя и не однозначным, но все-таки серьезным аргументом в пользу авторства Пушкина, на котором следует особо остановиться.

К середине 1850-х годов, т. е. к тому времени, к которому относится это свидетельство, в русской литературе сложилась определенная традиция пародирования — перефразирования стихотворения Э. Дебро «*Te souviens-tu, disait un capitaine...*». Кроме известного произведения Курочкина¹² можно назвать пародию С. Н. Голицина¹³ и стихотворение самого Вяземского¹⁴. Причем, как это следует из авторского предисловия к публикации Голицина, на форму его пародии повлиял Вяземский.

Именно Вяземский, как в 1827 году, так и позднее, испытывал глубокий интерес к французским поэтам-песенникам, использовал форму куплета в своей поэзии¹⁵. И наконец, один из ранних (до публикации Гаевского) списков «<Рефугации...>» имеет помету

переписчика: «Стихотворение это написано не Пушкиным: его приписывают князю Вяземскому»¹⁶. Все это позволяет допустить, что последний имел к созданию стихотворения какое-то отношение. Возможно, перед нами плод коллективного сочинения. Нельзя не учесть также тенденциозность Вяземского, выступившего в годы Крымской войны с рядом антифранцузских стихотворений¹⁷. В этих условиях, как можно предположить, ему было важно настоять на пушкинском авторстве такого злободневного для середины 1850-х годов сочинения, каким выглядела тогда «<Рефутация...>». А возможно, пожилому поэту просто изменила память.

1. См.: *Гербель Н. В.* Сочинения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание сочинений. Берлин, 1861. С. X.

2. Там же. С. VII–XIII. Гербель отвел авторство Пушкина от двадцати произведений и оказался прав в девятнадцати случаях: исключение могло бы составить только стихотворение «<Рефутация...>».

3. *Гаевский В. П.* Празднование лицейских годовщин в Пушкинское время // Отечественные записки. 1861. № 1. С. 36. См. также: Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 735.

4. См.: *Щербачев Ю. Н.* Приятели Пушкина Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин. М., 1912. С. 127–128.

5. *Томашевский Б. В.* Заметки о Пушкине: Рефутация Беранжера // Пушкин и его современники. Вып. 36. Л., 1928. С. 119–122.

6. См.: Князь Вяземский и Пушкин. Публ. Н. Барсукова // Старина и новизна. М., 1904. Т. 8. С. 33.

7. См.: *Чириков Г. С.* Заметки на новое издание сочинений Пушкина // Русский архив. 1881. № 1. С. 201–202.

8. Рукою Пушкина. С. 733.

9. А именно: «<На Стурдзу>» («Холоп венчанного солдата...») (1819); «<На князя А. Н. Голицына>» («Вот Хвостовой покровитель...») (1819) — 15; «Ты и я» (1819) — 10; «<К портрету Чедая>» (1820) — 13; «Десятая заповедь» (1821) — 27; «Накажи, святой угодник...» (1822) — 12; «Во глубине сибирских руд...» (1827) — 23; «На картинки к “Евгению Онегину” в “Невском альманахе”» (1829) — 11; «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» (1830) — 13; «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...» (1832) — 11; «<Мирская власть>» (1836) — 10.

10. На это обстоятельство обратил внимание В. Д. Рак в своей статье о «<Рефутации...>», написанной для Пушкинской энциклопедии (в печати). Им

III. Когда потребовал поэта...

было также отмечено и то, что Б. В. Томашевский последовательно исключал сомнительный текст из подготовленных однотомников 1935, 1936, 1937 и 1938 гг. Однако по неизвестным причинам стихотворение все же попало в сер. 1950-х гг. в Юбилейное (Малое) собрание сочинений Пушкина.

11. См. главу «Декабрист или сервилист? (Биографический контекст стихотворения “Арион”)» наст. изд.

12. См.: *Курочкин В. С.* «Ты помнишь ли, читатель благосклонный» // Поэты «Искры». Л., 1939. (Б-ка поэта. Малая сер.) С. 79–80. См. также: Там же. С. 462–465 (примечания).

13. *Голицын А. С.* Песнь, петая русским гренадером в Париже французскому нищему ветерану в ответ «Te souviens-tu!». Ленчица, 1849. (Отд. изд.) В сопроводительной рукописной записке Н. Н. Голицына, передавшего это раритетное издание в Публичную библиотеку в 1870 году, сказано, что список стихотворений Голицына имелся у С. А. Соболевского (шифр РНБ — 18.167.3.76). См. об этом: Остафьевский архив... СПб., 1899. Т. 1. С. 675; Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1870. СПб., 1871. С. 134. Об А. С. Голицыне (1789–1858) см.: *Голицын Н. Н.* Материалы для полной родословной росписи князей Голицыных. Киев, 1880. С. 143–144.

14. *Вяземский П. А.* «Не помните?» («У вас, господ, из шайки Бонапарта...») // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1887. Т. 11. С. 115–116.

15. См. об этом: *Гинзбург Л. Я.* П. А. Вяземский [Вступ. ст.] // Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. (Библиотека поэта. Большая серия). С. 35–37.

16. ПД. Оп. 8. № 63. Л. 27 об.

17. О тенденциозности позднего Вяземского в освещении событий пушкинской эпохи см.: *Мироненко М. П.* Из истории русской исторической журналистики: (переписка П. А. Вяземского и П. И. Бартенева) // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1985. М., 1987. С. 48–58.

IV.

*Радищев и Карамзин
в творческом сознании
Пушкина*

Швейцарская тема в «Вестнике Европы» Н. М. Карамзина

Важную роль швейцарской темы в творчестве Карамзина отмечали многие исследователи¹. Для писателя просветительской ориентации, каким был Карамзин, Швейцария представлялась той идеальной страной, где интересы личности гармонично сочетались с общественным благом². Здесь, на лоне прекрасной и суровой природы, сохраняются древние добродетели, что, по мнению Монтескье, и является залогом нормальной жизнедеятельности любой республики. Определенную роль в идеализации образа Швейцарии для Карамзина и писателей-сентименталистов играло и то, что ее уроженцем был Ж.-Ж. Руссо³.

Отношение Карамзина к Швейцарии не было одинаковым на протяжении его жизненного и творческого пути. В 1790-е гг. оно с наибольшей полнотой проявилось в «Письмах русского путешественника», где Швейцария противопоставлялась как феодальной Германии, так и революционной Франции⁴. Но уже в «Письмах...», несмотря на приподнятый тон описания («мир и тишина царствуют в щастливой Гельвеции»)⁵, слышатся нотки обеспокоенности Карамзина за судьбу страны, которая далеко не во всех частях так счастлива и богата, как хотелось бы русскому путешественнику. От его взгляда не укрывается, что в Женевской республике «поселяне <...> беднее, нежели в Бернском и Цирихском кантонах»⁶, спокойный патриархальный быт Берна и Цюриха противопоставлен жизни Женевы и Лозанны, уже подверженной влиянию революционной Франции. И все-таки при этом Карамзин далек от того, чтобы придавать существующим межкантональным противоречиям слишком серьезное значение. «Да будет их <женевцев> Республика многая, многия лета прекрасною игрушкой на земном шаре», — так заканчивает Карамзин свой рассказ о путешествии по Швейцарии.

Если в «Письмах русского путешественника» швейцарская тема изучена довольно хорошо, то значительно реже подвергалась анализу эволюция отношения Карамзина к Швейцарии. Между тем именно в последний период писательской деятельности Карамзина, во время работы в «Вестнике Европы», после длительного перерыва швейцарская тема вновь заняла то место в его творчестве, которое она имела в начале 90-х гг.

Политические новости из Швейцарии занимают ведущее место во внешнеполитическом разделе «Вестника Европы» за 1802 г. Впервые о событиях в этой стране говорится в 1 номере журнала в полностью приведенном Карамзиным «изображении состояния Французской республики, представленном консулами Законодательному совету», подписанном Наполеоном. Оценка внутреннего положения Швейцарии, данная здесь первым консулом: «Гельвеция осталась в буре без кормчего»⁷, — полностью вошла в обзор швейцарских событий, данный Карамзиным в 3 номере «Вестника Европы»: «Потомки Телевы имеют нужду в великом человеке, который мог бы решительно действовать на умы и соединять их в одну волю; но Бонапарте справедливо сказал, что Швейцария осталась на волнах без кормчего» (3, 101). В других номерах журнала, где также были помещены известия из Швейцарии (9, 75; 10, 177; 16, 321–323), внутривнутриполитическое положение страны характеризовалось как спокойное в целом, но нестабильное. Исключение составило «Письмо из Берна», где утверждалось, что «Гельвеция, испытав разные Конституции, после долговременного волнения утвердила, наконец, правление, которое кажется ей лучшим и сообразнейшим с пользою разных частей ее» (16, 321).

В 17 номере журнала появляется первое сообщение о событиях, которые с этого времени неизменно будут приковывать внимание Карамзина: о гражданской войне между большими и малыми кантонами Швейцарии. В 20 номере, в «Письме из Берна от 14 сентября», положение страны оценивалось так: «Сия несчастная страна представляет теперь все ужасы междоусобной войны, которая есть действия личных страстей, злобного и безумного эгоизма» (20, 322). В этом же очерке охарактеризована главная (по мнению Карамзина) пружина гражданской войны: столкновение политиче-

ских интересов аристократов Берна с интересами демократического большинства других кантонов. При этом аристократы, и прежде всего Рудольф фон Эрлах, изображаются как возмутители крестьянской массы, а сама гражданская война показана как крестьянский бунт: «Между тем начался бунт в Аргау и в Бадене. Вооруженные крестьяне, под начальством Эрлаха, бывшего знатного аристократа в Берне, завладели Баденом, Бругом и Ленцбургом; даже и бернские крестьяне бунтуют, требуя учреждения всеобщей демократии <...> Базель от 18 сентября. Слышно, что вооруженные крестьяне взяли Арбург и прямо идут к Берну; говорят даже, что и Берн захвачен ими. Если так, то у нас нет правительства. С часу на час ожидаем французов <...> Эрлах, возмутитель крестьян, называющий себя генералом и восстановителем старой Конституции, недолго будет храбровать. Фамилия Эрлах была издревле славнейшею и богатеяшею в Бернском кантоне. Она отличалась всегда особенною привязанностию к аристократии» (20, 323–324).

Следующий репортаж из Швейцарии продолжает обзор гражданской войны в том же стилистическом ключе и с теми же смысловыми акцентами. Главным действующим лицом событий остается здесь генерал Эрлах, хотя о фактическом руководителе конфедератов — Алоизе Рединге — и говорится как об «истинной душе мятежников. Но и тогда указывается на то, что «подкрепляют его прежние бернские аристократы, которые хотят возвратить утраченную власть и знатность; народ же есть только слепое их орудие» (21, 74).

Итак, аристократы во главе крестьянских армий, по мнению автора репортажей, главные виновники «падения Швейцарии» и вторжения в страну французских войск.

Но вот с помощью иноземной армии в стране устанавливается относительное спокойствие и встает вопрос о выработке нового законоположения взамен отмененной Конституции. Размышляя о том, кто мог бы стать его создателем, Карамзин так характеризует генерала Эрлаха: «Генерала Эрлаха, <...> актера сей новой революции, знаем мы только как автора дурной книги, изданной лет за десять перед сим: не такие люди решают судьбу государств, не такие умы дают мудрые законы» (22, 156).

Обзор швейцарских событий 1802 г. включает статья «Гельветическое правительство возвратилось с честью из Лозаны в Берн...» (23, 246–248). Отношение автора репортажей к такому финалу гражданской войны неоднозначно. Хотя его антипатии к «друзьям Рединга или конфедератам» очевидны, заключительный эпизод междуусобных волнений рисуется так: «Когда Бонапарте велел объявить сейму, что он уничтожается, то Рединг отвечал: “Мы не будем противиться французам, но у нас есть оружие, которое сам Бонапарте уважает: справедливость и потомство!” Ответ трогательный, если истинная любовь к отечеству говорила устами сего гражданина» (23, 246).

Для того чтобы иметь возможность соотносить содержание швейцарских публикаций «Вестника Европы» с общественной позицией самого Карамзина (это в конечном счете и является нашей задачей), необходимо установить степень участия писателя в их создании. В этом отношении вопрос значительно облегчен тем, что центральная статья цикла (из 20 номера) признана своею самим Карамзиным и под заглавием «Падение Швейцарии» вошла в собрание его сочинений⁸. Кроме того, установлена принадлежность Карамзину следующих статей швейцарского цикла: «Мы угадали, что новая швейцарская Конституция будет недолговечна...» (10, 177), «Гельвеция, испытав разные Конституции...» (26, 321), «Уверяют, что швейцары наконец во всем согласны...» (22, 155–161), «Президент Швейцарского сейма, славный Алойс Рединг...» (24, 330–335)⁹. Таким образом, из ключевых статей швейцарского цикла не установлено авторство только статей «Швейцары, к несчастью и стыду своему, исключительно занимают теперь внимание Европы...» (21, 73–78) и «Гельветическое правительство возвратилось с честью из Лозаны...» (23, 246–248). Стилистическая и тематическая соотнесенность их с другими статьями этого цикла очевидна. При этом, поскольку стилистические особенности статей не являются предметом нашего рассмотрения, мы не настаиваем на оригинальном происхождении швейцарских корреспонденций и допускаем наличие неизвестных нам их зарубежных источников¹⁰. Более существенным представляется то, что во всех статьях о Швейцарии осуществлен еди-

ный принцип отбора материала, безусловно отражающий авторскую волю Карамзина: все многообразие событий гражданской войны сводится к крестьянским волнениям, причем главной фигурой очерков становится не А. Рединг, а бернский аристократ Рудольф фон Эрлах (1749–1810), чья реальная роль в происходивших событиях была значительно скромнее той, которую приписал ему Карамзин¹¹.

В историю Швейцарии Р. Эрлах вошел не только как генерал гражданской войны, но и как писатель, автор нескольких произведений: «Le Code du bonheur...» (Geneve, 1783)¹², «La moraliste aimable» (Amsterdam, 1788), «Précis des devoirs des souverains» (Lausanne, 1791). Трудно предположить, какую именно из них Карамзин называет «дурной книгой, написанной лет за десять перед сим». Да и сам выбор Эрлаха в качестве главного действующего лица швейцарских очерков был бы необъясним, если бы не трехкратное упоминание фамилии Эрлах в «Письмах русского путешественника», где она характеризуется как «знатнейшая в Бернском кантоне»¹³ (ср.: «Фамилия Эрлах была издревле славнейшею и богатейшею в Бернском кантоне» (20, 324). В «Письмах...» содержатся два мрачных сюжета о роде Эрлахов, а сам род, видимо, олицетворял для Карамзина «бернский аристократизм <...> самый строжайший в Швейцарии», когда «некоторые фамилии присвоили себе всю власть в Республике; из них составляется Большой Совет и Сенат <...> все прочие жители не имеют участия в правлении. Число сих аристократических или господствующих фамилий беспрестанно уменьшается; они могут сообщать свои права другим фамилиям, но это редко бывает»¹⁴.

Итак, швейцарские репортажи Карамзина — это пристрастный рассказ, отражающий не только, а порой и не столько действительное течение событий, сколько симпатии или антипатии самого Карамзина. Тенденциозный характер «Вестей из Швейцарии» особенно очевиден при сравнении того, что печаталось в «Вестнике Европы», со швейцарскими корреспонденциями «Политического журнала», единственного русского журнала, который по обилию швейцарских новостей может быть сравним с «Вестником Европы».

«Политический журнал» хотя и уделяет определенное внимание крестьянским волнениями в кантонах (1801. III. 16), гораздо более подробно и тщательно характеризует внешнеполитическое положение страны, а внутреннее отнюдь не сводит к противостоянию больших и малых кантонов и к крестьянским волнениям (1802. I. 288; III. 66, 152, 244; IV. 211). Главное, что занимает «Политический журнал», это взаимоотношения Швейцарии с прилегающими странами, прежде всего с Францией. Внутри республики журнал выделяет несколько противоборствующих сил, подробно характеризуя лидеров каждой из них. Имя Эрлаха при этом не упоминается (1802. IV. 111).

Заметное место занимает швейцарская тема в газете «Московские ведомости», которая, без сомнения, находилась в поле зрения Карамзина. Здесь с января по декабрь 1802 г. появляется около пятидесяти корреспонденций из Швейцарии; в период с октября по начало декабря новости из «славной Гельветии» присутствуют практически в каждом номере газеты. Рассказ о крестьянских волнениях содержится в таких обзорах событий в Швейцарии, как «В Кантоне Леманском действительно обнаружилась ужасная междоусобная война...» (XI, 14 июня. 696–697), в известиях из Цюриха от 14 сентября и из Берна от 14 и 15 сентября (LXXXVI, 25 окт. 1126–1128). Да и другие сентябрьские известия из Швейцарии содержат в себе тот или иной материал о крестьянских волнениях, при этом неоднократно упоминается имя генерала Эрлаха. И все-таки основной акцент сделан из межкантональном характере гражданской войны. Причем, если «Ведомости» стараются помещать репортажи, рассказывающие о событиях с разных точек зрения (и с точки зрения конфедерата, стоящего на стороне А. Рединга, и с точки зрения сторонника единой Швейцарии, приверженца Гельветического правительства), то «Вестник Европы» Карамзина излагает события предельно односторонне. Симпатии Карамзина явно на стороне правительства Гельветии, пользующегося поддержкой Франции (бернские конфедераты ориентировались на Англию). Столь односторонняя точка зрения Карамзина шла вразрез с официальной позицией, которую занимала Россия по отношению к гражданской войне в Швейцарии. Русский посол во Франции ре-

шительно возражал против вторжения в Гельвецию французских войск, однако вторжение все-таки произошло и решило исход гражданской войны в пользу федерального правительства.

Чем же определен столь специфический интерес Карамзина к крестьянским волнениям в Швейцарии и к той роли, которую играла в них старинная аристократия? Задаваясь этим вопросом, необходимо вспомнить следующее замечание Ю. М. Лотмана: «Анализ статей “Вестника Европы” Карамзина и изучение редакторских принципов последнего убеждает нас в том, что весь помещаемый в журнале материал посвящался обсуждению в косвенной форме остро актуальных, а иногда и опасных в цензурном отношении вопросов внутренней жизни России тех лет»¹⁵.

Одним из самых важных вопросов общественной жизни России 1801–1802 гг. был крестьянский вопрос. В мае 1801 г. сам император Александр I предложил проект закона, запрещающего продажу крестьян без земли. Законопроект встретил сильное сопротивление. Государственный совет напоминал, что «волнения 1762 и 1796 годов произошли по менее основательным предложениям, и выражал опасение, чтобы крестьяне, а особенно толпы праздных и по большей части буйных и развратных дворовых людей, приняв установление сие за уменьшение или совершенное уничтожение прав помещичьих, не возмечтали, что сим сделались они вольными»¹⁶.

Поддерживали императора только его ближайшие друзья, чуть позже составившие «Негласный комитет», и А. Р. Воронцов, покровитель А. Н. Радищева, единственный из екатерининских вельмож, оставшихся в правительстве, разделявший антикрепостнические устремления нового императора. К марту 1802 г. Воронцов, как считают многие исследователи, вместе с Радищевым или, по крайней мере, не без его влияния, составил новый проект закона, запрещающего продавать крестьян без земли¹⁷.

Ситуацию этого времени большинство дворян воспринимало как попытку самодержавия покуситься на одно из важнейших прав русского дворянства — право неограниченного владения крепостными. Г. Р. Державин, например, крайне резко охарактеризовал графа Н. П. Румянцева, автора одного из крестьянских проектов, на-

звав при этом «молодых друзей» императора «якобинскою шайкой»¹⁸. Антидворянский характер предполагаемых реформ хорошо понимали и сами молодые друзья императора¹⁹.

Летом 1802 г., в самый разгар споров по крестьянскому вопросу, Карамзин выступил с программной статьей «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», где с предельной ясностью сформулировал свое отношение к развернувшейся полемике: «Сельское трудолюбие награждается ныне щедрее прежнего в России, и чужестранные писатели, которые беспрестанно кричат, что земледельцы у нас несчастливы, удивились бы, если бы они могли видеть их возрастающую промышленность и богатство многих; видишь так называемых рабов, входящих в самые торговые предприятия, имеющих доверенность купечества и свято исполняющих свои коммерческие обязательства! Просвещение истребляет злоупотребление господской власти, которая и по самим нашим законам не есть тиранская и неограниченная. Российский дворянин дает нужную землю крестьянам своим, бывает их защитником в гражданских отношениях, помощником в бедствиях случая и природы: вот его обязанности! За то он требует от них половины рабочих дней в неделю: вот его право!» (12, 316).

Как видно из приведенного отрывка, статья Карамзина направлена отнюдь не только против «иноземных писателей». В споре самодержавия с дворянством по крестьянскому вопросу Карамзин был явно на стороне дворянства, утверждая его автономию в отношениях с крестьянами.

Параллельно с крестьянским вопросом в русском обществе активно обсуждалась проблема ограничения самодержавного правления. В июне 1801 г. эта тема была публично поставлена на обсуждение самим императором в запросе о правах Сената. Одновременно русское дворянство присматривалось к деятельности только что созданного Государственного совета и с недоброжелательным интересом следило за работой «якобинской шайки» — Негласного комитета.

В феврале 1802 г., в пору собраний Негласного комитета, в «Вестнике Европы» было напечатано «Письмо из Константинополя», где, описывая беспорядке и безначалие, царящие в Турции, Карамзин

утверждал: «Турецкое правление есть уже не древнее деспотическое, на темном Алькоране и воле султана основанное, но совершенная аристократия <...> Намерение их <советников султана> состояло в том, чтобы ограничить власть великого визиря, и чтобы султан поручил внутреннее правление Государственному совету, или Дивану, который до того времени не мог ничего делать сам собою». Последняя часть письма содержит уже явную проекцию на русские события, в частности на деятельность Негласного комитета и на отношения, которые существовали между его членами еще до воцарения Александра I: «Гуссейн <один из членов Совета>, будучи невольником при Селиме <султана>, когда он в достоинстве наследника содержался под стражею, приобрел еще тогда любовь его²⁰ <...> Сии турецкие аристократы не смеют употреблять жестоких средств для хранения порядка, а слабые не помогают <...> Янычары <...> и войско <...> не чувствуют большой ревности сражаться за 10 аристократов, ни мало не заслуживших любви народной» (4, 79–82).

В дальнейшем Карамзин более явно выразил свое крайне негативное отношение к попыткам «аристократии» ограничить самодержавную власть. В «Записке о древней и новой России» (1811) писатель посвятил этому вопросу следующие строки: «В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: “можно, надобно только поставить закон еще выше государя”. Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они — угодники царя, во втором захотят спорить с ним о власти, — вижу аристократию, а не монархию»²¹.

Швейцарские статьи «Вестника Европы» с их главной темой — аристократы во главе крестьянских мятежей — также содержат параллели к русским событиям, затрагивая одновременно два основных вопроса, волновавших общество: о крепостном праве и об ограничении самодержавия. На примере страны, которая еще недавно представлялась писателю идеалом государственного устройства, Карамзин показывает, до чего, с его точки зрения, могут довести безудержная вольность и аристократические тенденции.

Адресация швейцарского цикла очень широка: статьи отражают общую обеспокоенность Карамзина направлением правительственных реформ. Вместе с тем представляется, что статьи имели и конкретных адресатов. К их числу следует отнести друга и покровителя Радищева графа А. Р. Воронцова, в начале александровского царствования пожалованного канцлером. Г. Р. Державин так характеризовал роль Воронцова в это время: «Все окружающие его <государя> были набиты конституционным французским и польским духом, как то: граф Чарторыжский, Новосильцев, Кочубей, Строганов, а паче всех и как атаман их граф Воронцов»²².

Действительно, в начале 1802 г. позиция Воронцова по крестьянскому вопросу и по ряду других государственных проблем превосходила по своей радикальности позиции членов Негласного комитета²³. Сочувствовавший Воронцову граф Адам Чарторыжский писал о нем совсем в «карамзинском» духе: «В нем <Воронцове> осталась закваска той старой либеральной русской аристократии, которая хотела, призывая на престол императрицу Анну, ограничить ее власть»²⁴.

О недоброжелательном интересе, который испытывал Карамзин к деятельности Воронцова, свидетельствует «Записка о древней и новой России», где подробно разбирается «Мнение о непродаже крестьян без земли» (1802) Воронцова. Главным аргументом в пользу своего законопроекта Воронцов считал возможность таким образом пресечь незаконную и насильственную продажу крестьян в рекруты²⁵. Poleмика по этому вопросу занимает важное место в «Записке...»²⁶.

Аргументы Карамзина направлены не только против «Мнения...» Воронцова, но и против главы «Городня» из «Путешествия...» Радищева, на которую ориентировался Воронцов при составлении своего «Мнения...»²⁷.

Анализируя идеологическое противостояние Радищева и Карамзина, Ю. М. Лотман выдвинул предположение, что замечания Карамзина по поводу «Гражданского уложения» Порталиса, помещенные в «Вестнике Европы», определенным образом направлены и против Радищева (со второй половины 1801 г. Радищев — член

Комиссии по составлению нового уложения)²⁸. Наконец, исследователь выдвинул гипотезу о том, что перевод статьи «О самоубийстве» из первого октябрьского номера журнала Карамзина за 1802 г. также явился своеобразным откликом писателя на смерть «первого революционера»²⁹.

Оба наблюдения носят проблемный характер. Никаким более конкретным материалом о взаимоотношениях Радищева и Карамзина мы не располагаем. Однако негативное отношение Карамзина к тому комплексу идей, который ассоциировался с именем Радищева, можно предполагать наверняка. По-видимому, отрицательно Карамзин оценивал и личность Радищева. Это во всяком случае следует из того, каким образом в 1802 г. Карамзин характеризовал Тайную канцелярию, жертвой которой, как известно, стал Радищев: «Хотя и оставалась еще некоторая тень мрачного тайного судилища; но под Ее <Екатерины> собственным, мудрым надзиранием оно было забыто добрыми и спокойными гражданами <...> в царствование Екатерины одни преступники, или явные враги Ее, следовательно враги общего благоденствия, страшились пустынь Сибирских; для одних извергов отверзлась сей хладный гроб живых»³⁰. Компетентный читатель, в том числе и Александр I, которому было посвящено «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1802), знал, конечно, что Радищев был в числе как «врагов общего благоденствия», так и среди «извергов», для которых «отверзлась Сибирская пустыня».

Радищев в 1802 г. виделся Карамзину уже не опальным писателем, но человеком правительственной партии, участником Комиссии по составлению нового уложения, к деятельности которой Карамзин относился крайне скептически. Поэтому можно предположить, что швейцарские корреспонденции «Вестника Европы» направлены и против Радищева, друга А. Р. Воронцова, «автора дурной книги, написанной лет за десять перед сим», как характеризовал Карамзин героя своих швейцарских статей Р. Эрлаха.

1. См.: *Берков П. Н., Макогоненко Г. П.* Жизнь и творчество Н. М. Карамзина // Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 45–47; *Данилевский Р. Ю.* Россия и Швейцария. Л., 1984. С. 90–113.

2. См.: *Орлов П. А.* «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина как произведение русской просветительской литературы XVIII в. // Вестник МГУ. Филология. 1977. № 2. С. 19–20.

3. См.: *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура XVIII в. // Эпоха Просвещения. Л., 1967. С. 268–269.

4. *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин как автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899. С. 240 и след.; *Иванов М. В.* Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника» // XVIII век. Л., 1975. Сб. 10. С. 296–302.

5. *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 105.

6. Там же. С. 156.

7. Вестник Европы. 1802. № 1. С. 92. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением номера и страницы.

8. *Карамзин Н. М.* Сочинения. М., 1820. Т. 9. С. 77–78 (в составе раздела «Статьи политические из «Вестника Европы» 1802–1803 года»).

9. *Пономарев С. И.* Материалы для библиографии литературы о Н. М. Карамзине. СПб., 1887. С. 19–21. Последняя из перечисленных статей напечатана в собрании сочинений Карамзина под заглавием «Швейцария»: *Карамзин Н. М.* Сочинения. М., 1820. Т. 9. С. 78–83.

10. Просмотренная нами «Gazette nationale ou Le moniteur universel» за сентябрь 1802 г. не содержит ни одного политического известия из Швейцарии.

11. См.: История народного законодательства и демократии в Швейцарии. СПб., 1900. С. 72–75; История швейцарского народа. СПб., 1902. Т. 3. С. 109; История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938. Т. 1. С. 452.

12. Различные русские переводы из этого собрания появлялись в России в 1790-х гг. См.: *Рак В. Д.* Переводы в журнале «Чтение для вкуса, разума и чувствования» // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 240, 245, 246.

13. *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. С. 132.

14. Там же. С. 145.

15. *Лотман Ю. М.* Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803) // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 51. 1957. С. 149.

16. Цит. по: *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России... СПб., 1888. Т. 1. С. 240.

17. См.: Там же; *Туманов М.* Радищев // Вестник Европы. 1904. Кн. 2. С. 685–689; *Семенников В. П.* Радищев: Очерки и исследования. М.; Пг., 1923. С. 135; *Павлов-Сильванский Н. П.* Предисловие // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1905. С. 291.

18. *Державин Г. Р.* Собр. соч. Т. 6. СПб., 1871. С. 812.

19. Цит. по: *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России... СПб., 1888. Т. 1. С. 243–244.

20. Явная параллель с взаимоотношениями между императором и Адамом Чарторыйжским, одним из членов Негласного комитета. Дружба между ними возникла, когда Александр был еще наследником, а Чарторыйжский являлся «заложником» при русском дворе после подавления польского восстания 1794 г.

21. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 46–47.

22. Державин Г. Р. Собр. соч. Т. 6. СПб., 1869. С. 787.

23. Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. С. 117.

24. Чарторыйжский Адам. Мемуары. М., 1912. Т. 1. С. 267.

25. Архив Государственного совета. СПб., 1878. Т. 3. Стлб. 781.

26. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. С. 77–78.

27. Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России... СПб., 1888. Т. 1. С. 240.

28. Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Карамзина. С. 152.

29. Лотман Ю. М. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819–1822)

// Он же. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 778.

30. Карамзин Н. М. Сочинения. М., 1820. Т. 8. С. 38–39.

Автобиографизм и статья Пушкина «Александр Радищев»

Не многие произведения Пушкина вызвали столько споров и противоречивых оценок, сколько статья «Александр Радищев» (1836)¹.

Недоумение широкого читателя вызвало то обстоятельство, что Пушкин, казалось бы, всегда тепло относившийся к Радищеву², в итоговой статье поместил несколько крайне резких отзывов о «первом революционере».

То, что статья предназначалась в журнал «Современник», дало пищу для более или менее остроумных гипотез о том, как Пушкин, по выражению Герцена, «перехитрил» цензуру. Наиболее полно эта точка зрения представлена в работе В. Е. Якушкина «Пушкин и Радищев»³. Главная цель статьи Пушкина, считает автор, — привлечь внимание читающей публики к имени Радищева, остальное же нужно только для того, чтобы обмануть бдительность цензуры.

Такой взгляд оказался очень живучим; следуя ему, различные авторы стремятся нейтрализовать отношение Пушкина к Радищеву. При этом игнорируется прежде всего резкость пушкинских оценок: «Он <Радищев> есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приносившие ко всему, — вот что мы видим в Радищеве» (XII, 36).

Необычайно резкий тон оценок — не единственная проблема, которую статья «Александр Радищев» ставит перед исследователями. Не меньшее удивление вызывает большое количество приведенных в ней фактов, не подтверждаемых известной нам биографией Радищева. Первым обратил на это внимание сын писателя П. А. Радищев⁴. Действительно, утверждение Пушкина о том, что Радищев служил в собственной канцелярии Екатерины II, сведения о

взаимоотношениях писателя с императорами Павлом I и Александром I и еще целый ряд положений противоречат даже тем источникам, которые Пушкин вполне мог иметь под рукой, — например, биографии Радищева, написанной его сыном Н. А. Радищевым и хранящейся в библиотеке П. А. Вяземского.

И это при том, что анализ статьи в целом убеждает нас в очень кропотливой работе Пушкина с печатными источниками⁵ и в привлечении материалов, которые были совершенно недоступны рядовому читателю того времени, в том числе замечания Екатерины II на «Путешествие из Петербурга в Москву», труднодоступные мемуары княгини Е. Р. Дашковой, секретные записки императрицы⁶.

Как же связать столь тщательный характер работы Пушкина с различными источниками и имеющиеся в статье расхождения с современными сведениями о жизни Радищева?

Ответ, как нам кажется, заключается в том, что пушкинская статья — не только своеобразное обобщение всего того, что было сказано о Радищеве до Пушкина, но и сама по себе является важным и до сих пор не учтенным источником биографии «первого революционера». Произошло это потому, что, пожалуй, не в меньшей степени, чем на письменные источники, Пушкин опирался на устные рассказы о Радищеве, слышанные им от многих его современников, в частности от М. М. Сперанского, братьев Тургеневых (личность Радищева особенно привлекала Н. И. Тургенева). Во время южной ссылки поэт беседовал о Радищеве со старым масоном С. И. Тучковым; после возвращения из Михайловского он встречался в Москве с известным поэтом, бывшим министром юстиции И. И. Дмитриевым; очень вероятно, что личность Радищева не раз становилась темой их бесед. В Петербурге, в последний период своей жизни, поэт любил разговаривать с теткой своей жены, вдовой обер-шенка Н. К. Загряжской, как никто осведомленной в «закулисной» истории России. Наконец, источником сведений Пушкина о Радищеве могли быть и, скорее всего, были беседы с Н. М. Карамзиным⁷. В Одессе Пушкин пользовался документами из библиотеки М. С. Воронцова («полу-милорда»), наследовавшего архив своего дяди, А. Р. Воронцова, друга и покровителя автора «Путешествия...»⁸.

Пушкинская статья — не просто биография в привычном понимании этого жанра еще и потому, что поэт стремился предельно актуализировать те моменты мировоззрения Радищева, которые оставались злободневными к середине 30-х гг. XIX в.

Созданию статьи предшествовала работа Пушкина над циклом публицистических заметок, получившим в академическом собрании редакторское название «<Путешествие из Москвы в Петербург>» (1833–1835), в котором Пушкин по-новому прочитывает главы радищевского «Путешествия...». Однако личности Радищева уделено в пушкинском цикле не слишком много места, акцент сделан на творчестве «первого революционера». Жизни его посвящена статья «Александр Радищев», и если книга Радищева не вызывает сочувствия у Пушкина, то внешне негативные его отзывы о самом писателе явно содержат нотки восхищения: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за всё, он один представляется жертвой закона. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а *Путешествие в Москву* весьма посредственной книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию» (XII, 32–33). Так же, как в образах «бескорыстных тираноубийц» из стихотворения «Кинжал», Пушкин подчеркивает в образе Радищева его «самоотвержение» и «совестливость».

Такой «отрицательный» отзыв любопытен еще и тем, что этот отрывок, (протитированный выше) явно или неявно, проецируется на судьбу самого Пушкина: то, что пушкинская статья о Радище-

ве, при всем ее негативном характере, содержит автобиографические реминисценции, давно отмечено исследователями.

Первым обратил на это внимание В. П. Семенников в своей известной работе «Радищев и Пушкин»: «Любопытно отметить, что в словах об отсутствии у Радищева даже “тени народности” Пушкин буквально повторяет ту мысль, которую незадолго до того высказал “Московский телеграф” Н. А. Полевого по поводу “Руслана и Людмилы” Пушкина. Здесь, в рецензии на “Бориса Годунова”, говорится: “В ‘Руслане и Людмиле’ нет и тени народности”»⁹. Семенникову принадлежит и другое важное наблюдение о имеющейся параллели между фактами биографии Радищева в изложении Пушкина и судьбой поэта: «Когда-то его <Пушкина> самого упрекали в том, в чем позднее он обвинил Радищева. Так, в 1817 г. друг Пушкина А. И. Тургенев, сообщая Жуковскому, что он ежедневно бранит Пушкина за леность и нерадение о собственном его образовании, писал и вот что: “...к этому присоединились и вкус к площадному волокитству, и *вальнодумство*, также *площадное* 18-го столетия”»¹⁰.

Число таких наблюдений умножил Б. П. Городецкий¹¹; обобщая их, В. Э. Вацуру писал: «И у Пушкина начинают возникать аналогии неожиданные и опасные. Судьба Радищева напоминала кое в чем его собственную. Император Павел, возвратив Радищева из ссылки, взял с него слово “не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово”. Это о себе в 1826 году; требование Николая повторено почти дословно. А еще раньше — о Карамзине, на которого наложена обязанность к всевозможной скромности и умеренности»¹².

Автобиографический характер, как уже указывалось в главе, посвященной посланию В. Л. Давыдову, имеет и такое пушкинское положение в статье о Радищеве: «Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем всё еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма» (XII, 35). Выражение «чистый афеизм» встречается у Пушкина еще лишь однажды, в письме из Одессы П. А. Вяземскому (1824): «Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил» (XIII, 92).

Выражению «чистый афеизм» суждено было сыграть зловещую роль в пушкинской судьбе: после перлюстрации письма оно, видимо, и стало формальной причиной высылки Пушкина из Одессы¹³.

Итак, статья Пушкина — очень пристрастный документ, отражающий размышления поэта как о собственной судьбе, так и об актуальных вопросах своего времени.

* * *

Образ Радищева и радищевская тема присутствуют в творчестве Пушкина начиная с лицейских времен. Сочувственный интерес к «первому революционеру» особенно заметен в тот период, когда Пушкин писал оду «Вольность» (1817) и, безусловно, во время южной ссылки, в период общения Пушкина с кишиневскими декабристами, из которых поэт-декабрист В. Ф. Раевский, совмещавший антикрепостнический пафос с антидворянским, в особенности был близок Радищеву¹⁴.

В «Александре Радищеве» отношение Пушкина к первому революционеру совсем иное, чем в годы южной ссылки; работа над статьей завершает сложную эволюцию мировоззрения поэта. Понятно, что неправильно будет определить отношение Пушкина к Радищеву в 1836 г. как простое отрицание.

Как же конкретно изменилась пушкинская позиция и, главное, какие общественно-исторические причины вызвали это изменение — выяснение данного вопроса и станет целью нашего анализа.

Наиболее полемический характер носит та часть статьи, которая описывает последний период жизни Радищева, захватывая конец павловского — начало alexандровского царствований. Именно в это время суждения Радищева более чем когда-либо потеряли свою теоретическую отстраненность и стали живыми факторами русской общественной жизни, совпадая по некоторым пунктам с декларациями самого правительства¹⁵.

«Смирренный опытностию и годами, он <Радищев> даже переменял образ мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость <...> Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера,

этого сентиментального тигра» (XII, 34). Здесь многое вызывает вопросы. И прежде всего — что именно имел в виду Пушкин, утверждая, что в александровское царствование Радищев «переменил свой образ мыслей» (несмотря на то, что утверждение это имело несомненную автобиографическую подоплеку)?

Очерчивая границы источников, способных определить подобное отношение Пушкина к Радищеву, в первую очередь хотелось бы упомянуть о сведениях, полученных Пушкиным от человека державинского круга.

Соотнесение имени Радищева с именем Мирабо связано с Державиным, которому современники приписывали следующую эпиграмму на автора «Путешествия...»: «Езда твоя в Москву со истинною сходна, / Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна: / Я слышу на коней ямщик кричит: вирь! вирь! / Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь»¹⁶.

Державин упоминается и в окончательном тексте статьи («Как иначе объяснить его <Радищева> беспечную и странную мысль разослать книгу ко всем знакомым, между прочим к Державину, которого поставил он в затруднительное положение»), и в предварительных набросках к ней («Дмитриев у Державина слышит от Козодавлева о “Путешествии”. Державин доносит о нем Zubову»).

Упоминание о последнем эпизоде свидетельствует о том, что Пушкин был в курсе слухов о неблагоприятном якобы поведении Державина в деле Радищева, которые активно муссировались в обществе не только в период самого процесса, но и позже, в начале александровского царствования¹⁷.

Заметим, что в окончательный текст статьи эпизод, связанный с Державиным, не вошел. Думается, что произошло это не от того, что Пушкин усомнился в его достоверности. Напротив, в архиве Воронцовых, к которому Пушкин имел доступ, поэт мог найти документы, подтверждающие сложный характер поведения Державина¹⁸.

В этой связи крайне важным представляется наблюдение В. А. Западова о том, что наибольшее распространение слухи об участии Державина в деле Радищева получили в 1802–1805 гг., в самый разгар полемики по крестьянскому вопросу, в ходе которой столкнулись позиции всех «персонажей» пушкинской статьи: Дер-

жавина, бывшего в начале александровского царствования министром юстиции, О. П. Козодавлева, крупного правительственного чиновника, впоследствии министра внутренних дел, государственного канцлера, А. Р. Воронцова и, конечно, Радищева, стоявшего у истоков этой полемики.

В марте 1802 г. А. Р. Воронцов, как считают многие исследователи, вместе с Радищевым или, по крайней мере, не без его участия поставил на обсуждение в Государственном совете проект закона, запрещающего продавать крестьян без земли¹⁹.

В «Путешествии...» (гл. «Городня») Радищев подробно описывает положение несчастных крестьян, проданных в рекруты корыстливым помещиком. Сама возможность такого бесчестного торга была обусловлена правом продавать крестьян «на вывоз», т. е. без земли (именно так покупал «мертвые души» Чичиков).

Участие Радищева в подготовке правительственных реформ 1801–1802 гг. весьма вероятно, причем не только в рамках работы Комиссии по составлению нового Уложения. Сын Радищева Павел Александрович утверждал, что в последние месяцы своей жизни писатель работал над обширным законопроектом, переданным впоследствии В. Н. Каразину²⁰.

В. Н. Каразин — заметная фигура первых лет александровского царствования²¹, поэтому его утверждение, что он «имеет некоторое влияние при дворе и доступ к одной высокой особе»²², соответствует истине.

Однако у нас нет свидетельств того, что император Александр I получил законопроект Радищева от Каразина или каким-то другим образом. Если, конечно, не считать таким свидетельством пушкинскую статью: «Император Александр, вступив на престол, вспомнил о Радищеве и, извиняя в нем то, что можно было приписать пылкости молодых лет и заблуждениям века, увидал в сочинителе «Путешествия» отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды. Он определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли косательно некоторых гражданских постановлений» (XII, 34).

Последний год жизни Радищева отмечен усиленным вниманием к нему со стороны императора: Радищев был единственным из

всех чиновников комиссии по составлению нового Уложения, вызванным на коронацию в Москву (вместе с графом Завадовским). В течение 1802 г. все прочнее делалось служебное положение Радищева, ему повышен оклад (с полутора тысяч до двух, что равняло Радищева с другими членами комиссии), возвращен орден Св. Владимира 4-й степени. Наконец, находясь в стесненном материальном положении, Радищев обращается к императору с просьбой о значительной денежной ссуде. Этот шаг человека, только что возвращенного из ссылки, объясняется обстоятельствами, о которых мы можем только предполагать.

В день смерти Радищева, когда весть о тяжелом состоянии писателя достигла Зимнего дворца, император присылает своего лейб-медика Виллие — факт, на важность которого обратил внимание Ю. М. Лотман. Кроме Радищева в девятнадцатом веке подобной чести удостоились еще только два русских писателя — Н. М. Карамзин и Пушкин²³.

В работах советских исследователей установлено, что идейная позиция Радищева не изменилась после возвращения писателя к служебной деятельности²⁴. Однако определенные стороны его учения сделались полезны правительству в борьбе с дворянской оппозицией. Ибо, обещая дворянству возвращение золотых времен Екатерины, Александр I в то же время серьезно опасался дальнейшего усиления дворянского сословия, поэтому ограничение крепостного права мыслилось им как мера антидворянская. Именно поэтому осторожный Ф.-Ц. Лагарп указывал императору на возможность дворянского недовольства. Один из наиболее радикально настроенных друзей императора, в будущем вошедший в Негласный комитет граф Строганов, отвечал на это: «Оно <русское дворянство> составилось из множества людей, приобретших дворянство только службою и не получивших никакого воспитания, которых все мысли направлены к тому, чтобы не постигать ничего выше власти императора; ни право, ни закон, ничто не может породить в них идеи о самом малейшем сопротивлении... Чего не сделано было в прошедшее царствование <...> против этих людей, против их личной безопасности? Если когда-нибудь представлялся повод бояться чего-либо, то именно в эту эпоху. Приходило им

это на мысль? Напротив, всякая мера, клонившаяся к нарушению прав дворянства, выполнялась с изумительной точностью»²⁵.

Однако Строганов ошибался, не принимая в расчет дворянскую оппозицию новому законопроекту.

Закон о непродаже крестьян без земли не прошел обсуждения в Государственном совете²⁶ (см. предыдущую главу).

Впрочем, закон о непродаже крестьян без земли никогда не был принят, хотя его ставили на обсуждение еще много раз — и в александровское царствование, и позже.

Тогда же, в 1802 г., одним из главных противников нового закона стал Г. Р. Державин.

О том, насколько тесно связывал Державин антикрепостнические законы с ущемлением исторических прав дворянства, свидетельствует характеристика, которую он дал автору законопроекта о «вольных хлебопашцах» графу С. П. Румянцеву: «Румянцов выдумал (смею сказать, из подлой трусости угодить государю) средство, каким образом сделать свободными господских крестьян. Он представил свой проект, стакнувшись наперед, смею сказать, с якобинскою шайкой — Чарторыжским, Новосильцевым и пр.»²⁷.

Как министр юстиции, Державин задерживал обсуждение нового законопроекта, что в конце концов стоило ему министерского портфеля.

Парадокс ситуации заключался в том, что Державин осмыслил свое поведение как гражданское (так смотрела на Державина и дворянская оппозиция), а Радищев оказывался в правительственном лагере.

Противостояние Державин — Радищев было осознано современниками, что проявилось, например, в творчестве поэта-радищевца И. П. Пнина, в его оде «Человек» (1805)²⁸.

Атмосфера начала александровского царствования с ее бурными спорами по крестьянскому вопросу была хорошо известна Пушкину. Одним из главных информантов поэта в этой сфере стал Николай Иванович Тургенев, не просто решительный противник крепостного права, но и сторонник отмены «хамства» сверху, так как декабрист не верил в то, что дворянство согласится добровольно расстаться с «правом» владеть крепостными душами. Такая

позиция имела свою отчетливую специфику на фоне позиции, например, П. А. Вяземского и других радикально настроенных дворян, полагавших, что крепостное право — несомненно зло, но необходимо, чтобы помещики сами отказались от владения крепостными, — правительство не имеет права их заставлять²⁹.

Влияние Н. Тургенева на Пушкина в области освоения творческого наследия Радищева — тема, требующая специального рассмотрения. Давно отмечена тесная духовная связь декабриста с Пушкиным в то время, когда он писал оду «Вольность» (1817), отчетливо ориентированную на одноименную оду Радищева. Несомненно, что и пушкинские строки «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный, / И рабство, падшее по манию царя» («Деревня», 1819) также написаны под воздействием Тургенева.

В начале 1820 г. Тургенев принял участие в обсуждении нового проекта закона, запрещающего продавать крестьян без земли. Как и в начале века, законопроект столкнулся с сильной дворянской оппозицией. Теперь ее возглавил адмирал А. С. Шишков, претендовавший на роль не только литературного, но и политического наследника Державина.

Для Шихкова вопрос о праве дворян владеть крепостными лежал исключительно в идеологической плоскости, в его решении адмирал не руководствовался никакими практическими соображениями, так как не пользовался доходами со своих имений³⁰.

Общение Пушкина с Николаем Тургеневым падает на конец 1810-х гг., когда идейная позиция поэта была иной, чем в тридцатые годы, во время работы над циклом статей «<Путешествие из Москвы в Петербург>» и очерком «Александр Радищев». Однако и в тридцатые годы Пушкин встречался с человеком, который имел непосредственное отношение к общественной борьбе начала александровского царствования. Мы имеем в виду М. М. Сперанского. Дневниковая запись Пушкина от 25 марта 1834 г. свидетельствует о том, что темой их бесед была деятельность комиссии по составлению законов, членом которой являлся Радищев.

1834 год — время работы Пушкина над «<Путешествием из Москвы в Петербург>», где полемика с Радищевым занимает заметное место. Однако если Сперанский и давал Пушкину какие-либо

исторические сведения, то вряд ли он определял пушкинские оценки, так как являлся одним из активнейших проводников правительственной политики по крестьянскому вопросу как в начале века, так и в тридцатые годы. Сперанский, несомненно, сочувствовал Радищеву и был одним из тех, кто способствовал включению его в Комиссию по составлению законов.

Среди тех же, кто определял пушкинское отношение к Радищеву в тридцатые годы, едва ли не главное место занимал Н. М. Карамзин, чьи слова: «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être rendu»^{*} стали эпиграфом к статье «Александр Радищев».

Идейное противостояние Карамзина и Радищева подробно освещено в ряде исследовательских работ³¹.

Карамзин — активный участник общественной борьбы начала alexandrovского царствования, один из идейных вождей дворянской оппозиции. С начала 1802 г., т. е. с того времени, когда в Государственном совете началось обсуждение законопроекта Воронцова о запрещении продавать крестьян без земли, с чем и стали связывать возможность крестьянских волнений, а сторонники реформы были объявлены «якобинской шайкой», журнал «Вестник Европы» Карамзина поместил ряд статей из иностранной жизни в параллель русским событиям³².

О том, знал или не знал Пушкин об этих публикациях, можно только предполагать, однако он, несомненно, был знаком с документом, в котором историк явно выразил свое неодобрение правительственным реформам начала 1800-х гг. Мы имеем в виду «Записку о древней и новой России» Карамзина (1811).

Существенное место в «Записке» уделено крестьянскому вопросу, прежде всего активно дебатированному законопроекту о непродаже крестьян без земли. Причем если автор законопроекта А. Р. Воронцов мотивирует необходимость принятия закона, явно используя аргументы Радищева («сим средством, кажется, упредится постыдный промысел рекрутской продажи, более неудобный и более содрогающий человечество, нежели самая продажа людей без земли»)³³, то Карамзин в «Записке» полемизирует с автором «Пу-

* Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения (*фр.*).

тешествия...», настаивая на праве дворян продавать своих крестьян в рекруты, утверждая, что без этого «небогатые владельцы лишились средства сбывать худых крестьян или дворовых людей с пользою для себя и для общества; ленивый, невоздержный исправился бы в строгой школе воинской <...> Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной, иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла»³⁴.

Пушкин, разбирая главу «Городня» радищевского «Путешествия...», в своих полемических очерках также уделяет специальное внимание вопросу о рекрутах: «Радищев сильно нападает на продажу рекрут и другие злоупотребления. Продажа рекрут была в то время уже запрещена, но производилась еще под рукою <...> запрещение сие имело свою невыгодную сторону: богатый крестьянин лишался возможности избавиться рекрутства, а судьба бедняков, коими торговал безжалостный помещик, вряд ли чрез то улучшилась» (XI, 261).

Первая редакция главы «Городня» пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург» писалась, по-видимому, в конце 1833-го или в начале 1834 г., как раз в то время, когда поэт тщетно пытался опубликовать «Записку о древней и новой России» Карамзина³⁵. В это время призыв историка «смотреть на вещи с разных сторон» как нельзя более отвечал стремлению Пушкина к исторической объективности.

В тридцатые годы, как никогда ранее, решение крестьянского вопроса тесно связывалось с вопросом о дворянской независимости. Поэт с неодобрением следил за деятельностью разнообразных «тайных» правительственных комитетов, создаваемых в это время³⁶. С его точки зрения (исторические корни такой позиции мы попытались проследить), в отношениях между крестьянством и дворянством не должно быть никаких промежуточных звеньев.

Антидворянское решение крестьянского вопроса поэт связывал с именем Радищева, а свои представления о дворянской независимости — с идейной позицией Карамзина.

В политическом сознании Пушкина эти два имени находились в постоянном противопоставлении, увлечение одним всегда означало отрицание другого.

Конец 1810-х — начало 1820-х гг. — момент наибольшего увлечения Пушкина политическими идеями Радищева и одновременно период очень сложных и противоречивых взаимоотношений с Карамзиным. С середины 1820-х гг. Пушкин стал испытывать все углубляющийся интерес к Карамзину, одновременно осложняется его отношение к Радищеву. При этом если книга Радищева в целом не принимается Пушкиным, то личность «первого революционера», его рыцарский фанатизм и безусловное бескорыстие продолжают восхищать поэта: «...не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостью» (XII, 32–33).

1. См.: *Куканов А. М.* Проблема «Пушкин и Радищев» в дореволюционном и советском пушкиноведении // Учен. зап. Мордовского гос. ун-та. Саранск, 1962. № 21. С. 27–86.

2. См.: *Немировский И. В.* К вопросу об эволюции отношения Пушкина к А. Н. Радищеву: (От южной ссылки до статьи «Александр Радищев») // Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII–XX вв. Таллинн, 1985. С. 79–81.

3. *Якушкин В. Е.* О Пушкине: Статьи и материалы. М., 1899. С. 3–68.

4. См.: *Радищев П. А.* Замечания на статью Пушкина «Александр Радищев»... // Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.; Л., 1959. С. 102–110.

5. А именно: «Переписка императрицы Екатерины II с разными особами» (СПб., 1807), содержащая рескрипт Я. А. Брюсу о придании суду Радищева; рецензии А. П. Бенитцкого на издание сочинений А. Радищева, предпринятое в 1806–1811 гг. (Цветник. 1809. № 2. С. 272–283). Возможно, что Пушкин был в курсе той полемики по вопросам белого стиха и гекзаметра, которая возникла в 1815 г. на страницах «Чтения в Беседе любителей русского слова» между В. В. Капнистом и С. С. Уваровым, осторожно пропагандировавшим творчество Радищева.

6. См.: *Гиллельсон М. И.* Пушкин и «Записки» Е. Р. Дашковой // Прометей. Вып. 10. М., 1974. С. 140–141.

7. *Лотман Ю. М.* Источники сведений Пушкина о Радищеве // Он же. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 780.

8. См.: *Алексеев М. П.* Пушкин и библиотека Воронцова // Пушкин: Статьи и материалы. Вып. 2. Одесса, 1926. С. 95.

9. Семенников В. П. Радищев. М.; Пг., 1923. С. 244–245. Примеч. 2.
10. Там же. С. 271.
11. Городецкий Б. П. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Т. III. М.; Л., 1960. С. 224–225.
12. Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 107.
13. «Но вы же и афей? вот что уж никуда не годится. — В<аше> в<еличество>, как можно судить человека по письму, писанному товарищу, можно ли школьническую шутку <...> судить как бы всенародную проповедь?» («Воображаемый разговор с Александром I»). — XI, 23).
14. См.: Брегман А. А., Федосеева Е. П. Владимир Федосеевич Раевский // Раевский. Материалы. Т. 1. С. 5–11.
15. См.: Семеvский В. И. Крестьянский вопрос в России. СПб., 1888. Т. 1. С. 230 и след.
16. Вчера и сегодня. М., 1845. Ч. 1. С. 63.
17. Западов В. А. Державин и Пнин // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1965. Т. 24. Вып. 6. С. 530–537.
18. Е. Р. Воронцова (Дашкова) в одном из писем брату А. Р. Воронцову так рассказывала о роли Державина: «...когда Козодавлева посадили в коммерцию, то Державин сказал при многих: «Вот какой я души человек, что я не сказал о Козодавлеве, что он участие имел в сочинении Радищева. Козодавлев против меня не благодарен, меня злословит». Державин меня и брата злословит, я имею-де способ изобличить обоих и не хочу. Для чего, когда Державин почувствовал ужас к следствиям преступного сочинения и, зная прямых сочинителей, марал и клеветал на честных людей. Вышеупомянутая речь мне пересказана от честного и нелживого человека, от Богдановича» (Архив князя Воронцова. М., 1872. Т. 5. Бумаги гр. А. Р. Воронцова. Ч. 1-я. С. 221).
19. См.: Семеvский В. И. Крестьянский вопрос в России... СПб., 1888. С. 250; Туманов М. Радищев // Вестник Европы. 1904. Кн. 2. С. 685–689; Семенников В. П. Радищев. С. 135; Сильванский Н. П. Примечания // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1905. С. 291.
20. Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. С. 99.
21. См.: Чтение в Обществе истории и древности. 1860. Кн. 3; 1861. Кн. 2; 1863. Кн. 3.
22. Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. С. 99.
23. Лотман Ю. М. Источники сведений Пушкина о Радищеве // Он же. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 772.
24. См.: Пугачев В. В. А. Н. Радищев и французская революция // Учен. зап. Горьковского гос. ун-та. Вып. 52. 1961. С. 289–290. Вацуро В. Э. «Александр Радищев» (статья для Пушкинской энциклопедии) // НЛЮ. 2000. № 2 (42). С. 169–171.
25. Семеvский В. И. Крестьянский вопрос в России... СПб., 1888. Т. 1. С. 243–244.

IV. Радищев и Карамзин в творческом сознании Пушкина

26. Там же. С. 240.

27. *Державин Г. Р.* Записки // Державин Г. Р. Собр. соч. СПб., 1876. Т. 6. С. 259.

28. См.: *Прытков Н. В.* И. П. Пнин и его литературная деятельность // Древняя и новая Россия. 1878. Т. 3. С. 23; *Западов В. А.* Державин и Пнин // Русская литература. 1965. № 1. С. 114–115; иной точки зрения придерживается Ю. М. Лотман (*Лотман Ю. М.* С кем же полемизировал Пнин в оде «Человек»? // Русская литература. 1964. № 2. С. 166–167).

29. «Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? <...> Но я все-таки повторяю одно: не правительству давать зачин» (*Вяземский П. А.* Письмо к А. И. Тургеневу 6 февраля 1820 г. // Остафьевский архив... СПб., 1899. Т. 2. С. 16–17).

30. «В один день, поутру, докладывают Александру Семенычу, что к нему пришли его крестьяне и желают с ним переговорить <...> Это были выборные от всего села; поклонясь в ноги, несмотря на запрещение барина, один из них сказал, что «на мирской сходке положили и приказали им ехать к барину в Питер и сказать: что не берешь-де ты с нас, вот уже десять лет, никакого оброка и живешь одним царским жалованьем, что теперь в Питере дороговизна и жить тебе с семейством трудно; а потому не угодно ли тебе положить на нас за прежние льготные годы хоть по тысяче рублей, а впредь будем мы платить оброк, какой ты сам положишь; что мы по твоей милости, слава богу, живем не бедно, а от оброка не разоримся». Услышав такие речи, дядя <Шишков> пришел в неописанное восхищение, или, лучше сказать, умиление, не столько от честного, добросовестного поступка своих крестьян, как от того, что речи их, которые он немедленно записал, были очень похожи на язык старинных грамот» (*Аксаков С. Т.* Воспоминания об Александре Семеновиче Шишкове // Он же. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 294–295).

31. См.: *Лотман Ю. М.* Источники сведений Пушкина о Радищеве // Он же. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 765–785.

32. Подробнее см. в главе «Швейцарская тема в “Вестнике Европы” Н. М. Карамзина» наст. изд., с. 291–303.

33. Рассуждение члена Совета, графа Воронцова, о непродаже крестьян без земли // Архив Государственного совета. СПб., 1878. Т. 3. Стлб. 781.

34. *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 78.

35. См.: *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь умственные плотины. С. 99–101.

36. См.: *Абрамович С. Л.* Крестьянский вопрос в статье Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» // Пушкин: Исследования и материалы. Т. IV. М.: Л., 1962. С. 209–214.

Библейская тема в «Медном всаднике»

В исследовательской литературе о «Медном всаднике» неоднократно указывалось на связь поэмы с Библией. В своей книге «Быль и миф Петербурга» Н. П. Анциферов, анализируя строки «Вступления («На берегу пустынных волн / Стоял Он, дум великих полн...»), писал: «Кто Он, начертанный с большой буквой? Не названо. Так говорят о том, чье имя не приемлется всуе. Пред нами дух, творящий из небытия, чудесною волей преодолено сопротивление стихий. “Да будет свет; и стал свет”. Свершилось чудо творения. Возник новый мир — Петербург»¹. Точка зрения Анциферова не получила развития в литературоведении и лишь спустя полвека после своего обнародования была оспорена Р. Г. Назировым, автором содержательной статьи «Петербургская легенда и литературная традиция». Он утверждал, что привлекаемые Анциферовым «Ветхий завет и Апокалипсис представляются излишними украшениями»². По мысли Назирова, в основе «Медного всадника» лежат исторические предания, оформившиеся в «петербургскую легенду» и бытовавшие в городском фольклоре³.

Этот спор получил продолжение в 1977 году, когда А. Е. Тархов высказал предположение о зависимости пушкинской поэмы от библейской книги Иова. Исследователь основывался, прежде всего, на увиденном им сюжетном сходстве «Медного всадника» с библейским текстом. Таким образом, бунт Евгения осмысляется Тарховым как богоборчество⁴.

Оставляя пока в стороне правомерность подобного сближения, отметим только, что подход современного исследователя принципиально иной, чем у Анциферова: если для автора книги «Быль и миф Петербурга» Библия — это только творческая модель, по которой Пушкин строит мир своей повести, то для Тархова книга Иова — конкретный источник «Медного всадника».

Цель настоящей работы — приблизиться к разрешению проблемы «Медный всадник» и Библия», уже завоевавшей научное гражданство.

В тексте «Медного всадника» имеет место феномен, который можно определить как запрет на прямое название Петра по имени. Для номинации основателя Петербурга Пушкин использует ряд перифраз: многозначительное «Он» с прописной буквы во «Вступлении» к поэме и далее — «кумир на бронзовом коне», «кумир с простертою рукою»; тот, «кто неподвижно возвышался во мраке медной головой... чьей волей роковой / Под морем город основался», «мощный властелин судьбы», «кумир», «горделивый истукан», «строитель чудотворный», «грозный царь» и, наконец, «Всадник Медный / На звонко скачущем коне...».

Этот запрет установился уже на раннем этапе работы Пушкина над петербургской повестью: лишь в первом черновом варианте ее один раз Петр называется «Великий Петр» (V, 436). В дальнейшем же имя царя-преобразователя будет встречаться только в родительном падеже и обозначать принадлежность Петру: «Петра творенье», «град Петров», «сон Петра», «Петроградом», «Петрополь», «площади Петровой».

Вне контекста поэмы выделенные номинации Петра не являются синонимичными: «державец полумира», «грозный царь» характеризуют Петра как историческую личность; перифразы «мощный властелин судьбы» и «строитель чудотворный» предполагают объект сверхчеловеческой природы; самая многочисленная группа номинаций — «кумир на бронзовом коне», «кумир с простертою рукою», «кумир», «горделивый истукан» относятся к памятнику Петра; сложную природу имеют местоименные номинации («Стоял Он...», «И думал Он...»).

Не будучи тождественными по смыслу, эти номинации Петра, тем не менее, коннотативно связаны, поскольку все они, в конце концов, в поэме Пушкина характеризуют Петра, выражая разные его ипостаси. Укажем, прежде всего, на смысловую зависимость перифраз, относящихся к памятнику основателя Петербурга («кумир», «истукан»), от номинаций, выражающих его сверхчеловеческую природу («мощный властелин судьбы», «строитель чудотворный»). Поэтому трудно согласиться с Л. В. Пумпянским, утверждавшим, что «напрасно <...> Николай I смущен был словом “кумир”. На державинском языке, которым в данном случае говорит Пушкин, это синоним статуи, памятника и ничего больше»⁵. На это утверждение можно возразить, что определенные коннотации, сближающие значение слов «кумир», «истукан» со значением «ложный бог», «идол», имели место уже у Державина⁶. По-

добный же смысл, как это определили составители «Словаря языка Пушкина»⁷, получало слово «истукан» в употреблении поэта.

Тенденция к сближению разных ипостасей Петра проявляется как за счет коннотаций между их значениями, так и за счет совмещения номинаций разной природы в рамках одного поэтического высказывания, характеризующего героя поэмы: «кто неподвижно возвышался Во мраке медной головой» — статуя; «...того, чьей волей роковой Под морем город основался» — Петр как историческая личность.

«Оживанию» статуи соответствует слияние всех ипостасей Петра в объекте принципиально амбивалентной природы — «проснувшийся памятник»⁸. Совмещение происходит стадийно: сначала перед Евгением «кумир» («вокруг подножия кумира Безумец бедный обошел»), затем как бы исторический Петр («державец полумира») и, наконец, «строитель чудотворный». Само «оживание» происходит тогда, когда Евгений единственный раз в тексте поэмы прямо обращается к Петру и манифестирует его чудесную природу («строитель чудотворный»)⁹.

Для того, чтобы столкновение оказалось возможным, метаморфозы происходят не только с памятником, который «оживает» и опускается из своего особого пространства, характеризуемого не только приподнятостью по отношению к профанному, но и непоколебимостью даже тогда, когда внизу ветер и наводнение («В неколебимой вышине, / Над возмущенною Невою / Стоит с простертою рукою / Кумир на бронзовом коне...» — V, 142). Выпадает из своего обычного, социального и биологического, состояния Евгений, он «мертвеет» и становится «свету... чужд», «Ни то ни се, ни житель света / Ни призрак мертвый...» (V, 146)¹⁰.

Попытаемся теперь осмыслить те феномены, о которых шла речь, то есть определить природу выделенных в тексте «Медного всадника» запретов на имя Петра и на изображение его лица.

Это не просто фигура поэтической речи, при том, что перифраз — один из распространенных приемов организации текста в классицистической риторике¹¹, широко используемый одической традицией. А. Н. Соколов, считая «перифрастический стиль» характерной чертой «петриад» (эпических поэм на петровскую тему XVIII — начала XIX века), замечает, что уже для «Полтавы» Пушкина это не совсем так¹². Исследователь стиля «Медного всадника» В. Д. Левин утверждает, что перифрастический стиль, не свойственный уже «Полтаве»,

более связанной с одической традицией, чем «Медный всадник», в петербургской повести сменяется тенденцией к прямому наименованию «без всяких попыток поэтизировать их при помощи поэтических синонимов и перифраз»¹³.

К этому можно добавить, что при всей любви авторов «петриад» к поэтической синонимии, прямое именование Петра постоянно встречается в их произведениях¹⁴, как и во всех других, составляющих литературный фон «Медного всадника»¹⁵.

Итак, поскольку запрет на именование Петра не имеет традиции в русской литературе, он связан, видимо, с особенностями восприятия образа первого русского императора самим Пушкиным. Для того, чтобы лучше понять природу этого явления, следует обратиться к аналогии внутри пушкинского творчества: мы имеем в виду запрет на называние по имени другого исторического персонажа, который привлекал внимание Пушкина, пожалуй, не меньше, чем Петр — Наполеона¹⁶. В тридцати двух стихотворениях и стихотворных отрывках, посвященных изгнанному императору, его имя называется всего несколько раз. При этом оно или теряет собственное значение, т. е. перестает характеризовать единичный и уникальный объект («Мы все глядим в Наполеоны...» — VI, 37; «А стихотворец... с кем же равен он? Он Тамерлан или сам Наполеон» — V, 84), или же употребляется в стилистически сниженной тональности: «Ты помнишь ли, как всю пригнал Европу На нас одних ваш Бонапарт-буян?» (III, 81). Другие случаи прямого употребления имени Наполеона носят единичный характер («Всею чужой, угас Наполеон» — III, 433).

Если табуирование имени Петра не имело традиции в русской литературе, то с именем Наполеона дело обстояло иначе. Л. Н. Толстой показал, какие трудности встали перед русской дипломатией при необходимости обращения к Наполеону после принятия последним императорского титула, пока хитроумный Билибин не придумал всех устроившее обращение «предводитель французов». Конечно, речь шла не только об именовании, но и о титуловании, но это связанные вещи, поскольку называть главу французского государства «Наполеон» означало признать его императором.

Упорно отказывались называть убийцу герцога Энгийенского по имени и русские поэты; к пушкинским антинаполеоновским инвективам из «Вольности» («ужас мира, стыд природы, / Упрек <... > Богу на

земле...») можно подобрать значительное число параллелей из поэзии 1810-х годов¹⁷, где доминировало сопоставление Наполеона с Антихристом или Люцифером. Эти два образа в поэтической традиции, видимо, не вполне различались между собой. Так, в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества» Г. Р. Державина Наполеон одновременно «князь бездны», «дивий Гог» (противоборник Христа, — Откр. 20, 7) и «седьмглавый Люцифер». В имени Наполеона видели прямое указание на его inferнальную природу; Державин в примечании к «Гимну...» писал: «Видно из исчисления дерптского профессора Гецеля в письме к военному министру Барклаю-де-Толли от 22 июня 1812 года, что в числе 666 содержится имя Наполеона, как и приложенный при сем французский алфавит то доказывает»¹⁸. Не иначе как «антихрист» и «враг человеческий» назывался Наполеон в официальных документах Священного Союза, при этом имя его не произносилось, хотя могла употребляться фамилия — Бонапарт (Бонапарте)¹⁹.

В творческом сознании Пушкина сближение Петра и Наполеона имело отчетливый и сознательный характер. Еще в раннем историческом труде, носящем условное название «Заметки по русской истории XVIII века» (1822), поэт писал о Петре на том идеологическом фоне, который был определен образом Наполеона: «Петр I не страшился народной свободы неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество может быть более, чем Наполеон» (XI, 14). В позднейшей заметке «О дворянстве» сближение Петра с Наполеоном еще более явно: «Петр I есть одновременно Робеспьер и Наполеон. (Воплощение Революции)» (оригинал по-французски. — XII, 205).

Важнейшим проявлением того, что образы Петра и Наполеона тесно связаны в пушкинском творчестве, является генетическая и ассоциативная близость эпитетов, которые поэт относил к Наполеону, с оценками, данными в «Медном всаднике» Петру. Так, прежде всего, представление об основателе Петербурга как о всаднике находит параллели в определении Наполеона как «всадника бранного» (VI, 522–523), отсылающего к образу всадника Апокалипсиса.

В пушкинской поэме Петр «ужасен... в окрестной мгле», подобно тому, как в лирике 1810-х годов «ужасом мира» был провозглашен Наполеон. В 1820-е годы Наполеон продолжает занимать Пушкина, но уже не столько как политический деятель, а как романтическая лич-

ность, являющаяся проводником велений судьбы или блистательно и трагически спорящая с роком. Так появляются определения поверженного императора «муж судьбы», «муж рока».

Знаменательно, что в черновиках «Медного всадника» Петр также назван «мужем судьбы» (V, 479). Лишь после значительной работы эта характеристика была заменена другой, едва ли не противоположной по смыслу — «мощный властелин судьбы». Следовательно, в оценке исторической миссии Петра Пушкин проявлял те же колебания, что и в оценке характера действий Наполеона, раздваиваясь между желанием считать поступки основателя Петербурга проявлением высшей силы («Природой здесь нам суждено...», «муж судьбы») и необходимостью признать, что Петр сам навязывает миру свою губительную волю («Того, чьей волей роковой...», «гордый властелин судьбы»). Точно так же и Наполеон, с одной стороны, «свершитель роковой безвестного веленья...» и «муж судьбы», «муж рока», с другой — «самовластительный Злодей».

В поэме Петр — «кумир», «идол». Интересно, что и Наполеон называется Пушкиным «Великий кумир» (II, 311); в качестве его возможного замещения может выступать статуя. Так, одно из стихотворений, получившее в конце концов заглавие «К бюсту завоевателя», первоначально в рукописи именовалось «Кумир Наполеона»; Наполеон назван «кумиром» и в «Клеветникам России». В «Евгении Онегине» фигурирует «...столбик с куклюю чугуной / Под шляпой с пасмурным челом, / С руками, сжатыми крестом» (VI, 147); первая строка этого небольшого отрывка имеет многозначительный вариант: «И кукла медная Героя» (VI, 428)²⁰.

И Петр, и Наполеон в изображении Пушкина парадоксально сочетают способность к быстрому молниеносному действию («Он весь как Божия гроза» — о Петре; «...чудный взор его, живой, неуловимый, Как боевой перун, как молния сверкал» (II, 312)²¹, со способностью мгновенно переходить к покою, умиранию, «окаменению», когда обим соответствует удаленное от остального мира место на скале («И на скале изгнанником забвенным Всею чужой угас Наполеон» — III, 433).

Запрет на название имени (и на изображение лица) — важнейший признак сакрального текста²², прежде всего — Библии. В свете того, что писали о «Медном всаднике» Анфицеров и Тархов, последовательно было бы связать выделенные выше особенности пушкинской поэмы с Библией непосредственно. Однако без необходимой

детализации такая параллель не много дает для понимания «Медного всадника», так как в Библии можно выделить несколько типов запретов: табуируется имя Бога и любое его изображение; запрещается произносить имена кумиров, идолов, т. е. ложных богов; особенный грех — отнесение святого имени к объекту, который не обладает святостью («Народ, увлеченный красотой отделки, незадолго перед тем почитаемого как человека, признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастьем или тиранству, несообщаемое имя прилагали к камням и деревьям». — Премудрость Соломона, 14, 21–22).

Несомненная общность образов, в которых Пушкин осмысляет Петра и Наполеона, более всего свидетельствует о том, что ко времени написания «Медного всадника» эти фигуры оказались своеобразно приравнены в творческом сознании поэта. Должно ли отсюда следовать, что табуирование имени Петра в петербургской повести имеет ту же природу, что и запрет на название Наполеона?

Пытаясь ответить на этот вопрос, заметим, что поэтические оценки основателя Петербурга, сближающие его с Наполеоном, содержатся не во «Вступлении», а в основной части поэмы, где Петр — «идол», «кумир», «истукан», «мощный властелин судьбы». Поэтому, подобно тому, как табуируется имя Наполеона (он ложный бог, Антихрист и кумир), здесь также вводится запрет на название Петра по имени. Во «Вступлении» же сильнее проявляется связь «Медного всадника» с одической традицией, здесь основатель Петербурга показан как создатель мира из небытия, отсюда — ориентация на Книгу Бытия с ее табуированием имени Творца.

Вопрос о соотносительности «Медного всадника» с Библией не может быть решен, если не учесть параллели, которую настойчиво проводит сам Пушкин, называя наводнение 1824 года «петербургским потопом» («От петербургского потопа Спаслась П<олярная> З<везда>...» — II, 386; в письмах — XIII, 123, 127). В самой поэме он избегает этого уподобления, но в черновиках «петербургской повести» царский дворец сравнивается с «ковчегом» (V, 459). Мотивируется наступление потопа «Божиим гневом» («народ зрит Божий гнев и казни ждет»). Соответственно, стихии, которые во «Вступлении» представляли силы Хаоса, здесь — «Божии стихии» («С Божией стихией Царям не совладеть» — V, 141).

В Библии основной причиной, вызывающей гнев Бога, является поклонение ложным божествам, идолам и отнесение святого имени к объекту, лишенному святости; наиболее важный в этом отношении эпизод — поклонение золотому тельцу. В любом наказании, которое ложится на еврейский народ, обязательно присутствует и доля наказания за это поклонение. Идолы определяются как «недостойные именованья», а поклонение им представляется «началом и концом и причиной всякого зла» (Премудрость Соломона, 14, 27); «Приносящий жертвы идолам да будет истреблен — только лишь Богу следует слушать» (Исход, XXII, 19).

Слова «кумир» и «истукан» в пушкинском употреблении имеют несомненную библейскую окраску. Это особенно хорошо видно по черновикам поэмы, где Евгений встает «перед священным истуканом» (V, 480) и даже «великим Истуканом» (V, 495). Библейский сюжет о поклонении «литому кумиру» (Исход, 32, 15–21) привлек внимание Пушкина незадолго до создания «Медного всадника» в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...» (1832): «...ты нас обрел в пустыне под шатром, / В безумстве суетного пира, / Поющих буйну песнь и скачущих кругом / От нас созданного кумира» (III, 286).

В литературе о «Медном всаднике» уже не раз поднимался вопрос о том, почему памятник Фальконе назван Пушкиным «медным всадником», тогда как он сделан из бронзы²³. Высказывались различные предположения, и лишь недавно Е. С. Хаев указал на важнейшую, с нашей точки зрения, коннотацию между «медным всадником» и библейским «медным змием»²⁴. Однако эта параллель не детализирована исследователем, между тем сюжет о медном змие, воздвигнутом Моисеем с тем, чтобы целить людей, ужаленных ядовитыми змеями (Числа, 21, 8) имеет много общего с сюжетом пушкинской поэмы. Прежде всего, оба рассказа — о бедствии, вызванном «Божиим гневом». Важную роль играют в них «взгляд» (в библейском тексте исцеление наступает, если укушенный взглянет на медного змия). Наконец, возможно и прямое соотношение библейского медного змия со змеей, попираемой конем Петра²⁵.

Тема города, обреченного гибели за поклонение ложным божествам и кумирам их, пронизывает книги пророков Иезекииля, Иеремии, Наума, Захарии, Аввакума, Ездры («Я истреблю имена идолов с этой земли и не будут более упоминаемы» — Захария, 13, 2; «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою» — Аввакум, 2, 12).

Часто упоминаемое пророками наказание городу за идолопоклонство — потоп. Гибель от вод пророчит Иеремия Вавилону. Наводнение обрекает город больше, чем на гибель, оно осуждает его на забвение. Так, Иерусалиму, наказанному за отступничество огнем и мечом, будет суждено подняться, а Вавилону, обреченному водам, — нет («Устремилось на Вавилон море: он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми» — Иеремия, 51, 42).

Само основание Петербурга, сопровождавшееся дерзким обузданием моря, соотносимо с основанием Вавилона и попыткой покорить другую «божью стихию» — небо, построив знаменитую башню. В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» (1827) Пушкин отмечает, что в лице легендарного строителя вавилонской башни и основателя Вавилона Нимвроде «он <Байрон> изобразил Петра Великого» (XI, 55). Речь идет о первой сцене четвертого акта драмы Байрона «Сарданапал», где ассирийскому царю является: «...какая-то мрачная, высокомерная фигура с мертвенным лицом (я не мог узнать, а между тем, я ее где-то видел, хоть и не знаю где). Черты ее лица были как у великана; глаза — неподвижны, но светились. Длинные кудри спускались на его широкую спину, над которой возвышался огромный колчан стрел, окрыленных огромными перьями, торчавшими меж его змееобразных волос»²⁶.

Не так просто ответить на вопрос, что именно заставило Пушкина утверждать, что в «лице Нимврода» Байрон «изобразил Петра Великого». О том, что эта ассоциация отнюдь не так тривиальна, как может показаться, свидетельствует тот факт, что она не пришла в голову комментаторам Байрона.

В драме «Сарданапал» Нимврод называется «охотником» и «великим предком Династии героев» (ср. в Книге Бытия: «сильный зверолов»). По устному преданию, сопровождавшему Книгу Бытия, Нимврод обладал чудодейственной силой благодаря одеждам из звериных шкур, данным Всевышним Адаму и Еве.

В мусульманской традиции, которую Пушкин знал из Корана²⁷, Нимврод еще в большей степени, чем в библейской, изображен надменным богоборцем, идолопоклонником.

Видимо, все это вместе взятое и заставило не столько Байрона, сколько самого Пушкина соотнести Нимврода с Петром Великим и с памятником Фальконе, где император изображен в плаще, напоминающем звериную шкуру.

В «Медном всаднике» тема Вавилона присутствует только на концептуальном уровне. Однако тема «вавилонской башни» находится в поле зрения поэта в период работы над поэмой. Так, автограф «Сказки о рыбаке и рыбке», датированный 14 октября 1833 года (а «Медный всадник» писался с 6 по 30 октября), содержит следующий, не вошедший в основной текст, эпизод: «Воротился старик к старухе... / Перед ним вавилонская башня / На самой на верхней на макушке / Сидит его старая старуха» (III, 1087).

Все это позволяет говорить об общей ориентации «Медного всадника» на библейские тексты. Она проявляется не только в сходстве механизмов сакрализации/десакрализации, но и в наличии общих мотивов: основание города, возникновение мира, поклонение кумиру, идолу; Божий гнев, наказание водами. Так, Библия, в соответствии с высказанной Н. П. Анциферовым точкой зрения, действительно оказывается творческой моделью, по которой Пушкин строит мир своей петербургской повести. Однако мы не можем согласиться с отождествлением Петра «Вступления» с «кумиром», «идолом», «Медным всадником» основной части поэмы. Анциферов не учитывает сложности отношения Пушкина к Петру, что значительно понижает ценность исследования, приводит к одностороннему выводу о том, что «Медный всадник» — это «ясно выраженный <...> апофеоз Петра»²⁸; а исправления, внесенные в текст поэмы В. А. Жуковским, объясняются нежеланием Николая I допустить чрезмерное восхваление Петра I. При этом Анциферова не смутило то обстоятельство, что эпитеты «кумир», «идол», «истукан» совсем не те, которые могут способствовать возвышению с точки зрения писателя-христианина. Не говоря уже о том, что Жуковский заменил их действительно апологетизирующими Петра характеристиками: «гигант», «Русский великан».

Напомним, что помимо Анциферова о зависимости «Медного всадника» от Библии писал и А. Е. Тархов. Для него Книга Иова — источник петербургской повести, Евгений отождествляется с Иовом, а его бунт против Медного всадника объявляется богоборчеством. Однако и А. Е. Тархов не учитывает того, что слова «идол», «истукан» и «кумир» ни в коем случае не могут быть отнесены к Богу ни в Библии, ни в христианском сознании Пушкина. Поэтому поступок Евгения следует квалифицировать как кумироборчество, а не богобор-

чество. Мотив, встречающийся в книгах пророков (обличение ложных божеств, осуждение тех, кто поклоняется идолам, составляет важную часть книг пророков), но не в книге Иова.

Вместе с тем, «Медный всадник» содержит одну примечательную параллель с этим библейским текстом, не выделенную Тарховым. Риторический вопрос о целесообразности мироустройства, заключающий первую часть пушкинской поэмы: «...иль вся наша / И жизнь ничто, как сон пустой, / Насмешка неба над землей?» (V, 142), — соответствует многочисленным сентенциями подобного рода, обращенным Иовом к Богу²⁹ («На что дан свет человеку, которому путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» — Иов, 3, 23; «Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет» — там же, 10, 3). Правда, и эта тема звучит не только в книге Иова, а еще и в третьей книге Ездры.

Таким образом, смысловая структура «Медного всадника» связана не только с книгой Иова, но и с другими библейскими книгами — Иезекииля, Иеремии, отчасти Даниила, Аввакума, исполненными трагических пророчеств гибели городам за идолопоклонство.

Мы не беремся точнее локализовать эту связь и считаем, что в отношении «Медного всадника» было бы неправильно говорить о конкретных библейских источниках поэмы, речь может идти лишь об ориентации на культурную модель, условно называемую эсхатологической. В этом отношении к книгам пророков примыкает Апокалипсис. Связь с ним «Медного всадника» проявляется, прежде всего, в не раз отмеченных коннотациях между памятником Петру и апокалиптическим всадником.

Ю. М. Лотман отмечал, что само положение «эксцентрического города» (расположенного «на краю культурного пространства») приводит к тому, что «вокруг имени такого города будут концентрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества стихий <...> Как правило, это — потоп, погружение на дно моря»³⁰. Эта точка зрения, убедительно подкрепленная существованием эсхатологической петербургской легенды, как будто бы не предполагает обязательной ориентации «Медного всадника» на Библию и Апокалипсис непосредственно. Возможна, как это и утверждает Р. Г. Назиров³¹, прямая связь пушкинской поэмы с городским преданием, не опосредованная библейскими текстами.

Не умаляя значения фольклорного начала для петербургской повести, заметим, что в 1833 году, в период непосредственной работы Пушкина над «Медным всадником», Библия находится в центре его творческих интересов: в 1832 году он использует сюжет из Пятикнижия и собирается учиться по-древнееврейски, желая переводить книгу Иова; в 1835 году перекладывает стихами библейский рассказ о Юдифи. До этого времени всплеск пушкинского интереса к Библии приходится на конец ноября — декабрь 1824 года и, возможно, вызван известиями о петербургском наводнении. Постоянная просьба в письмах к брату этого периода — прислать Библию. Не получив книгу в очередной раз, Пушкин замечает: «Библия для христианина то же, что история для народа. Этой фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие «Ист.<ории> Кар.<амзина>» (XIII, 127).

Что же касается важности городского предания для пушкинской повести, то заметим в этой связи, что «Медный всадник» — прежде всего литературное произведение, существующее в рамках определенной литературной традиции, хотя, безусловно, не сводимое только к ней³². Пушкинские оценки — «кумир», «идол», «истукан» — определяют не столько самого царя-преобразователя, сколько отношение к нему, закрепленное именно литературной традицией, где как раз к 30-м годам XIX века завершилась сакрализация монархов, значительную часть которой составлял культ Петра. В фундаментальном исследовании В. М. Живова и Б. А. Успенского определены особенности и основные этапы этого процесса³³. Отметим только, что еще в первой четверти XVIII века, вследствие уничтожения патриаршества, русский монарх стал фактическим главой православной церкви. Более того, целым рядом последовательных действий Петр настойчиво внушал современникам, что он есть Христос, эманация Бога на земле. Важнейшим моментом в складывании этого мифа («Петр — Христос»), энергично подхваченного и развитого русской литературой, было то, что можно назвать акцентуацией обновления, т. е. маркированием начала культурной эпохи, когда вся допетровская культура объявлялась если и существующей, то не существенной³⁴. Правда, еще в творчестве Ломоносова, одного из главных создателей мифа о Петре в русской литературе, проявлялась определенная условность этой ситуации, выражаемая в том, что образ Петра давался в барочном обрамлении языческих божеств³⁵. Но уже в конце XVIII века

она полностью утратилась. Все отступления от сложившегося канона в изображении Петра воспринимались как святотатство вплоть до того, что нельзя было изображать его (как и любого другого русского царя) в качестве действующего лица светской драмы. Именно это послужило основной причиной запрещения драмы М. П. Погодина «Петр Великий»³⁶ в 1831 году, т. е. непосредственно перед тем, как на стол к высочайшему цензору — Николаю I — легла петербургская повесть Пушкина.

В «Медном всаднике» Николай тем более ощутил содержательные расхождения с предшествующей литературной традицией изображения Петра, ставшей не чем иным, как формой государственной идеологии, и осмысляемой Пушкиным как своего рода идолопоклонство. Неблагоклонное внимание императора в рукописи петербургской повести привлекли слова «кумир» (выделены все случаи его употребления: «Кумир на бронзовом коне», «Кумир с простертою рукою», «Кругом подножия Кумира»); на полях сделано отчеркивание напротив строк «Во мраке медною главой, / Того, чьей волей роковой»; знак NB помещен против строк «пред горделивым истуканом» и «строитель чудотворный»³⁷.

В сложившийся канон не укладывалось даже «Вступление», при всей своей одичности: и здесь Петр выступает не как обновитель мира, а как демиург. Таким образом, пушкинское восприятие образа Петра и во «Вступлении», и в основной части «Медного всадника» решительно отличается от концепции Петра, выражаемой официальной русской литературой, прежде всего одической. Это содержательное различие лишь подчеркивалось известным единством формальных средств. Л. В. Пумпянский, так много сделавший для выявления одических корней поэмы, выделил три формулы, восходящие к предшествующей «Медному всаднику» литературе о Петре и Петербурге: «из тьмы лесов, из топей блат», «где прежде... там», «прошло сто лет». При этом исследователь констатировал, что все три одновременно они не встречаются ни в одном одическом тексте³⁸. Причина тому, как нам представляется, в эсхатологической, библейской направленности пушкинской поэмы, в которой маркируется финал..

Итак, не одическая традиция определяла пушкинское восприятие образа Петра и Петербурга в библейском ключе, однако одами, безусловно, не исчерпывается вся петровская литература, предшествующая

поэме и обобщенная в ней. Если многочисленные «петриады» отражали прежде всего официальную точку зрения на Петра, то внутри русской культуры существовала и альтернативная позиция³⁹. Правда, она находила свое выражение не в поэзии, а в оппозиционной публицистике, как например, в записках «О повреждении нравов в России» М. М. Щербатова и «О древней и новой России» Н. М. Карамзина⁴⁰.

Вопрос о связях «Медного всадника» с русской публицистикой сложен еще и потому, что антипетровские сочинения еще не составили художественную традицию, отчасти по внеэстетическим причинам, поскольку не могли быть опубликованы в России.

Иначе складывалась ситуация в западноевропейской литературе. Мы не беремся утверждать, что здесь существовала особая антипетровская традиция⁴¹, но сложное отношение к личности Петра и его государственному наследию, несомненно, было более распространено, чем в русской официальной литературе⁴². Поэтому совершенно естественно, что важнейший литературный источник «Медного всадника» создан именно на Западе. Мы имеем в виду «Отрывок» А. Мицкевича, включавший в себя семь стихотворных новелл, в том числе две, имеющие принципиальное значение для понимания пушкинской поэмы — «Олешкевич» («День накануне петербургского наводнения. 1824») и «Памятник Петру Великому».

Сопоставление «Отрывка» с «Медным всадником» производилось неоднократно⁴³. Нам бы хотелось особо отметить, что польский поэт описывает петербургское наводнение в библейском ключе. Олешкевич, герой одноименной новеллы, «давно отвык от красок и кисти и только Библию и Кабалу изучает». Накануне наводнения он пророчит: «Кто доживет до утра, тот будет свидетелем великих чудес, / То будет второе, но не последнее испытание: / Господь потрясет ступени ассирийского трона, / Господь потрясет основание Вавилона»⁴⁴. Таким образом, Мицкевич активно вводит тему «Божьего гнева» в свое произведение, которое, благодаря этому, приобретает эсхатологические черты.

Пушкин имел в своей библиотеке и внимательно прочитал издание «Отрывка», переписав в рабочую тетрадь новеллы «Памятник Петру Великому» (наполовину), «Олешкевич» и «Русским друзьям». По утверждению М. А. Цявловского, поэт взял книгу Мицкевича в поездку по Оренбургской губернии, которая закончилась приездом в Болдино и созданием «Медного всадника»⁴⁵.

Поэма Мицкевича содержит в себе одну из самых решительных и развернутых негативных оценок Петра («кнутодержец», построивший «себе столицу, а не город людям»). Отталкивание от русской традиции изображения первого императора и его города ощущается в «Отрывке» как в деталях, так и в общем взгляде. Достаточно сравнить описание Невы (топика русской литературы) у Мицкевича с аналогичным описанием, — например, в «Прогулке в Академию Художеств» К. Н. Батюшкова, автора, несомненно, известного польскому поэту⁴⁶.

Итак, современная Пушкину литература содержала в себе импульсы к осмыслению образов Петра и Петербурга в библейско-эсхатологическом ключе, что, конечно, ни в коей мере не снижает значения для «Медного всадника» городского предания. Его эсхатологический характер несомненен, предсказания гибели сопровождали всю историю Петербурга с момента основания города. Вопрос, следовательно, в том, носила ли эта эсхатология библейскую направленность или же, как это утверждает Р. Г. Назиров, «Ветхий завет и Апокалипсис представляются в данном случае излишними украшениями»⁴⁷.

Анализ городского петербургского предания осложняется поздним характером записей, мемуарной неточностью свидетельств, что, зачастую, заставляет исследователей усомниться в том, что его отдельные слагаемые предшествуют созданию «Медного всадника», а не определены пушкинской поэмой (как, например, «сон майора Батурина») ⁴⁸. Между тем несомненно, что важнейшей частью народного предания о Петре, отраженной и петербургским фольклором, является сказание об Антихристе. Наиболее полное выражение эти представления получили в старообрядческой среде, где активно обсуждалась тема «конца света» и где в основном сложился миф о Петре — Антихристе⁴⁹. Исследования недавнего времени показали, что представления о Петре как об Антихристе формировались в значительной степени под влиянием настойчивых попыток самого Петра утвердиться в роли Христа⁵⁰. Дополнительные импульсы к развитию этой темы давала официальная поэзия. Так, автор рукописного сочинения «Книга о собрании различных повестей на осьмнадцатый век» следующим образом комментирует строки Ломоносова о Петре «Он Бог, он Бог твой был, Россия / он члены взял в тебе плотския, / Сошед к тебе от горьких мест»⁵¹: «Зри, любящий истину, и паки

таки важно проповедует сошедшего от горних мест, возвещают, но и не вместо ли истинного Христа Бога нашего, во образ осьмьотысячного сатаны скифского Христа, сиречь Антихриста?»⁵².

Весьма значимый в официальной литературе атрибут Петра как покорителя водных стихий, с точки зрения старообрядцев, также служил доказательством антихристовой природы царя преобразователя. «При сем имею доказательство богупротивное его <Петра> во время воцарение и царство, — писал другой неизвестный защитник раскола. — Как он ехал по Ладовскому озеру, то оное озеро имеет ширину на четьреста попрещ. И как привидив истинный Бог и Творец всей твари, что он будет Богу и святым его противник, и воздвигнул бурный ветер, и кочал его волнами три дни и три ночи. А он яко лев лютый, расфирипися. Зрите на кого он прогневался и кто его кочал волнами. Но он того не почювствовал, кто его кочал. И приехал к берегу и выскочил, яко лев из вертепу, закричал своим гласом...: Подовайте полоча с кнутами наказовати озера. При сем зрите опасно, кого он наказывал. Но он наказывал не тварь, но Творца, не создание, но создателя»⁵³.

Приведенный текст интересен тем, что, в противовес официальной литературе, обуздание стихий объявляется антихристовым действием, а сами стихии — Божьими. Заметим также, что здесь ни разу не произносится имя Петра, оно явно табуируется. Это характерно для старообрядческих текстов о Петре — Антихристе, хотя и необязательно. Вообще, смутное, нестабильное состояние стихий раскольники считали в значительной степени следствием прихода Антихриста. Такое представление было весьма распространено и попало в книгу известного историка старообрядчества из числа официальных церковных деятелей Андрея Иоаннова (Журавлева): «...во Антихристово время ничего чисто уже не будет на земли; а потому ныне не токмо все люди, скоты и звери, но и самые стихии пришествием Антихриста заражены. Следовательно, нет рек, источников и кладезей, которые бы прикосновением Антихристовых слуг не были осквернены, моря и озера кораблями и прочими Антихристовыми судами наполнены»⁵⁴. Книга протоиерея Андрея Иоаннова имела в библиотеке Пушкина⁵⁵.

В старообрядческой литературе нашло отражение и установление памятника Петру работы Фальконе. Раскольничий «Апокалипсис», сочинение начала XIX века, включает в себя изображение конной статуи

с надписью из книги пророка Иезекииля: «От гласа ржания яждения коня потрясется вся земля, и придет и пожрет землю, и исполнения ея, град и обитающих в нем»⁵⁶. В рукописной книге современника Пушкина, сектанта Василия Москвина «Разглагольствование тюменского странника» (сочиненной в 1820-е годы) проводится разграничение между «небесным градом Сионом» и миром сатанинским с «великим темным градом Вавилоном»⁵⁷. В последнем легко угадывается Петербург.

Тема «Пушкин и литература (идеология) раскола» не только не изучена, но даже не поставлена. При этом можно говорить, что 1833 год — время определенного интереса к старообрядчеству, так как усиленные занятия историей пугачевского движения не могли не привести Пушкина к названной проблематике. В тексте самой «Истории» тема раскола присутствует неявно, но настойчиво (IX, 13, 26, 41, 44, 68, 76). И наконец, материалы к «Истории Петра» свидетельствуют, что народные представления о Петре — Антихристе были известны Пушкину: «Народ почитал Петра антихристом» (X, 4).

Все сказанное выше только подводит нас к теме «Пушкин и раскол», утверждать что-либо определенное в этом отношении можно будет только тогда, когда выяснится круг источников, которые могли быть в поле зрения поэта. Пока же мы указываем лишь на типологическое сходство «Медного всадника» с определенными старообрядческими текстами. При этом важно не только то, что старообрядческая традиция воспринимала Петра в библейско-эсхатологическом ключе, но и то, что, подобно «Медному всаднику», раскольничьи писания в значительной степени отталкивались от официальной литературы и ее оценок. Это свидетельствует о существовании некоторой единой, идеологически полярной системы представлений о Петре, центр которой составляла одическая традиция, воспринимающая основателя Петербурга в евангельском, апологетическом ключе, периферию — публицистика, городские предания, рукописные сочинения старообрядцев. Здесь Петр осмыслялся в образах, ориентированных на Библию и Апокалипсис, эсхатологических по своему существу.

«Медный всадник» не просто изменил это соотношение, поменяв местами центр и периферию. Соединив литературную традицию с народным преданием, фольклорным началом, городским бытом, Пуш-

кин положил конец разнесению полярных оценок Петра и Петербурга по различным жанрам, что, конечно, соответствовало общему движению литературы.

В дальнейшем эсхатологическая направленность целого ряда произведений о Петербурге сохранилась («Торжество смерти» В. Печерина, «Стихи о наводнении» А. Одоевского, «Эльса» В. Одоевского, «Стихи в альбом С. Карамзиной» А. Хомякова), но библейская тема редуцировалась и присутствует лишь в стихотворениях, сознательно отталкивающихся от одической традиции восприятия Петра, как, например, «Вавилон» Евгения Милькеева («Необузданный и чудный, / Сотворив кумиром ложь, / Город пышный, многолюдный, / Ты ликуешь и цветешь! <...> // И творец тебе не страшен... / Пусть потоп наводнит он, / Ты взойдешь на выси башен, / Занесенных в небосклон»)⁵⁸.

1. *Анциферов Н.* Быль и миф Петербурга. Пг., 1924. С. 67.

2. *Назирова Р. Г.* Петербургская легенда и литературная традиция // Традиция и новаторство. Вып. 3. Уфа, 1975. С. 123.

3. Там же. С. 123 и след.

4. *Тархов А. Е.* Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. 1977. № 2. С. 62–64.

5. *Пумпянский Л. В.* «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 4–5. М.; Л., 1939. С. 110.

6. Довольно золотых кумиров,
Без чувств мои что песни чли...

(«Видение мурзы», 1783–1784)

Ср.:

О жалкий полубог, кто носит тщетно сан:
Пред троном тот никто, на троне истукан.

(«Эпистола И. И. Шувалову», 1777)

7. «Языческое божество в виде статуи, идол» (Словарь языка Пушкина. М., 1957. Т. 2. С. 434).

8. Ср. у Р. О. Якобсона: «Уравнивание “вечного сна” покойного Петра и вечного покоя его бронзового двойника и одновременно противоречие между эфемерностью его останков и прочностью его статуи порождают идею жизни изображаемого существа, продолжающейся в его скульптурном образе, в памятнике» (*Якобсон Р. О.* Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 169).

9. В сцене бунта нарушается запрет не только на называние Петра и прямое обращение к нему, но и на изображение его лица. Маленький герой петербургской повести видит «грозного царя» только со спины — «И обращен к нему спиною». Поэтому в ключевой сцене оказывается значимо, что Евгений обходит постамент и наводит «взоры дикие... на лик державца полумира», который отвечает ему взглядом на взгляд. В. Ходасевич обратил внимание на сходство ситуаций в «Медном всаднике» и в «Уединенном домике на Васильевском», где обернувшийся извозчик оказывается мертвецом и носителем inferнальных сил (Ходасевич В. Статьи о русской поэзии. Л., 1922. С. 84).

10. «Омертвление» и выпадение Евгения из «света» мотивируется его посещением «царства мертвых» — окраины Васильевского острова, где «кругом, / Как будто в поле боевом, / Тела валяются...» (V, 144), чему предшествует переправа и встреча с перевозчиком. Нам представляется, что весь этот эпизод пронизан реминисценциями из «Ада» Данте. 1833 год — время оживления интереса Пушкина к творчеству великого флорентийца. О дантовских параллелях к «Медному всаднику» см.: Лотман Ю. М. К проблеме «Данте и Пушкин» // Временник Пушкинской комиссии. 1977. Л., 1980. С. 88–91; Балза И. Ф. Дантовские отзвуки «Медного всадника» // Дантовские чтения. М., 1982. С. 170–182. Уподобление Петербурга дантовскому аду бытовало в пушкинском кругу. Так, например, Н. И. Тургенев писал брату Сергею 11 февраля 1818 года: «Сказывал ли тебе когда-нибудь князь Гагарин о проекте своем нарисовать Петербургский шлагбаум с надписью: “Lasciate ogni speranza, voi ch' entrate”» (пер.: Оставьте всякую надежду, входящие сюда) (Тургенев Н. И. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 253).

11. См.: Ломоносов М. В. Краткое руководство к риторике... // Он же. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 52, 54; Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Там же. С. 253).

12. Соколов А. Н. «Полтава» Пушкина и «Петриады» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 4–5. М.; Л., 1939. С. 86.

13. Левин В. Д. О стиле «Медного всадника» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1974. Т. 33. № 3. С. 197.

14. Приведем лишь некоторые примеры: «Хвались, о Петр! вселенной диво, / Зерцало славы для властей!» (Шихматов С. Петр Великий. Лирическое песнопение в восьми песнях. СПб., 1810. С. 120); «Боязнь врагов гласит: се Петр!» (Там же. С. 84); «Пред воинством своим летает гневный Петр» (Грузинцов А. Петриада. Поэма эпическая. СПб., 1812. С. 214); «Петр в виде бури сей Вандалов поражал» (Сладковский П. Петр Великий. Героическая поэма. СПб., 1803. С. 42).

15. См.: Измайлов Н. В. Литературный фон поэмы «Медный всадник» // Пушкин А. С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978. С. 124–146.

16. См.: Gasparov B. M. The Apocalyptic theme in Puskins «Count Nulin» // Text and context. Essays to honor Nils Ake Nilsson. Stockholm, 1987. P. 20.

17. См.: Грунский Н. К. Наполеон I в русской художественной литературе // Русский филологический вестник. 1898. Т. 40. № 3–4. С. 193–324; Муравь-

ева О. С. Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант «наполеоновской легенды») // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. Л., 1991. С. 3–32); Sorokine D. Napoléon dans la littérature russe. Paris, 1974.

18. Державин Г. Р. Сочинения. СПб., 1866. Т. 3. С. 151.

19. См.: Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию // Тарле Е. В. 1812 год. М., 1959. С. 625–626.

20. Н. Н. Петруниной принадлежит интересное сближение приведенного здесь описания статуи Наполеона с образом Евгения в момент наводнения (Петрунина Н. Н. Две «петербургские повести» Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л., 1982. С. 164). Именно в этот момент Евгений тоже спорит с судьбой, поэтому черты сходства его с Наполеоном являются родовыми признаками «мужа судьбы». Потерпев поражение в этом споре Евгений, подобно Наполеону, оказывается на «пустынном острове», где и умирает. Описание «острова малого» на взморье удивительно напоминает описание о. Св. Елены, сделанное Пушкиным в стихотворении «Наполеон» (II, 216).

21. Ср.: «Я видел Сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. X, 18).

22. Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Л., 1929. С. 193–208.

23. См.: Боров Ю. Б. Основные эстетические категории. М., 1960. С. 325; Еремина Л. Почему всадник — медный // Наука и жизнь. 1978. № 2. С. 129; Хаев Е. С. Эпитет «медный» в поэме «Медный всадник» // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985. С. 180–184.

24. См.: Хаев Е. С. Эпитет «медный» в поэме «Медный всадник». С. 182.

25. В начале XX века именно эта ассоциация стала, по нашему мнению, источником поэтического образа, созданного Иннокентием Анненским:

«Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол».

(«Петербург», опубл. 1910)

26. Байрон Д. Полн. собр. соч.: В 6 т. СПб., 1894. Т. 4. С. 73. Ср.: «...a haughtly, dark, And deadly face; A couldn't recognise it Yet I had seen it, thogh I knew not where. The feateres were a Giant's. and the eye was still, yet lighted; his long locks curled down On his vast bust, whence a huge quiver rose, With shalfheads feathered from the egle's wing. That peeped up bristling, through his serpent hair» (Byron. Works. London, 1901. Vol. V. P. 76).

27. См.: Фомичев С. А. «Подражания Корану»: Генезис, архитектоника и композиция цикла // Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л., 1981. С. 34–36.

28. Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. С. 61.

29. В. В. Виноградов считает наиболее характерной чертой библейского стиля в русской литературе первой трети XIX века «цепь вопросительных предложений» (Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 494).

30. Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской культуры: Петербург. Тарту, 1984. С. 31.

31. Назиров Р. Г. Петербургская легенда и литературная традиция. С. 122–135.

32. Н. И. Михайлова показала, насколько важны для «Медного всадника» церковные проповеди, посвященные петербургскому наводнению и пронизанные библейской символикой (см.: Михайлова Н. И. К литературному фону поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» // Болдинские чтения. Горький, 1986. С. 161–165).

33. Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 47–153.

34. См.: об этом: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Труды по знаковым системам. Вып. 6. Тарту, 1973. С. 297.

35. См.: Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог. С. 125–126.

36. В резолюции Николай I писал: «Лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви; выводить оное на сцену было бы почти нарушение святости, и посему совершенно неприлично. Не дозволять печатать» (Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. № 2. С. 315–316).

37. См.: Зенгер Т. Николай I — редактор Пушкина // Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934. С. 522–524; Основат А. Л. «Судьба с неведомым известьем...» // Основат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальную повесть сохранить...». Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1987. С. 31–33.

38. Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века. С. 123.

39. См.: Шмурло Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912. Вып. 1. (XVIII век). С. 61–90.

40. О знакомстве Пушкина с «Записками» Щербатова см.: Тамашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. С. 576–577; об интересе поэта к «Записке» Карамзина см.: Вацууро В. Э., Гиллельсон М. И. «Сквозь умственные плотины...». М., 1986. С. 101–102.

41. См.: Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 217–218.

42. Так, например, факт перенесения столицы из центра России на периферию империи вызвал недоумение Вольтера, де Сталь, Ансело. См.: Вацууро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1969. Т. VI. С. 165.

43. См.: Ланда С. С. А. С. Пушкин в печати Польской Народной республики в 1949–1954 годах // Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.; Л., 1956. С. 408–472; Нольман М. Л. Полемическое начало в поэме «Медный всадник» // Учен. зап. Костромск. пед. ин-та. Вып. 13. Кострома, 1966. С. 6–18; Измайлов Н. В. Литературный фон поэмы «Медный всадник». С. 137–139. Мы привели работы библиографического характера.

44. Цит. по русскому подстрочному переводу, выполненному Н. К. Гудзием для М. А. Цяловского (Пушкин А. С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978. С. 141).

45. См.: Цяловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 185.

46. Батюшков: «И в самом деле, время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,
Горделивая Нева,
Государей зданье славно
И тенисты острова.

Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: “Какой город! Какая река!”» (*Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. Л.: Наука, 1978. С. 75.* Батюшков цитирует стихотворение М. Н. Муравьева «Богиня Невы»).

Мицкевич:

Подобно замерзшему лицу мертвеца,
Которое, отогревшись в комнате перед печью,
Но набравшись тепла, а не жизни,
Вместо дыхания отдает запахом гниения,
Повеял теплый ветер. Столбы дыма,
Воздушная громада, как призрак царей,
Рухнули и упали на землю,
И по улицам реками плывал дым,
Смешанный с теплым и влажным туманом,
Снег начал таять и, прежде чем минул вечер,
Заливал мостовые стигийской болотной рекой.

(*Мицкевич А. Олешкевич // Пушкин А. С. Медный всадник. С. 139.*)

47. *Назирова Р. Г.* Петербургская легенда и литературная традиция. С. 123.

48. *Осват А. Л.* Вокруг «Медного всадника» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1984. Т. 43. № 3. С. 238–247.

49. О становлении и развитии темы «Петр–Антихрист» в русской культуре XVIII — начала XIX века см.: *Павлов А. С.* Происхождение раскольниковского учения об антихристе // Православный собеседник. 1858. Май; *Соловьев С. М.* Сказка о Петре Великом // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1860. Кн. 4. С. 2; *Есипов Г.* Раскольниковские дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. СПб., 1863. С. 3–84; *Мельников П. И.* Исторические очерки поповщины. М., 1864. Ч. 1. С. 70 и след.; *Пытин А. Н.* Петр Великий в народном предании // Вестник Европы. 1897. Ч. VII. С. 670–672; *Баснин П. Н.* Раскольниковские легенды о Петре Великом // Исторический вестник. 1903. № 5. Т. 92. С. 513–548; *Бороздин А. К.* Очерки русского религиозного разномыслия. СПб., 1905. С. 104–106; *Шмурло Е.* Петр Великий в оценке современников и потомства. С. 13–30; *Мельц М. Я.* Исторические песни и предания начала XVIII века // Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953. Т. 1. С. 466–488;

Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. С. 91–124; Успенский Б. А. *Historia sub specie semioticae* // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 286–292; Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 38–60.

50. «В поведении Петра современники не могли не усматривать притязания на божественные prerogatives, и это поведение тем самым в точности соответствовало их представлению о поведении Антихриста (идущему от новозаветного текста)» (Успенский Б. А. Указ. соч. С. 289).

51. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 109.

52. Цит. по: Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест. С. 44.

53. Там же. С. 123.

54. Андрей Иоаннов, *протоиерей*. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разногласиях... СПб., 1831. С. 151.

55. См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 2–3. В библиотеке Пушкина имеется еще одно антираскольничье сочинение: Розыск о Раскольнической Брынской Вере, о Учении их, о Делах их, и Изъявление, яко вера их неправа... М., 1824 (Там же. С. 86). Кроме того, имела, но была утрачена книга: Беседы к глаголаемому старообрядцу. М., 1835 (Модзалевский Л. Библиотека Пушкина: Новые материалы // Литературное наследство. Т. 16–18. Л., 1934. С. 991).

56. Раскольничий «Апокалипсис» // Чтения в Обществе по изучению истории и древностей. 1859. № 4. С. 14–15.

57. См.: Шмурло Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. С. 24.

58. Поэты 1840–1850-х годов. Л., 1972. С. 201–202.

Именной указатель¹

- Абрамович С. Л. 318
Август, римский император 10, 20–22, 37, 53
Аврамов И. Б. 181
Аврамов П. В. 181
Азадовский М. К. 164, 168, 179, 180, 198
Аксаков И. С. 6, 218, 219, 228, 258
Александр I (Александр Павлович), император 12, 21–27, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 53, 66, 83, 105, 117, 122, 173, 179–182, 187, 192–194, 196, 205–207, 209, 212–215, 224, 243, 254, 255, 297–301, 303, 305, 309–312, 314, 317
Александра Федоровна, императрица 247, 254
Алексеев А. И. 225
Алексеев М. П. 99, 117, 121, 130, 131, 147, 200, 316, 339
Алексеев Н. С. 136
Алексеев-Попов В. С. 123, 130, 131
Альтшуллер М. Г. 253, 261
Анненков П. В. 7, 16, 40, 42, 76, 83, 281, 282
Анненский И. Ф. 338
Ансело Ж. Ф. (Anselot) 85, 92, 99, 101, 339
Антоний, римский полководец 88
Анциферов Н. П. 319, 324, 328, 336, 338
Аракчеев А. А. 25, 28–30, 37
Аристид, греческий полководец 78, 79
Аристотель 120, 126
Архаров Н. П. 217
Баевский В. С. 33, 34, 42, 43
Базанов В. Г. 40, 42, 130, 147, 148, 150
Байрон Джон 34, 35
Байрон Джордж Г. (Byron) 20, 32–36, 38–40, 42, 43, 63, 73, 100, 110, 114, 129, 247, 279, 327, 338
Балш Т. 94
Барант А. Г. П. (Брюжье Барант) 8
Барант Э. 8
Баратынский Е. А. (Боратынский) 74, 228
Барбару Ж. М. (Barbaroux) 90, 100
Барзах А. Е. 16
Барков И. С. 204
Барсуков Н. П. 16, 258, 287
Бартенева П. И. 7, 8, 41–43, 100, 147, 214, 216, 218, 220, 228, 288
Барятинский А. П. 181
Басаргин Н. В. 181, 195–197, 200, 260
Баснин П. Н. 340
Батюшков К. Н. 33, 34, 55, 72, 83, 333, 340
Бахтин М. М. 71
Бейсов П. С. 130, 199
Бенитцкий А. П. 316
Бенкендорф А. Х. 128, 232, 235, 238–240, 250, 256, 258–260, 272–274, 280, 284, 285
Беранже П.-Ж. (Беранжер, Béranger) 281
Березкина С. В. 70, 221, 229
Берков П. Н. 302
Беррийский, герцог см. Шарль-Фердинанд
Бегушев А. А. 14, 276, 278
Бестужев Н. А. 239
Бистром Ф. А. (Бистрам) 140, 188
Благой Д. Д. 33, 42
Блок А. А. 262, 279
Блудов Д. Н. 100, 245, 251, 252
Богаевская К. П. 163, 229
Богданович И. Ф. 72, 317
Богданович М. И. 43

¹ Составил М. Д. Эльзон.

Именной указатель

- Бологовский Д. П. 191
Бонапарт (Бонапарте, Вонапарте) см.
Наполеон Бонапарт
Бонди С. М. 68, 101
Боратынский Е. А. см. Баратынский Е. А.
Борев Ю. Б. 338
Боровков А. Д. 181
Боровой С. Я. 71, 148
Бороздин А. К. 340
Брегман А. А. 56, 148, 168, 198, 317
Бриссо Ж. П. 90
Бродский Н. Л. 33, 42
Брут 59, 86–90, 92, 93
Брюжье Барант А. Г. П. см. Барант А. Г. П.
Брюс Я. А. 316
Булгаков А. Я. 42, 213, 215, 231, 257
Булгаков К. Я. 28, 42, 213, 215, 257
Булгарин Ф. В. 247, 275
Бурцев И. Г. 137, 166, 167, 175, 176,
181, 187, 198
Бутакова В. И. 102
Бычков А. Ф. 42
Бэлза И. Ф. 337
- Вальденберг В. 131
Васильчиков И. В. 30, 37, 173, 179
Вахтен, генерал 172
Вацуро В. Э. 16, 41, 42, 49, 54, 71, 98,
102, 116, 200, 210, 211, 215, 221,
224, 228, 229, 241, 255, 259–261,
271, 280, 307, 317, 318, 339
Вельтман А. Ф. 157
Веневитинов А. В. 210, 220, 226, 228
Веневитинов Д. В. 210, 214, 220, 228,
237, 258, 272
Верньё П. В. (Верньо) 90, 91
Вигель Ф. Ф. 151, 155, 162, 225, 229,
260, 261
Видок Э. Ф. 275
Виллие Я. В. 311
Виноградов В. В. 338
Висковатов С. И. 248, 260
Витгенштейн П. Х., князь 186, 190
Волк С. С. 100, 101
Волконский Д. М. 35, 43
Волконский П. М. 171, 173, 174, 177
Волконский С. Г. 50–52, 138, 148, 155,
166, 192, 246, 278
Волконский С. М. 71
Вольперт Л. И. 40, 102, 117
- Вольтер 339
Воронцов А. Р. 297, 300, 301, 305, 310,
314, 317, 318
Воронцов М. С. 196, 200, 305, 316
Воронцова Е. Р. см. Дашкова Е. Р.
Воронцовы 309
Вульф Алексей Н. 246, 260
Вульф Анна Н. 222
Вяземская Н. Г. см. Охотникова Н. Г.
Вяземский П. А. 8, 9, 13, 16, 21, 27, 32–
35, 41, 42, 49, 54, 60, 62, 68, 72, 73,
91, 98, 99, 101, 102, 104, 107–113,
115, 117, 128, 131, 132, 150, 152,
154, 162, 163, 194, 195, 199, 200,
203, 204, 206, 212–215, 217, 219,
225, 227, 229, 231, 234, 235, 239,
241–244, 246–248, 257–261, 267,
269–271, 274, 276, 277, 280, 282,
286–288, 305, 307, 313, 318
Вяземский П. П. 67
- Гаевский В. П. 281–283, 287
Гамалея И. П. 193, 194
Гаспаров Б. М. (Gasparov) 16, 62, 70,
72, 337
Гаспаров М. Л. 10, 16
Гельвеций К.-А. 54–60, 72, 307
Геннади Г. Н. 282
Герасимова Ю. И. 258
Гербель Н. В. 281, 287
Герцен А. И. 238, 259
Герцог Беррийский см. Шарль-Фер-
динанд
Герцог Энгийенский см. Энгийенский,
герцог
Гершензон М. О. 41, 101, 131, 147, 163
Гете И.-В. 14
Гиллельсон М. И. 102, 116, 239, 259–
261, 275, 280, 316–318, 339
Гильди, председатель неаполитанско-
го парламента 120
Гинзбург Л. С. 264
Гинзбург Л. Я. 83, 288
Глебов Г. С. 274, 280
Гликман И. Д. 32, 42
Глинка Ф. Н. 19, 29–31, 42, 77–83, 276
Гнедич Н. И. 19, 20, 31, 53, 75, 83, 161
Гоголь Н. В. 163, 310
Голицин С. Н. 286
Голицын А. Н. 287

Именной указатель

- Голицын А. С. 288
 Голицын Н. Н. 288
 Горбачевский И. И. 69, 70, 73, 159, 164
 Гордин Я. А. 197
 Городецкий Б. П. 99, 307, 317
 Горсткин И. Н. 24
 Горчаков А. М. 38
 Горчаков В. П. 72, 141
 Граббе П. X. 154
 Грехнев В. А. 83, 118, 130, 132
 Греч Н. И. 28, 37, 173
 Грибовский М. К. 37, 128, 173
 Гримм М. 54
 Гроссман Л. П. 183, 198
 Грот К. Я. 43, 214
 Грот Я. К. 8, 16, 214
 Гроций Г. 126
 Грузинцов А. Н. 337
 Грунский Н. К. 116, 337
 Гудзий Н. К. 339
 Гурьянова Н. С. 341
 Гуцин С. 173
- Давыдов А. Л. 47, 61, 62, 69, 153, 160
 Давыдов В. Д. 179
 Давыдов В. Л. 45–73, 75, 81, 82, 86, 124–
 126, 147, 153, 155, 160, 162, 200, 307
 Давыдова А. А. (урожд. Де Граммон)
 62, 69, 95
 Данилевский Р. Ю. 302
 Данте Алигьери 70, 337
 Дашкова Е. Р. (Воронцова-Дашкова)
 72, 305, 316, 317
 Двойченко-Маркова Е. М. 147
 Дебро Э. (Debraux) 281–288
 Дельвиг А. А. 19, 20, 63, 74, 75, 204, 214,
 238–241, 252, 268, 274
 Ден Т. П. 183, 197
 Державин Г. Р. 9, 11, 12, 114, 257, 297,
 300, 302, 303, 309, 312, 317, 318,
 320, 323, 338
 Державин К. Н. 43
 Дибич И. И. 169, 177, 178
 Дмитриев В. Г. 73
 Дмитриев И. И. 9, 31, 38, 42, 44, 217,
 251–253, 305, 309
 Довнар-Запольский М. В. 132, 148,
 149, 163
 Долгорукий Я. 243
 Долгоруков П. И. 67, 73, 131
- Дрентельн 185
 Дружинин А. В. 260
 Дружинин Н. М. 197
 Дубровинский Н. А. 116
 Дурасов, генерал 168, 169, 177, 178
 Дыдицкая П. В. 73
- Екатерина II 40, 97, 297, 301, 304, 305,
 311, 316
 Елизавета (Елисавета Алексеевна) 24,
 30, 41, 83, 84
 Еремина Л. 338
 Ермак Тимофеевич 212
 Ермолов А. П. 181, 236
 Есипов В. М. 215, 223, 229, 257
 Есипов Г. В. 340
 Ефрем, архимандрит 76, 77
 Ефремов П. А. 282
- Живов В. М. 45, 46, 71, 73, 330, 339
 Жирмунский В. М. 33, 43
 Житомирская С. В. 149, 261
 Жуковский В. А. 14, 28, 66, 74, 76, 83,
 85, 204, 212, 235, 244, 245, 247,
 257–261, 268, 269, 307, 328
- Заблоцкий-Десятовский А. П. 44, 179,
 180, 197–199
 Завадовский А. П. 49, 311
 Завалишин Д. И. 166
 Загряжская Н. К. 305
 Закревский А. А. 44, 174, 184, 186, 190
 Замков Н. К. 83
 Заңд К. 86, 89, 91–93, 95
 Западов В. А. 309, 317, 318
 Зеленин Д. К. 338
 Зенгер Т. Г. см. Цявловская Т. Г.
 Зорин А. Л. 16
 Зубков В. П. 230
 Зубов П. А. 309
- Иванов М. В. 302
 Ивашев В. П. 181
 Иезуитова Р. В. 135
 Измайлов А. Е. 83
 Измайлов Н. В. 230, 337, 339
 Инзов И. Н. 30, 38, 65, 67, 185, 186,
 193, 195
 Иоанн Богослов 68
 Иоаннов А. (Журавлев) 334, 341
 Иовва И. Ф. 148, 163

- Иордан А. 92
 Ипсиланти А., князь 52, 146
 Ириней (Нестерович И. Г.), архимандрит 65
 Истомина Е. (А.) И. (Якунина) 48, 49, 71
- Каверин П. П. 130, 281–284, 287
 Капнист В. В. 316
 Каподистрия И. (Каподистрия И. А.) 31, 38
 Каразин В. Н. 23, 28, 30, 42, 173, 310
 Карамзин Н. М. 13, 15, 16, 26, 30, 31, 36, 39, 40, 42, 66, 85, 86, 88, 96–100, 102, 104–107, 109, 111, 112, 115–117, 147, 240, 244, 245, 250–261, 268, 279, 289, 291–303, 305, 311, 314–318, 330, 332, 339
 Карамзина С. Н. 336
 Карамзины, салон 237
 Касаткина В. Н. 83
 Кассий 88
 Катакази К. А. 94
 Катакази Т. 94
 Катенин П. А. 207, 227, 233, 234, 241, 258, 276, 277
 Катон 90
 Каховский П. Г. 246
 Квирига А. (Кирога) 75, 76, 191
 Кибальник С. А. 33, 40, 42, 43, 70
 Кизеветтер А. А. 131
 Киреевский И. В. 55, 72, 228, 237
 Киреевский П. В. 228
 Киселев Н. Д. 235
 Киселев Н. С. 258
 Киселев П. Д. 24, 25, 44, 145, 146, 155, 166–168, 171–176, 178–200, 235
 Киселева Е. Н. 258
 Киселева С. С. (урожд. Потоцкая) 183
 Киселевы 258
 Климент V, папа римский 224
 Кнабе Г. С. 101, 102
 Козлов И. И. 32, 42, 247
 Козлов Н. Т. 29
 Козодавлев О. П. 309, 310, 317
 Колесников А. Г. 148, 193, 199
 Комаров Н. И. 137, 138, 140, 148–150, 153, 154, 163, 181
 Констан Б. 121
 Константин Павлович, вел. кн. 132, 177, 178, 251
- Корде Ш. (Кордэ, Corday) 86, 89–91, 93, 98, 100, 101
 Корнилович А. О. 254, 261
 Корф М. А., барон 210, 215, 280
 Костин В. И. 83
 Костина Н. Г. 260
 Коцебу А. 86, 87, 91, 92, 100
 Кочубей В. П. 23, 28, 29, 300
 Кошелев А. И. 55, 237, 258, 260
 Кошелев В. А. 43
 Критские, братья 234, 258, 280
 Крюков А. А. 181
 Крюков Н. А. 181
 Куканов А. М. 316
 Курочкин В. С. 286, 288
 Кучеренко Г. С. 72
 Кюхельбекер В. К. 35, 74, 239, 252, 276
- Лависс Э. 302
 Лагарп Ф.-Ц. 311
 Ла-Каз Е. А. 109
 Ламартин А. 90
 Ланда С. С. 41, 101, 131, 150, 199, 260, 339
 Ларионова Е. О. 71
 Латуш А. де 224
 Лафатер И. К. 106
 Лаффероне, посол 249
 Лачинов Е. Е. 181
 Левашов, генерал 180
 Левин В. Д. 321, 337
 Левичева Т. И. 71
 Левкович Я. Л. 16
 Лемке М. К. 258, 260, 273, 280
 Леонович-Ангарский В. В. 264
 Леопольдов А. Ф. 222, 225
 Лермонтов М. Ю. 8, 100, 163
 Лернер Н. О. 83, 221, 228
 Летурнёр П. 88
 Липранди И. П. 65, 73, 76, 83, 84, 136, 138, 139, 141, 149, 151, 157, 158, 162–164, 168, 172, 182, 192, 194, 195, 197, 199
 Липранди П. П. 138, 139, 148, 149
 Ломоносов М. В. 9–12, 333, 337, 341
 Лонгинов М. Н. 49, 71
 Лорер Н. И. 207, 208, 214, 252, 261, 271, 280
 Лотман Ю. М. 19, 20, 40, 44, 45, 54, 70–72, 83, 100, 105, 116, 117, 127, 130–132, 147, 164, 199, 213, 215,

Именной указатель

- 297, 300, 302, 303, 311, 316–318,
329, 337–339
- Лувель Л.-П. 29
- Лутинин Ф. Н. 21
- Луцкевич, священник 123
- Лушников М. 234, 258, 272
- Львов Н. А. 9
- Людовик XVI 96
- Магницкий М. Л. 113
- Мазур Н. Н. 257
- Майборода А. И. 129, 166, 167
- Майков Л. Н. 6, 7, 16, 215, 229, 258, 280
- Макиавелли Н. (Махиавель, Machiavelli) 217, 228
- Макогоненко Г. П. 302
- Мальцов И. С. 228
- Мандрыкина Л. А. 130, 132, 259
- Марат Ж.-П. 86, 90
- Мария Федоровна, императрица 30
- Маслович В. Г. 83
- Мацеевич Л. С. 73
- Медведева И. Н. 118, 130, 200
- Мейлах Б. С. 44, 99
- Мельников П. И. 340
- Мельц М. Я. 340
- Меншиков А. С. 25
- Местр Ж. де 107, 116
- Милорадович М. А. 29–31, 37, 83
- Милькеев Е. Л. 336
- Милютин Д. А. 198
- Мирабо О. 59, 309
- Мироненко М. П. 214, 288
- Мироненко С. В. 149, 214
- Михайлова Н. И. 100, 339
- Михайловский-Данилевский А. И. 242, 246, 259
- Мицкевич А. 85, 99, 227–229, 233, 234, 258, 272, 280, 332, 333, 340
- Модзалевский Б. Л. 16, 41, 42, 72, 110, 117, 130, 214, 259, 280, 341
- Модзалевский Л. Б. 228, 341
- Мозевский, подследственный 199
- Молчанов Л. А. 225
- Моль Ж. 224
- Монтескье Ш. Л. 120–122, 130, 131, 291
- Мордвинов Н. И. 181, 182
- Морозов П. О. 100, 221, 227, 229
- Москвин В. 335
- Муравьев А. З. 246
- Муравьев М. Н. 340
- Муравьев Н. М. 160
- Муравьев-Апостол М. И. 162, 246
- Муравьев-Апостол С. И. 246
- Муравьева А. Г. 160, 236, 286
- Муравьева О. С. 116, 337
- Набоков В. В. 43
- Назирова Р. Г. 319, 333, 336, 339, 340
- Наполеон Бонапарт 103–117, 119, 288, 292, 294, 322–325, 338
- Нащокин П. В. 209, 210, 214, 216–218, 223–225, 228
- Нащокина В. А. 228
- Немировская К. Я. 16
- Немировский В. Л. 16
- Непенин А. Г. 138, 140, 142, 155, 170, 171, 175, 187, 188, 193, 194
- Непомнящий В. С. 279
- Нечкина М. В. 24, 41, 83, 102, 147, 148, 150, 162, 178, 179, 198
- Николай I (Николай Павлович) 6, 7, 11, 16, 99, 151, 169, 171, 172, 177, 178, 181, 203–280, 284, 285, 307, 320, 339
- Николь, аббат 154
- Новосильцев Н. Н. 300, 312
- Нольман М. Л. 339
- Норов А. С. 7
- Оболенский В. И. 228
- Оболенский Д. Д. 261
- Овидий 19–21, 39, 75, 83, 185
- Оганян Л. Н. 147, 148, 154, 162, 163
- Одоевский А. И. 336
- Одоевский В. Ф. 237, 336
- Оксман Ю. Г. 141, 142, 148, 149, 156, 162, 163, 200, 221, 229
- Оленин А. Н. 31
- Олсуфьев В. Д. 35, 43
- Орлов А. Ф. 24, 26, 48, 49, 71
- Орлов М. Ф. 25, 47–52, 61, 70, 71, 81, 92, 94, 95, 102, 104, 106, 107, 110, 116, 118, 119, 123, 128, 131, 132, 135–158, 160–164, 166, 172, 175, 179, 183, 186, 187, 189, 191–194, 198–200, 204, 246, 260
- Орлов П. А. 302
- Орлов Ф. Ф. 61, 158
- Орлова Е. Н. (урожд. Раевская) 32, 43, 47, 50, 95, 126, 157

Именной указатель

- Осипова М. И. 208–210, 214
 Осипова П. А. 135, 214
 Осповат А. Л. 339, 340
 Осповат К. А. 261
 Охотников А. А. 154, 170
 Охотников К. А. 51, 70, 81, 118, 135–164, 195
 Охотникова Н. Г. (урожд. Вяземская) 154
- Павел I** 87, 93, 217, 297, 305, 307
 Павлов А. С. 340
 Павлов-Сильванский Н. П. 302, 317
 Павлова Л. Я. 148
 Паперный В. М. 46, 53, 71
 Парни Э. (Pagny) 63–65, 73
 Паскевич И. Ф. 6
 Пельчинский Ф., студент 35
 Пестель П. И. 51, 53, 56–60, 72, 128, 129, 137, 140–142, 150, 156, 162, 166, 167, 181, 244, 246, 263
 Петр I (Петр Великий) 243, 249, 250, 254, 255, 260–262, 319–341
 Петров В. П. 9
 Петрунина Н. Н. 338
 Печерин В. С. 336
 Пиксанов Н. К. 264, 279
 Пишо А. 35, 43, 63
 Плетьев П. А. 6–8, 16, 203, 204, 207, 224, 238, 241
 Плутарх 87–90, 100
 Пнин И. П. 55, 312, 317, 318
 Погодин М. П. 7, 16, 205–209, 214, 215, 217–221, 223, 225, 226, 228, 229, 241, 254, 256, 258–261, 280, 331
 Полевой К. А. 276
 Полевой Н. А. 214, 276, 280, 307
 Поливанов Л. И. 44
 Полихрони К. 94
 Полторацкий С. Д. 71
 Помпей 89
 Пономарев С. И. 302
 Попов М. М. 73, 214
 Порталис 300
 Потоцкая С. С. см. Киселева С. С.
 Предтеченский А. В. 303
 Проскурин О. А. 43
 Прутков К. П. 108
 Прытков Н. В. 318
 Пугачев В. В. 41, 100, 200, 263, 279, 317
- Пумпянский Л. В. 320, 336, 339
 Пушкин В. Л. 27, 83
 Пушкин Л. С. 79, 81, 207, 208, 252, 271, 330
 Пуцин И. И. 24, 41, 132, 159, 166, 178, 193, 197, 207, 208, 214, 236, 283
 Пуцин П. С. 75–77, 83, 135–150, 155, 204
 Пыпин А. Н. 117, 340
 Пятковский А. П. 215, 228
- Рабле Ф.** 71
 Радищев А. Н. 12, 39, 44, 54, 57, 58, 71, 72, 88, 94, 99, 100, 116, 289, 297, 300–318
 Радищев П. А. 304, 305, 310, 316
 Радлов Э. Л. 72
 Радченко Ф. П. 168, 169, 179, 188, 192, 193, 198
 Раевская Е. Н. см. Орлова Е. Н.
 Раевская М. Н. 32
 Раевская С. А. 27, 30
 Раевский А. Н. 95, 160, 161, 196, 204, 278
 Раевский В. Ф. 43, 56, 70, 72, 74, 80–84, 118, 119, 121–123, 125, 129–131, 135–152, 155, 157–159, 162–180, 184–200, 204, 308, 317
 Раевский Н. Н., старший 23, 30, 47, 61, 188
 Раевский Н. Н., младший 27, 30
 Раич С. Е. 228
 Рак В. Д. 16, 43, 63, 67, 73, 200, 287, 302
 Рамбо А. 302
 Рединг А. 293–296
 Реизов Б. Г. 101
 Ренуар Ф.-Ж.-М. 224
 Рибопьер, граф 249
 Рихтер А. В. 228
 Робеспьер М. де (Robespierre) 59, 72, 127, 128, 132, 323
 Рогова А. И. 200
 Родзянко А. Г. (Родзянка) 41, 42
 Рожалин Н. М. 228, 237
 Рождественский В. А. 279
 Розанов И. Н. 279
 Розен А. Е. 253, 261
 Рубан В. Г. 9
 Рубановский, штабс-капитан 182
 Рудзевич А. Я. 178, 185, 186, 198
 Румянцев Н. П. 297
 Румянцев С. П. 109, 312

Именной указатель

- Руссо Ж.-Ж. 56, 59, 60, 118–132, 291, 302
Рылеев К. Ф. 74, 166, 205–207, 244, 254, 263
Рэйкс Т. 85
- Сабанеев И. В. 140, 143, 149, 166–171, 174–177, 179, 184–187, 190, 192–195, 198
Садиков П. А. 138, 139, 149
Саль Э. де 63
Северин С. Д. 34
Селиванова С. Д. 101
Семевский В. И. 41, 44, 101, 302, 303, 317
Семевский М. И. 208, 214
Семенников В. П. 302, 307, 317
Семенова А. В. 197
Сен-Пьер, аббат 95
Сербинович К. С. 240
Серман И. З. 72
Сиверс А. А. 200
Синявский Н. А. 41
Сиповский В. В. 302
Скотт В. 235
Сладковский Р. 337
Слонимский А. Л. 100
Соболевский Н. И. 131
Соболевский С. А. 7, 48, 49, 206–210, 214–217, 219, 220, 223, 225, 226, 228
Соколов А. Н. 337
Соколов Ю. М. 264, 274, 280
Соловьев С. М. 340
Сомов О. М. 90, 238, 240, 276
Сорокин Д. (Soroquine) 116, 338
Спасович В. Д. 89, 100
Сперанская Н. М. 99
Сперанский М. М. 181, 244, 245, 305, 313, 314
Сталь Ж. де (Stael) 43, 95, 96, 101, 102, 111, 117
Стахеев Б. Ф. 99
Стенник Ю. В. 102, 117
Степанов В. П. 100
Степанов М., псевд., см. Шебунин А. Н.
Строганов П. А. 300, 311, 312
Стурдза А. С. 26, 28, 31, 287
Суздальский Ю. П. 265, 280
Сумароков А. П. 9, 10
Сумцов Н. Ф. 221, 228
Суханов М. Д. 248, 260
Сушков, юнкер 174
- Тарле Е. В. 338
Тартаковский А. Г. 43
Тархов А. Е. 319, 324, 328, 329, 336
Таушев Н. С. 141
Тацит 98, 101, 102, 130
Теннер Д. 83
Тит Ливий 96, 155, 158
Титов В. П. 228, 237, 258
Толстой А. К. 116
Толстой Д. Н. 258
Толстой Л. Н. 322
Толстой Ф. И. («Американец») 21, 22, 78
Толстой Я. Н. 83
Томашевский Б. В. 33, 40, 41, 43, 44, 70, 71, 73, 84, 95, 101, 102, 124, 129–132, 135, 147, 148, 200, 221, 229, 281, 284, 287, 288, 339
Третьяковский В. К. 10
Туманов М. 302
Тургенев А. И. 25–28, 31–36, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 67, 68, 71, 104, 107–110, 113, 116, 117, 119, 120, 132, 212, 215, 227, 235, 242–247, 257–261, 305, 307, 318
Тургенев А. М. 242, 243, 246, 259
Тургенев И. С. 7, 31
Тургенев Н. И. 25, 31, 41, 42, 104, 107–109, 116, 117, 120, 121, 123, 130, 131, 150, 199, 242, 243, 245–247, 254, 260, 261, 270, 305, 312, 313, 337
Тургенев С. И. 31, 36, 42, 104, 107–109, 116, 117, 131, 144, 150, 192, 199, 242, 243, 305, 337
Тучков С. И. 305
Тютчев Ф. И. 108, 116
- Уваров С. С. 28, 316
Улыбышев А. Д. 110
Успенский Б. А. 330, 339, 341
- Фальконе Э. 326, 334
Фатов Н. Н. 264
Федосеева Е. П. 56, 148, 168, 198, 317
Фейнберг И. Л. 148
Филимон, гетерист 146
Филипп IV Красивый 224
Фогель, сыщик 29
Фоллены, братья 92
Фомичев С. А. 16, 132, 221, 222, 229, 338

Именной указатель

- Фонвизин М. А. 137, 139–142, 149, 150, 153–157, 164, 170, 181
Фон Фок М. Я. 238, 240, 250, 259, 260
- Жаев Е. С. 326, 338
Хармс Д., псевд. 207
Хатчинсон У., «афей» 60, 307
Ханютин А. Д. 130–132
Херасков М. М. 9
Ходасевич В. Ф. 337
Хомутова А. Г. 211
Хомяков А. С. 6, 16, 218–220, 226, 228, 234, 258, 336
Хомяков Ф. С. 228
- Цицианов Д. Е., князь 23, 212
Цявловская Т. Г. (урожд. Зенгер) 101, 130, 132, 147, 228, 265, 279, 339
Цявловский М. А. 41, 43, 48, 83, 95, 118, 130, 135, 148, 197, 218, 220–222, 228, 229, 258, 282–284, 339
- Чаадаев П. Я. (Чедаев) 19, 30, 31, 41, 78, 83, 119, 287
Чарторыйский А. (Чарторыжский) 300, 302, 312
Черейский Л. А. 71, 99
Чернов С. Н. 38, 44, 149, 163, 179, 189, 198
Чернышев А. И. 24
Чириков Г. С. 282, 283, 287
- Шарль-Фердинанд, герцог Беррийский 29
Шатобриан Ф. 107
Шаховской А. А. 22
Шебунин А. Н. 24, 41, 83, 84, 116
Шевырев С. П. 209, 216, 217, 219, 225–228, 233, 234, 237, 272
Шекспир В. 62, 88, 100
Шеллинг Ф. В. 237
Шенье А. 89, 90, 128, 212, 213, 222–226, 229, 231–233, 235, 239, 272, 273, 285
Шереметев В. В. 49
Шиллер Ф. 92
Шилов Д. Н. 71
Шильдер Н. К. 117, 180, 260, 261
Сихматов С. А. 337
Шишков А. С. 313, 318
Шмурло Е. Ф. 339–341
Шувалов И. И. 11, 336
- Щеголев П. Е. 99, 165, 167, 178–180, 198; 213, 215, 231, 257
Шербатов М. М. 332, 339
Шербачев Ю. Н. 130, 287
Щербинин М. А. 130, 281–284, 287
- Эйдельман Н. Я. 73, 98, 102, 116, 131, 136, 139, 147–149, 196, 200, 213, 215, 223, 229, 230
Энгельгардт В. В. 26
Энгельгардт Е. А. 30, 38
Энгиенский, герцог 105, 322
Эрлах Р. фон 293, 295, 296, 301
- Юлий Цезарь 86–89, 93, 100
Юмин И. М. 138, 140, 149, 168, 170, 171, 175, 187, 188, 193
Юрьев Ф. Ф. 83
Юшневский А. П. 137, 140, 156, 162, 167, 181
- Языков Н. М. 214, 227, 238, 256, 259, 261
Языков П. М. 238, 259, 261
Якобсон Р. О. 70, 336
Якушкин В. Е. 304, 316
Якушкин И. Д. 37, 43, 50, 51, 71, 85, 99, 147, 149, 150, 153, 154, 157, 160, 163, 164, 181, 197, 258
Ярошевицкий, подполковник 182
- Ancelet J. Ф. см. Ансело Ж. Ф.
Barbaroux J. см. Барбару Ж.
Beranger P. J. см. Беранже П. Ж.
Bonaparte см. Наполеон Бонапарт
Byron G. см. Байрон Джордж Г.
Corday Ch. (Corde) см. Корде Ш.
Debraux E. см. Дебро Э.
Higbet G. 100
Lebrun-Rossa 101
Machiavelli N. см. Макиавелли Н.
Nilsson N. А. 337
Parker H. T. 100
Parny E. см. Парни Э.
Robespierre M. de см. Робеспьер М. де
Sorokine D. см. Сорокин Д.
Stael, m-me de см. Сталь Ж. де
Thiry R. 116

Введение

Автобиографизм лирики
и «публичное поведение» поэта 5

- I. *Лирика изгнания* 17
- Смывая «печальные строки» 19
- Исторический фон послания Пушкина В. Л. Давыдову (1821) 45
- Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина
периода южной ссылки 74
- Идейная проблематика стихотворения Пушкина «Кинжал» 85
- Генезис стихотворения Пушкина «Наполеон» (1821) 103
- Руссо в идейной проблематике стихотворения Пушкина
«Свободы сеятель пустынный...» 118
- II. *Исторический фон лирики изгнания* 133
- Кишиневский кружок декабристов (1820—1821 гг.) 135
- Декабрист К. А. Охотников,
кишиневский знакомый Пушкина 151
- «Дело» В. Ф. Раевского
и правительственная реакция 1820-х годов 165
- Пушкин и П. Д. Киселев 181
- III. *Когда потребовал поэта* 201
- Два «воображаемых» разговора Пушкина 203
- О «Пророке» и Пророке.
Проблемы атрибуции 216

Опрометчивый оптимизм.	
Историко-биографический фон стихотворения «Стансы»	230
Декабрист или сервилист?	
Биографический контекст стихотворения «Арион»	262
О дубиальности стихотворения	
«<Рефугация господина Беранжера>»	281
IV. <i>Радищев и Карамзин в творческом сознании Пушкина</i>	289
Швейцарская тема в «Вестнике Европы» Н. М. Карамзина	291
Автобиографизм	
и статья Пушкина «Александр Радищев»	304
Вместо заключения	
Библейская тема в «Медном всаднике»	319
Именной указатель	342

Немировский И. В.

Н50 Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. — СПб.: Гиперион, 2003. — 352 с.

ISBN 5-89332-085-9

В книге И. В. Немировского собраны статьи о Пушкине, объединенные темой автобиографизма, который понимается как сложное взаимодействие жизни поэта и его поэзии. Рассматривается как отражение биографических перипетий в поэтических текстах, так и обратное влияние сознательно формируемого в этих текстах образа поэта на его реальную судьбу. При этом важным оказывается и третий момент — восприятие этого «автобиографизма» современниками, отнюдь не всегда адекватное замыслу «жизнетворца». Рассмотрены как ключевые для поэтического и общественного самоопределения Пушкина произведения («Кинжал», «Андрей Шень», «Пророк», «Стансы», «Арион», «Медный всадник»), так и произведения, традиционно относимые к периферии пушкинского творчества. Подробно рассмотрена история кишиневской управы Союза Благоденствия, знакомство с основными деятелями которой сыграло важную роль в жизни Пушкина. При рассмотрении множества частных вопросов автор книги так или иначе осторожно касается некоторых аспектов трансформации религиозного мировоззрения поэта.

ББК 83.3(2)5

Ответственный редактор *А. Е. Барзах*
Редактор *П. В. Дмитриев*
Художник *Ю. С. Александров*
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*
Компьютерная верстка *А. Б. Левкина*
Корректор *О. И. Абрамович*

Лицензия ИД № 03369 от 28 ноября 2000 г.
Издательство «Гиперион», 199178, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., 55
E-mail: hyperion@mail.rcom.ru

Подписано в печать 27.10.2003. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Garamond. Усл. печ. л. 18,5.
Уч.-изд. л. 17. Тираж 1200 экз. Заказ № 190

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «ИПК «БИОНТ»»,
199026, Санкт-Петербург, В. О., Средний пр., 86.
Тел. (812) 322-68-43